ISSN 0131–6656

СМЕНА



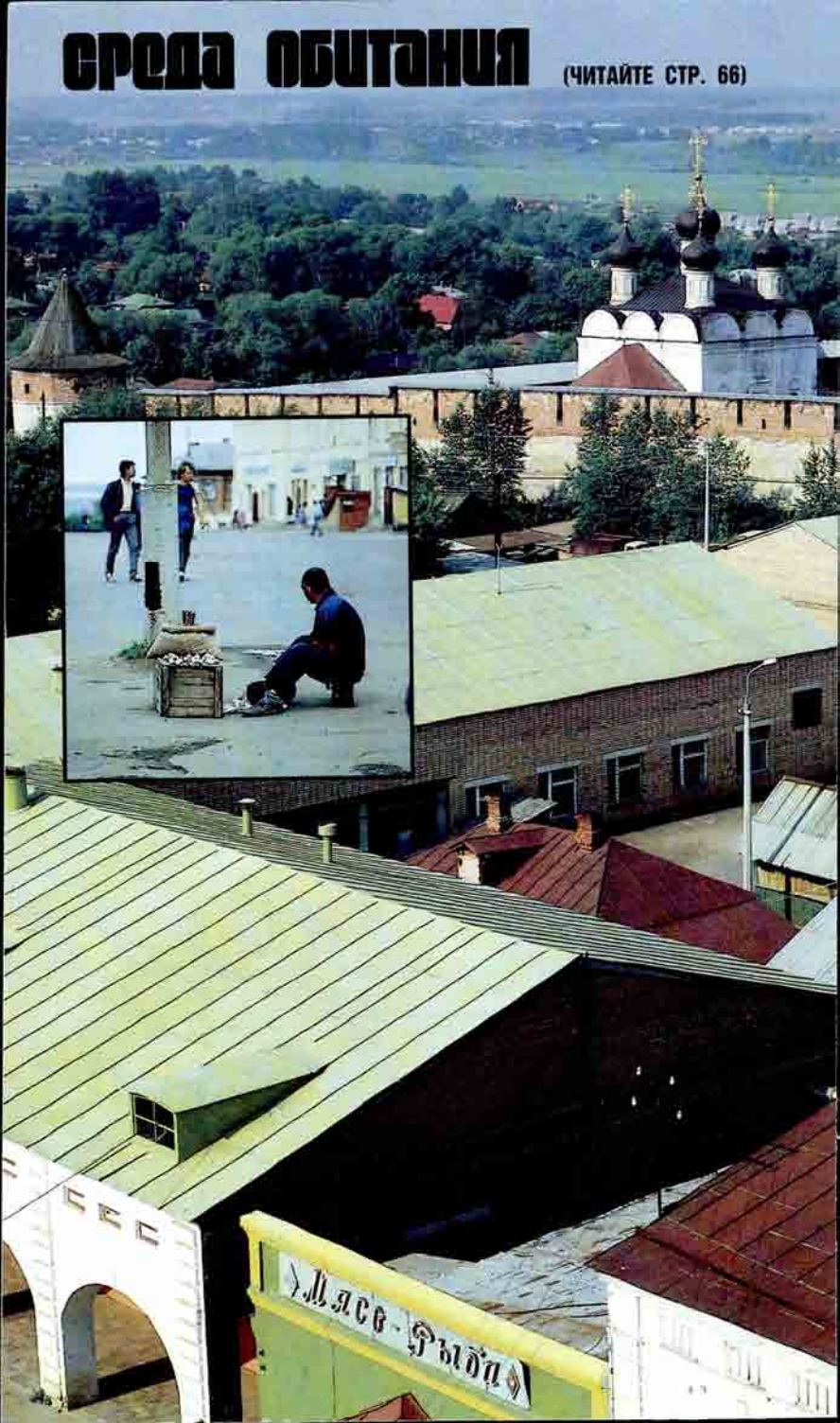
4'90

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ. ПАСТЕРНАК

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Среда обитания

(ЧИТАЙТЕ СТР. 66)



4'90

СМЕНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ
Основан в январе 1924 года.

Главный редактор
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

Редколлегия:

БОРИС ДАНЮШЕВСКИЙ
(зам. главного редактора)
АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ИОСИФ ОРДЖОНИКИДЗЕ
СЕРГЕЙ ПОПОВ
(зам. главного редактора)
ЮРИЙ РАГОЗИН
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ЕВГЕНИЙ РЯБЧИКОВ
ВАДИМ САЮШЕВ
ВИТАЛИЙ СЕВАСТЬЯНОВ
ВЛАДИСЛАВ СЕРИКОВ
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ
(главный художник)
ТАМАРА ЧИЧИНА

Оформление
АЛЕКСАНДРА КЛИЩЕНКО
АРШАКА ОГАНЕСЯНА
Технический редактор
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 11.03.90.
Подписано к печати 05.04.90.
А 00269. Формат 84×108½.
Бумага газетная «Тампресс».
Печать офсетная.
Усл. п. л. 13,86. Усл. кр.-отт. 15,96.
Уч.-изд. л. 23,10. Отпечатано
1 718 014 экз. (из общего тиража
3 318 000 экз.)
Заказ № 1992. Цена 70 коп.
101457, ГСП, Москва,
Бумажный проезд, 14.
212-15-07 — для справок
212-11-27 — отдел писем.
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.
Рукописи, фото и рисунки не возвращаются. Рукописи объемом более 1 авторского листа (24 машинописные страницы) редакцией не рассматриваются.

4 (1506) АПРЕЛЬ

© Издательство ЦК КПСС «Правда». «Смена», 1990.

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА

162
ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. ЧЕТВЕРГ. ПОЗДНИЙ СВЕТ
Глава из романа «Семь дней творения»

234
ОРСОН СКОТТ КАРД. ОКО ЗА ОКО
Повесть

20
ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

ПОЭЗИЯ

16
ГЕОРГИЙ ЧХЕИДЗЕ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ, ЕЛЕНА БУРУНДУКОВСКАЯ

93
РУСЛАН ЧЕКМАРЕВ

146
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ

230
КОНКУРС ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

6
ОЛЬГА КУЗЬМИНА, АНТОН АРИНИН. ПРИЕМНЫЙ «ПОКОЙ»

66
ВЛАДИМИР ПИМЕНОВ. СРЕДА ОБИТАНИЯ

54
ВЛАДИМИР КУДИНОВ. ПОСЛЕДНИЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

76
КОНСТАНТИН ТИНОВИЦКИЙ. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

82
ЧТО ОСТАВЛЯЕМ БУДУЩЕМУ. БЕСЕДА ПУБЛИЦИСТА ЭРНСТА ГЕНРИ С ПРОФЕССОРОМ ЮРИЕМ СОЛНЫШКОВЫМ

88
СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ. ДЕНЬГИ НА «ВАРЕНКУ»

112
ВИКТОР ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ. ЛИШНИЕ ЛЮДИ?

152
РАШИД ХАТУЕВ. ВЫСЕЛЕНИЕ

44
ЧУВСТВО ЛОКТЯ. БЕСЕДА С СЕКРЕТАРЕМ ЦК КОМПАРТИИ ЭСТОНИИ, ДОКТОРОМ ФИЛОСОФСКИХ НАУК МИККОМ ТИТМА

На первой странице обложки: Фотоэтюд ВЛАДИМИРА ПЧЕЛКИНА.



КУЛЬТУРА, МУЗЫКА, ИСКУССТВО

97
ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ. ПАСТЕРНАК
Силуэты

126
ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ: «ЖИЗНЬ, ПО КОТОРОЙ ТОСКУЮ»

222
МАРИЯ ЧЕГОДАЕВА. НА БАРРИКАДАХ СЕРДЕЦ И ДУШ

133
ИЗ РАБОТ, ЭКСПОНИРОВАВШИХСЯ НА ВСЕСОЮЗНОЙ ФОТОВЫСТАВКЕ

278
НИНА ТИХОНОВА. ДМИТРИЙ МАЛИКОВ

94
ЕКАТЕРИНА БУТЕНКО. НАПИШИТЕ СВОЙ ПОРТРЕТ

11,62,144,221
ВАШИ ПИСЬМА

280
ЮМОР, ШАХМАТЫ, КРОССВОРДЫ

АНОНС:

■ **ГИ ДЕ КАР.** «Чудовище». Ги де Кар — популярнейший французский писатель, прославившийся «романами о нравах» с занимательным сюжетом. Во Франции было издано 16 его книг тиражом более 1 млн. экз., и первое место среди них прочно удерживает «Чудовище».

■ **ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ.** «Лик — лицо — личина». Судьба и творчество художника.

■ **НИКОЛАЙ МОНАХОВ.** Инакомыслие под судом. Беседа с юристом — защитником правозащитников.

■ **НИНА ЧУГУНОВА, ЕВГЕНИЙ СТЕЦКО.** Фоторассказ об офицере Советской Армии, «афганце», приговоренном к высшей мере...

■ **АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ.** «Венедиктов, или достопамятные события жизни моей». Романтическая, авантюрная повесть, написанная чистейшим русским языком «золотого» XIX века, вызовет особый интерес у читателя, т. к. после 1929 г. это редчайшее издание было уничтожено во всех гос. хранилищах, и лишь сегодня мы можем по достоинству оценить литературное совершенство повести.

■ Повторится ли Чернобыль? — это волнует наших читателей...

ПОЧЕМУ «СМЕНА» ОПАЗДЫВАЕТ К ПОДПИСЧИКАМ

Дорогие друзья, постоянные подписчики «Смены»!

Вновь вынуждены обратиться к вам, чтобы разъяснить ту чрезвычайно сложную ситуацию, в которой оказался наш журнал.

Начиная с нового года и до сих пор мы получаем множество ваших писем с нареканиями на несвоевременную доставку номеров и большое количество брака. Вот только два таких письма. А. Б. Андреев из Киева сообщает, что первый, январский, номер получил 25 февраля. К тому же, огорчается он, «не успел прочитать журнал, как он рассыпался. Что, клея не хватает?» Многолетняя подписчица Г. И. Хилкова из Вязников Владимирской области в феврале вообще не получила ни одного номера и потому справедливо предъявляет редакции свой счет: «Вы что, не работаете? А наши деньги, уплаченные за журнал, пропадут? Или мы в конце года получим все номера сразу? Мне лично такая информация «кучей» не нужна. Потрудитесь честно выполнять свои обязательства перед подписчиками».

Таковы примерно, уважаемые читатели, настрой и тон большинства ваших писем. Ну что ж, мы вынуждены признать, что все эти претензии справедливы, и в принципе у нас не так уж много оправданий перед вами. Говорят, оправдываться легче, чем работать. Нам, журналистам «Смены», сегодня, пожалуй, гораздо труднее оправдываться. Мы хотим только, чтобы вы нас правильно поняли: колоссальный рост тиража журнала, печатать который теперь приходится в разных городах страны, и, как следствие этого, переход на новый формат и объем, повлекли за собой и новые технологические трудности. Печатники с неимоверным напряжением сил пытаются их преодолеть, но на это им тоже надо определенное время. А пока — опоздания с выпуском каждого очередного номера на полтора-два месяца. И так, увы, говорят они, будет все лето. Только к осени мы должны войти в нормальный график. А еще, не забудьте, есть проблемы с экспедированием, с доставкой, чем занимаемся не мы и не типографии, а Министерство связи. У него, естественно, свои трудности.

Вот почему, дорогие наши читатели, мы и обращаемся снова к вам: потерпите, не нервничайте, не жалуйтесь в разные высокие инстанции, ибо и они не смогут помочь ни вам, ни нам. Помните, что каждое новое дело в нашей стране всегда с трудом пробивает себе дорогу. Пробивает и пробьет, мы в этом не сомневаемся. Как, кстати, не сомневаются уже и те наши читатели, которые получили первые номера новой «Смены» и считают, что журнал ничуть не потерял своего лица, а, наоборот, стал более привлекательным, удобным для чтения и, самое главное, значительно интереснее. Как пишет москвичка Галина Николаевна Абакумова: «Все здорово! Получилось по принципу: все, что ни делается, все — к лучшему!»

Давайте же, дорогие друзья, будем придерживаться этого принципа!

Пишет вам ветеран войны и труда. Часто читала «Смену», полюбила журнал и решила на этот год выписать его. Но вот беда — все сроки получения первых номеров нарушены. В чем дело? Почему вы не хозяева своего слова? Почему заставляете подписчиков разочаровываться? Для меня, инвалида, журналы и книги — это жизнь.

Н. И. КЮЛЛИНЕН,
г. Зеленокумск Ставропольского края

Ребята, вы молодцы! Не отчаивайтесь, вы прекрасно справились с проблемой малого формата. Ваш журнал остался верен себе, а это главное. «Большой» журнал и более красочен, и «смотрибелен». Но те, кто получает его по подписке, вынимают его из почтового ящика сложенным вдвое, довольно неопрятным на вид. Так что мы за новую «Смену», хотя хотелось бы побольше цветных вклеек.

Конечно, сохранение традиционной формы журнала в нашей современной ситуации не только дело принципа и защиты интересов читателей, но и форма политической борьбы.

Но при любом исходе борьбы за журнал останемся верными подписчиками с 1970 года. Желаем успеха!

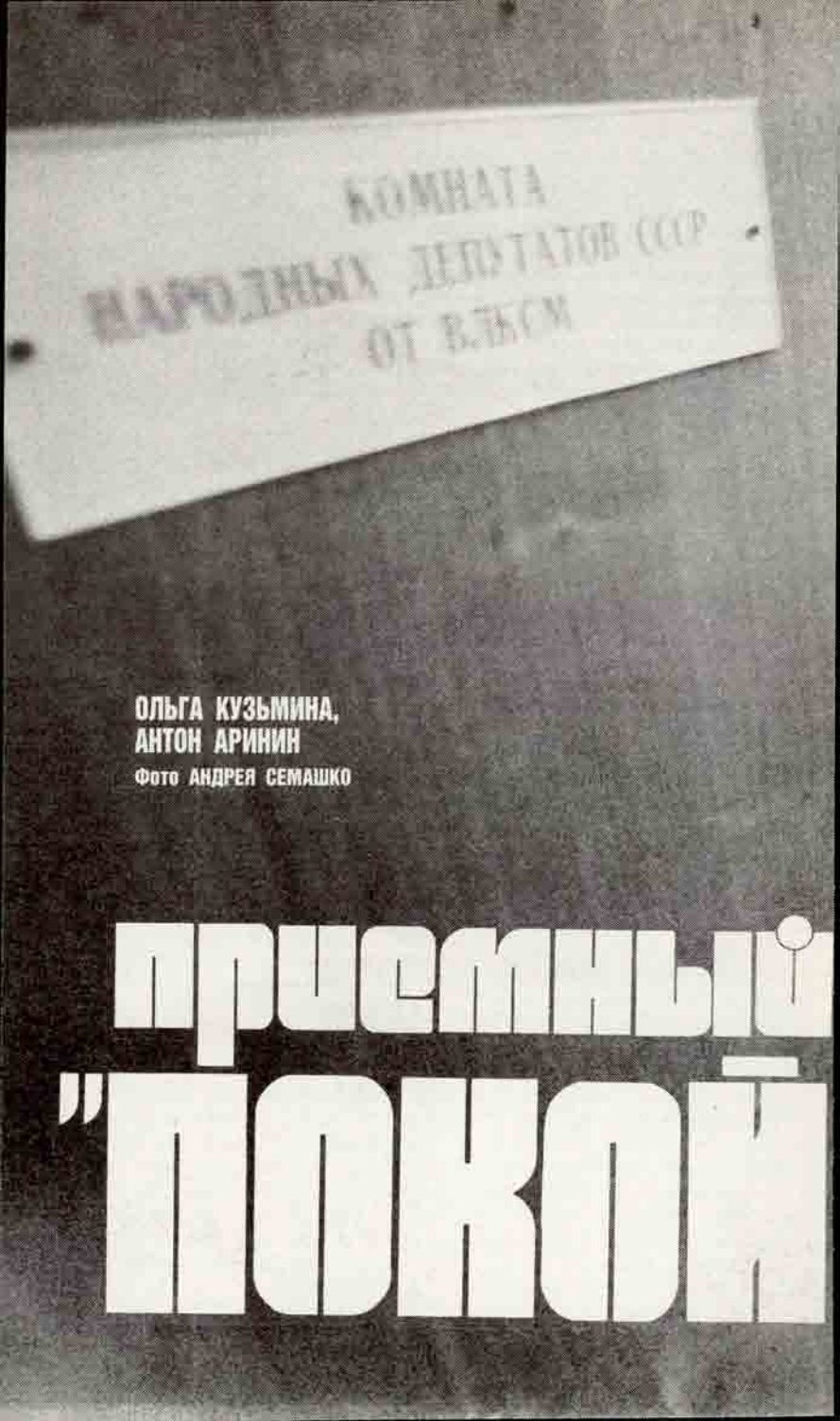
ГОРОВАЯ,
научный сотрудник,
Москва

Я не первый год выписываю «Смену». Нравится мне то, что в нем поднимаются острые, наболевшие проблемы. Но хочу сказать о другом. Проездав полтора месяца первый номер, я обратилась к почтальону. Естественно, она отослала меня к тому, кто принимал подписку. А это значит, что я, инвалид второй группы, должен ехать в район за сорок километров разбираться, что происходит с журналом. Как будто кто-то нарочно хочет, чтобы у вас было меньше подписчиков.

В. И. РОДИОНОВ,
дер. Стрелка Красноярского края

Много лет без задержки, регулярно получал каждый номер «Смены». Радовался и, видно, сглазил. О каком участии в конкурсах и олимпиадах может идти речь, если нарушаются все сроки доставки и, стало быть, отправки конкурсных ответов?

А. М. ВАСИЛЬЕВ,
п. Н. Черкассы БАССР



ОЛЬГА КУЗЬМИНА,
АНТОН АРИНИН
Фото АНДРЕЯ СЕМАШКО

ПРИЯТНЫЙ "ПОКОЙ"



Издавна так повелось: в Москву люди за правдой едут. Едут, отчаявшись и разуверившись, обив не один порог и набив доброе число шишек, как на верховный суд, с последней надеждой, за вердиктом, без которого возвращаться восвояси невозможно.

Не так давно к адресам, по которым «традиционно» стекались ходоки, прибавился еще один: Лучников переулок. Здесь, в помещении ЦК ВЛКСМ, узнали мы по скупым газетным сообщениям, ведут прием граждан народные депутаты СССР от комсомола.

...Вспомните, какие страсти бушевали вокруг кандидатов. Шла такая нешуточная борьба за место в парламенте, наблюдались такие сшибки групп и течений, что дух захватывало... Но выборные страсти, как водится, улеглись, нужное количество мест было занято и... И растворилась «молодежная фракция» в гуще народных избранников, как-то сошла на нет, стушевалась. Где они, представители чуть ли не 40-миллионной молодежной организации? Почему не слышны их резкие, срывающиеся на максимализм, такие нетерпеливые голоса? Год проходит, а много ли молодежных проблем поднято на парламентском уровне?

Со всеми этими вопросами шли и мы в Лучников переулок. Вроде как на прием. Думалось: в очереди потопчемся, послушаем, с чем молодой народ пожаловал. В коридорах да курилках с этим самым народом потолкаемся — «погрузимся», так сказать, в «комсомольско-молодежную проблематику»... Ничего этого не было. Чинность и размеренность правила здесь свой несуетный бал.

В кабинете инструктора ЦК ВЛКСМ Георгия Летуна порядок такой: Георгий работает «в связке» с приехавшим на дежурство депутатом. Вводит, так сказать, народного избранника в курс дела. Помогает сориентироваться в аппаратной иерархии, системе входов и выходов.

За неделю вахты, узнали мы, комсомольские «нардепы» «здорово выматываются»...

С августа по ноябрь минувшего года депутатскую комнату посетило... чуть более восьмидесяти человек. 20 в месяц. Около 7 в неделю. По человеку в день. И это называется много? С чего же выматываться-то?

И вспомнились толпы народа у подъезда гостиницы «Москва», где проживают «взрослые» депутаты. Вспомнились шествия возбужденных людей, что провожали **своего** избранника чуть ли не от Боровицких ворот до дома... Бравада, популизм? Да, может быть. Но, если уж по правде, как хотелось бы видеть комсомольского вожака, окруженного такими же, как и он, молодыми парнями и девушками... И чтобы он, депутат от молодежи, полномочный ее представитель, никак не мог отделаться от наседающей на него ватаги и чтобы наседающие в конце концов что-нибудь ему сказали такое... Ну, например, что ж ты, парень, так-то, а не вот эдак, а? Мы ж за тебя, парень, мы вместе!..

Хорошее дело придумали комсомольские руководители — эту самую комнату открыть. Рассчитывали, что пойдут в нее если не косяком, то хотя бы стайками неформалы — будут спорить, кулаком по столу стучать, качать права, отстаивая свои кровные интересы. Ждали здесь и директоров—президентов НТТМ, МЖК, командиров афганских клубов: проблем-то, слава богу, у всех по горло!

Не идут. Почему-то **сюда** не идут.

Почему?

Может, годами торенные дорожки вернее, испытанней, скорей выводят на конечный результат? Может быть.

Но кто-то ведь приходит. Помните: 20 в месяц, 7 в неделю... Кто они?

— Треть вопросов, с которыми к нам обращались,— судебные, до предела запутанные дела,— рассказывает Г. Летун.— Потом... жилье и трудоустройство... Понимаете,— он оживляется,— когда депутаты приезжают, мы им втолковываем: в первую очередь вы законодатели! Но ведь и «незаконодательными» вопросами кто-то должен заниматься...

«Зависнем» на минуту в этом месте монолога Георгия. Не цепляясь к словам, поразмыслим: неужели так неумелы комсомольские депутаты, что им надо что-то втолковывать?! Да не обидится Георгий, но те, с кем довелось говорить нам, впечатления интеллектуальной «безнадёги» не производили. О «незаконодательных» вопросах, которыми, по Летуну, тоже кто-то должен заниматься. Конечно же, кто-то должен. И хорошо известно, кто именно. Жильем — соответствующая комиссия местного исполкома, судебными делами — местные же органы юстиции и правопорядка... Все это знают, об этом уже столько говорено... А ведь есть уже и примеры обратного: когда народный депутат, исполнив — на Съезде, на сессии ли — свои законодательные функции, зарядившись в Москве от общения с коллегами-парламентариями, возвращаясь домой, расшевеливает, подталкивает, а то и пробуждает ото сна депутатов местного масштаба. И, смотришь, дело стронулось с мертвой точки, набирает обороты механизм местного народовластия. И тогда не приходится обиженному избирателю тащиться чуть не через всю страну к своему полномочному избраннику в Москву.

Везде бы так. Да поскорей!..

Георгий продолжает:

— ...Поэтому наш депутат в понедельник принимает всех, кто бы й с каким вопросом ни пришел. Назначает повторные встречи, буквально за руку водит просителя по инстанциям...

И снова подумалось: нужно ли было, например, депутату Андрису Вилценсу, младшему научному сотруднику Института биологии из Риги, прибывать на недельную депутатскую вахту? Конечно, он добросовестно и скрупулезно ознакомился со всеми бумагами, изо всех сил старался помочь, но... Может быть, Г. Летун или кто-то из его коллег по аппарату ЦК ВЛКСМ мог бы делать то же самое, не «дергая» с мест депутатов? Тем более, что кроме инструктора ЦК и дежурного депутата там работают еще 6 штатных работников.

Депутатская комната. Хорошее вроде бы дело, нужное, с какой стороны ни посмотри. Так почему же пустует она? Почему так низок, так ничтожно мал ее кпд? Георгий Летун убежден, что «...лучше ответить на одно письмо, досконально с ним разобравшись, чем дать двести отписок». Это, простите, и ежу ясно, что лучше. С этим никто спорить не станет. Только снова вопрос: нужно ли было ради этого создавать еще одну, пусть и немногочисленную, но «структуру»?! Есть ведь Приемная ЦК ВЛКСМ, которая работает, и работает неплохо. Мало этого, открыли еще и комнату. Что это — дань моде (какой, на что?), стремление попасть в струю изменившейся политической конъюнктуры: а вдруг народ пойдет, потянется?

Не пошел пока...

Алан Гаглоев, депутат, маркировщик из Северной Осетии:

— Сейчас у меня был парнишка-прапорщик. Его незаконно выжили из воинской части, «суд чести» инсценировали... Кстати, он первый, кто в этих стенах напомнил и мне, и себе, что он комсомолец. А в ЦК ВЛКСМ обратился не сразу...

Шелестят страницы потрепанного уже «дела» прапорщика, сшитого добрым десятком скрепок. Раз инстанция, два, три... пять... Новая страница и: «дорогой Михаил Сергеевич!..»

Письмо. Полное надежды, написанное отчаявшимся юношей. А дальше копия ответа «закудыкиной» организации, которая сообщает, что «письмо в адрес Верховного Совета...», что ничего, короче, с этим письмом не сделаешь. Что надоел мальчик. А ситуация, в которую он попал, по сути своей банальна: не угодил армейским начальникам. Юношу оболгали, откровенно осмеяли попытки «реабилитировать» себя в глазах солдат. Гаглоев — первый из «официальных» представителей, кто мучается и волнуется за парня. Но ведь дело прапорщика можно было решить в первой же инстанции, куда он обращался, если бы подошли к нему по-человечески...

— Мне сейчас трудно, но я этого не боюсь и говорю об этом тоже честно. Так получается, что мы все время в качестве просителей... Нет статуса. Я не говорю, что должно быть: «Сказал — сделайте»,— нет... Я что думаю — народ сюда едет, потому что в своих местных депутатов не верит. А если бы депутаты райсовета, например, выполняли свои функции, вопросов бы не было. Приходят ко мне в Орджоникидзе: «Крыша, мол, течет». Иногда внутренне взрываюсь: «А я что — слесарь?» Потом сам на себя за эти мысли злюсь. Помогаю. А дело-то — ерунда, только делать никто не хочет...

Критиковать да поругивать проще простого, скажет кто-то. Может быть, и правильно скажет. Возможно, что и комсомольская, молодежная пресса не сработала «на опережение», не дала (да и сейчас не дает) хорошей, качественной рекламы доброй задумке. Этими заметками, пусть запоздало, стараемся исправить свою ошибку.

А что думаете вы, молодые и не очень молодые наши читатели, по этому поводу? Может, кто-то захочет предложить свою «модель», какой-то отличный от описанного вариант работы депутатов от ВЛКСМ? А возможно, вскоре вопрос отпадет сам собой, если упразднена будет практика «выборов» от общественных организаций? Кто знает...

P. S. Перед засылом материала в набор связались с Г. Летуном — уточнить, «освежить» цифры. (Все-таки 3 месяца прошло с осенней нашей встречи!) Не расставались с мыслью: а вдруг на комсомольскую депутатскую комнату за это время обрушился поток людей, звонков, писем... Но... было тихо. За несколько истекших месяцев побывали здесь не сотни, с натягом — десять человек... Письма? Те же жалкие единицы...

Уловив недоумение в вопросе, Г. Летун бросился отстаивать честь депутатской комнаты и свою, надо полагать, честь. С завидным рвением делал это. Мол, народу мало, потому что информации не хватает, дескать, собираемся эту информацию дать, а там посмотрим... Все, мол, у нас еще впереди.

Конечно, впереди. Но и позади не мало — полгода. Полгода упорного создания видимости бурной деятельности...

ЧИТАТЕЛЬ•«СМЕНА»•ЧИТАТЕЛЬ

- Рано говорить о памятнике...
- Боязливое правосудие
- Что по силам инвалидам

Предки наши в честь победы над Наполеоном на собранные народом деньги построили храм Христа Спасителя. В настоящее время идет речь о возведении Памятника Победы на Поклонной горе. Но, может быть, рано говорить о памятнике, коль многие из тех, в чью честь он возводится, еще лежат незахороненные на полях нашей Родины. И коль их не хоронит государство, за свободу, честь и независимость которого они погибли, не хоронит министерство, которое призывало их на защиту Родины, может быть, надежнее всего обратиться к народу, собрать по рублику и копеечке и не строить храмы и памятники, а похоронить своих солдат.

П. С. СТРОЖАЕВ,
с. Новопокровка Кантского р-на Киргизской ССР

Прочел вашу публикацию «В правосудии отказано?» («Смена» № 23, 1989 г.). С аргументами и выводами Е. Н. Мысловского абсолютно согласен. До марта 1987 года я работал зам. начальника следственной части УВД Пермского облисполкома и могу привести примеры из своей практики, когда Верховный суд отменял или изменял приговоры облсуда по хозяйственным делам, основанным, казалось бы, на бесспорных доказательствах. Суды стали бояться выносить обвинительные приговоры, по сложным делам пускают процесс на самотек, предоставляя обвиняемым возможность влиять на свидетелей. В результате к концу рассмотрения дела оставались лишь те доказательства, которые утратить было невозможно. Тем самым суд страховал себя от обвинений в «обвинительном уклоне» и риска «не доработать до пенсии». Минимальным наказанием обвиняемые были довольны, не жаловались.

Результат такого «правосудия» мы уже сейчас имеем: преступность выросла, квалифицированные следователи уволились.

ГЕННАДИЙ ИВАНОВ,
Пермь

Сейчас много говорят о том, что наш закон должен быть более гуманным, спорят, нужна ли смертная казнь... Если не гуманно лишать преступника жизни, то гуманнее ли давать ему возможность калечить и убивать других? Кто у нас, имея по три-четыре судимости

и несколько лет тюремного стажа, исправился? Один из тысяч. Сколько потом совершили повторные преступления? Большинство.

Мой отец лет тридцать отсидел в лагерях. Он умер своей смертью, стариком, но отправил на тот свет не одного человека. Гуманно ли было каждый раз после освобождения выпускать его на волю? Он убивал в зоне и получал новые сроки, он убивал в деревне, и все знали, чьих рук дело, но не было улик.

Для таких людей нужны резервации. Жалеть их — значит не жалеть тех, с кем они будут общаться, сознательно обрекать нормальных людей на горе, которого могло и не быть.

О какой снисходительности может идти речь к тем, кто насилует детей?! Разве у такого чудовища когда-нибудь исчезнет жестокость и появится доброта?!

Пусть те, кто ведет речи о гуманности к такого рода преступникам, представят, что это его ребенка истязали, что его сына, внучку лишили жизни подонки. Сможет тогда юрист, вещающий о справедливости, продолжать в том же духе? Кто из людей, принимающих законы, испытал на себе тяжесть соприкосновения с преступным миром не только по долгу службы, кто из них испытывал страх за свою жизнь и жизнь близких?

Никаких смягчающих обстоятельств не должно быть для тех, кто насилует детей, кто убивает умышленно, изощренно. Только смертный приговор должен быть итогом для подлецов. Те же, кто совершил менее тяжкие преступления, но имеет несколько судимостей, должны жить в резервациях, закрытых поселениях. Это будет гуманно по отношению к нормальным людям, а жить среди них такие все равно не способны, новыми сроками они доказывают это.

Я считаю, что «резвость» многих неблагополучных подростков поубавилась бы, если б о порядках в зоне они узнавали не из рассказов «очевидцев», редких телепередач, а побывав на экскурсии, пожив там день или неделю (смотря кто что «заслужил»), чтобы на себе заранее испытали то, что их ждет, если будут продолжать в том же духе. Многим хулиганам, которым дают год, вполне хватило бы и месяца.

И уж чтобы действительно быть гуманными, надо в зонах кормить досыта, одевать соответственно погоде, не унижать человеческое достоинство осужденных, а с тех руководителей, кто нарушает эти правила, строго спрашивать.

Л. КОПАНЕВА,
Братск

Многие считают, что борьба за доброе отношение к животным, за предоставление им приюта несвоевременна, так как позаботиться в первую очередь надо об обиженных людях — о старых и молодых, о брошенных детях, о бесприютных нищих стариках. На этом фоне перебитые ноги собаки, повешенные кошки, выброшенные за ненадобностью домашние животные — просто небольшой штрих к нашей неустроенной жизни.

Но часто мы видим одинокого старого человека, а рядом с ним маленькое, теплое живое существо, и, значит, уже нет мрака и пустоты, потому что это существо преданно любит хозяина. Мне известно, что многие

пожилые люди, пережив блокаду, пройдя тяжелые испытания, живя на мизерную пенсию, подбирают на улицах бездомных, искалеченных животных и спасают их. Но благодетели умирают, и животные, а часто это уже тоже старики, выбрасываются на улицу.

Когда я вижу чистые глаза ребенка, брошенного матерью, или глаза прижавшегося на лестничной площадке выброшенного котенка, я вижу в них одинаковое горе, недоумение и зов о помощи. Когда я заглядываю в глаза больного одиночеством и старостью человека или бездомной собаки, с обреченной тоской глядящей на проходящих мимо нее, я вижу общность судеб сирых и слабых.

Я работаю в публичной библиотеке. Перелистывая старые издания, особенно начала XX века, вижу материалы по проведению сбора средств на различные нужды милосердия. Так, весной в Петербурге проводился День белой ромашки. Средства, собранные в этот день, шли на помощь туберкулезным больным. Руками милосердных людей изготавливались цветы, и сотни добровольцев выходили на улицы и продавали их прохожим. Считалось неприличным идти в этот день без цветка на одежде.

У нас сейчас не очень правильное представление о милосердии. В сберкассах поставили тусклые ящики, на них стыдливые надписи с просьбой о помощи, хотя, конечно, стыдного здесь ничего нет: никто, увы, не застрахован... К этим ящикам редко подходят люди, и не потому что мы сплошь и рядом плохие. Мы устали, мы замотаны. Так надо, чтобы и нам милосердие приносило хоть маленькую толику радости, а не просто удовлетворение по поводу выполненного долга. Смотрите, как умно действует церковь. В ней стоят урны с надписями, на что собирает церковь деньги. А уж в подносы, с которыми обходят прихожан, монеты бросают все. Почему? Помните, как все в церкви, извините, организовано? Храм для посетителей натопят, украсят, пригласят хор. Священники прочтут благолепные тексты, а уже после этого размягченному человеку подносят сосуд для подаяния, и он от чистого сердца вносит свою лепту. Думаю, что немаловажным фактором является и то, что кругом люди, а, как известно, «на миру и смерть красна». Церковь не стесняется протянуть руку, поощряет подаяния, просит ради Христа, помогавшего сирым и убогим. А наши товарищи, стоящие во главе благотворительных фондов, по-моему, боятся унизиться просьбами.

У меня твердая убежденность: во-первых, добро должно быть гласным и деятельным, ибо только деяния доброты несут и помощь, и агитируют действием заснувшие души; во-вторых, человек должен получать общественное одобрение и благодарность за свою лепту, ибо только святые могли творить добро тайно, в тиши, а мы люди, и, выйдя с кружкой для подаяния на улицы города, мы должны чувствовать уважение к исполняемой нами миссии.

И. В. ДАВЫДЕНКОВА,
Ленинград

Живем мы с сыном в ветхом, аварийном доме, в холодной, сырой квартире. Прямые солнечные лучи к нам не попадают, и поэтому у нас холодно и сыро, как в погребе. Зимой я жгу по пять ведер угля на шестна-

дцать квадратных метров, и тем не менее, чтобы было у нас тепло, круглые сутки горит плитка: иначе приходится спать одетыми, ложась в ледяную кровать. А как только начинает теплеть, из всех щелей ползут мокруши и двухвостки — того и гляди в уши залезут, так что нам приходится спать в платках.

Весной у нас лужа во весь двор и, естественно, в коридоре постоянный потоп. Стены дома выкрошились, рамы сгнили, пол перекосился, на стенах плесень и грибок. В довершение ко всему нет покоя от крыс. Когда на улице дождь, на подоконниках полно воды. Да разве можно назвать это нормальной жизнью? Мало того, что я угробила свое здоровье в этом подвале и сейчас работаю на таблетки, я и сына здесь загублю. Куда только не обращалась, кому я только не писала! В ответ идут одни отписки. Из Челябинска пришла бумага о том, что наш дом ветхо-аварийный и ремонту не подлежит. И, разумеется, на ремонт такого дома фонды не отпускаются. А зимой из облисполкома получили письмо, в котором зампред пишет, что дом нуждается в капремонте. Кому верить? Как жить?

Л. В. ПЕСЦОВА,
Троицк Челябинской области

У матросов и у их родителей есть вопросы к руководству Министерства обороны: 1. Почему в сухопутных войсках, технически не менее сложных, чем флот (авиация, ракетные войска, войска связи, ПВО), солдаты служат два года, а матросы — три? 2. Почему солдаты и матросы не имеют ежегодных, не зависящих от воли командиров отпусков? 3. Почему один матрос весь срок службы должен мерзнуть на Крайнем Севере, а другой загорать под черноморским солнцем? Может быть, нужно их менять через год службы? Или год службы на Крайнем Севере считать за 1,5? 4. Почему американские матросы-профессионалы, получающие за службу деньги, имеют возможность учиться и оканчивать колледжи во время службы, а нашим матросам не разрешается? (Репортаж об этом вели наши журналисты с авианосца, стоявшего у берегов Мальты.) 5. Почему один выпускник школы, поступивший в вуз (зачастую при помощи родителей), освобождается от службы в армии, а другой, который не прошел по конкурсу и честно отслуживший 2—3 года, не имеет никаких льгот при поступлении в вуз?

В. ПАСНИК, ветеран ВОВ и труда, Киев

В стране более 10 миллионов инвалидов первой и второй групп в возрасте от 16 до 45 лет, то есть людей с сохраненным интеллектом. За границей их называют «гандикап» — «голова и руки». Около 15 тысяч из них живут в домах-интернатах. Всем им Конституция гарантирует право на труд. Значит, нужно организовать примерно 10 миллионов рабочих мест. Стоить это будет около 10 миллиардов рублей. Пугает цифра? Но осуществление этой программы возможно и без получения каких-либо ассигнований государства! Как?

С 1968 года существует воронежская экспериментальная мастерская «ВОИН» при Воронежском доме инвалидов № 1.

Двадцать два человека с самой тяжелой инвалидностью, нуждающиеся в постоянном уходе, изготовляют контрольно-измерительные приборы (аккумуляторные пробники), работа по 3—4 разряду. Зарплата — 200—250 рублей в месяц при шестичасовом рабочем дне.

Ход эксперимента был приостановлен в 1977 году. Мы хотели на базе мастерской создать хозрасчетное приборостроительное предприятие для инвалидов, с трудовым пансионатом, в котором инвалиды оплачивали бы свое проживание, питание, уход, и все из своих заработков. Планировали организовать на базе этого предприятия систему надомного труда для нескольких десятков тысяч инвалидов.

Что по силам инвалидам? Спектр очень широк. Им найдется работа и в электронике. Рабочие места должны быть расположены рядом с жильем, чтобы инвалид на коляске мог явиться на свое рабочее место. В приборостроительном производстве, где «материала — на копейку, а труда — на рубль», месячная норма работы свободно размещается в одном ящике обычной почтовой посылки. После обучения всему циклу работ инвалиду можно организовать рабочее место на дому, снабдив всем необходимым — материалами, инструментом, оборудованием, личным клеймом. Ему — раз в месяц посылку с деталями, он — готовые приборы. Ему — зарплату (переводом) и снова детали.

Кроме того, в регионах, подходящих для передвижения инвалидов на колясках круглый год (Украина, юг России, Средняя Азия), можно развернуть систему производственно-жилищных комплексов инвалидов на 100—1000 работников в каждом. Что для этого нужно? Обычные жилые квартиры, удобные для инвалидов, и помещения с рабочими местами для производства изделий оптики, электроники, приборов. Самый примитивный комплекс — это обычный двухэтажный жилой дом с пологим пандусом на террасу второго этажа вместо лестничных маршей, а одна из квартир на каждой лестничной площадке отдается под рабочие места. Такие комплексы поначалу можно строить на средства инвалидов. Комплекс можно развернуть и на базе типового здания дома инвалидов.

Коллективы поселившихся в этих зданиях «гандикапов» могут образовать кооперативы, взять здания в аренду и развернуть в них производственно-жилищные комплексы, наладив систему надомной работы.

Прибыль от работы инвалидов в наукоемких производствах такова, что дает возможность свободно отчислять средства на ежегодное удвоение и даже утроение производства. Если начать со ста комплексов, то за 1,5—2 пятилетки можно трудоустроить всех желающих работать инвалидов страны.

Двадцать лет я пытаюсь пробить эти идеи, и двадцать лет от меня отмахиваются, как от назойливой мухи.

Я не могу ходить и сидеть — только лежу. Но я могу думать! Окончил институт. У меня несколько запатентованных изобретений.

Двадцать лет я в прямом смысле ползаю по кабинетам. Дополз до перестройки. Коснется ли она нас, инвалидов?

ГЕННАДИЙ ГУСЬКОВ,
Херсонская область

РАЗМЫШЛЕНИЕ ТАБАЧНОГО КИОСКЕРА

Мой попугай, как Иисус, говорит притчами.
Я плохо сплю. С семейством в разводе.
Немного разбираюсь в музыке. Так, мелодии Кальмана
мне напоминают крап сазана.
Вообще, я человек с воображением. Отпуская товар —
«Шипку», «Беломорканал», «Герцеговину»,— представляю себя
Кроносом, выплевывающим будущих олимпийцев...
Вдыхайте на здоровье потраву!
Мне все равно, кто передо мной — костромской бомж
или вице-президент МОК.
И тот, и другой стремятся задымить планету.
Хотя, возможно, и она заядлая курильщица.
Надо быть объективным. Прозрачность —
не лучшая форма существования.
Из-за матового стекла моей коробки видны
высотное здание и площадь. Верзила трясет транспарантом:
«Долой бюрократов! Даешь кооперативную собственность!»
Кто-то рычит в ответ: «Предали родину. Сокращают
лучших людей. Сволочи...»
Подобный спор мне представляется нелепым, как антитела в соусе.
Какая разница, кто кого продает. Я — Кронос.
Слава богу, меня никто не собирается сокращать.

Я прихожу к выводу, что люди от природы наивны.
Охотятся за миражами. Перекраивают границы.
Отстаивают принципы.
Что вы будете делать по ту сторону с этим багажом?
Единственная реальность — моя табачная лавочка.
Моя лавочка, может быть, даже сверхреальность.
Придет время, и мы вас всех сожжем!
Вероятно, поэтому мой попугай говорит притчами...

ФАРВАТЕР

Говорят, самое безопасное место.
Ограждено сигнальными вехами.
Проход для самых дисциплинированных, усердных и контактных. Среда выживания.
Но кто поставил вехи? Кто определил
дальность полета мысли, трассирующей
в бесконечность? Кто, наконец, доказал,
что пловец, полагающийся на чью-то поддержку, достигнет цели
в этом разлинованном и разбитом
на сферы влияния океане?
С грустью следишь, как пловцы азартно обходят друг друга на отрезке размером в ванну...
Слепцы или невежды?
Скорее всего просто исполнители,
знающие только то, что следует знать разуму,
не выбирающему направлений.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ

ПОЕЗДА

Кто придумал поезда,
Жизнь поставил на колеса?..
А душа кричит с откоса:
«Не поеду никуда!..»
Кто придумал поезда —
Эти встречи и разлуки,
Эти трепетные руки,
Эти взгляды в никуда?
Кто придумал поезда —
Эти окна, эти двери
И глаза, как две потери —
На год или навсегда?
Кто придумал поезда,
Что увозят нас далече,
Если б только одни встречи,
А разлуки никогда?
Кто придумал поезда —
Эти грусти и тревоги?
Если б не было дороги,
Мы б не встретились тогда...

Весна на снег ступила
Смело,
Пошла, сосульками звеня...
Ей до меня какое дело,
Какое право на меня;
А нет ни грусти,
Ни кручины,
Есть диво ночи,
Радость дня!
Весна иль ты тому
Причина?
Весна иль ты зовешь
Меня?
И я иду на звонкий
Гомон,
На свет твоих зовущих
Глаз...
Весна мне с малых лет
Знакома,
А ты явилась лишь
Сейчас.

ВЗЛЕТ

Герою Советского Союза
полковнику А. В. Руцкому

Взлет...
А вернешься ли соколом?
Взлет...
Не последний ли раз?
Звезды проносятся около
В небо нацеленных глаз.
Взлет...
А к земле притяжение,
Только вернешься ли ты?
Небо идет на снижение,
Горы в набор высоты.
Видишь полоску рассветную,
Словно луч солнца в окне,
Звездочку видишь заветную —
Светит тебе в вышине...
Где-то за дымками синими
детство оставило след —
Край, что зовется Россиею,
В нежную радость одет...
Взлет...
Увернешься ль от выстрела
Иль упадешь по прямой?
Все можно вынести, выстрадать,
Только б вернуться домой!
Мужество делает сокола,
Только не в небе, где тишь...

Взлет...
Не вокруг и не около —
В самое пекло летишь.
Все наполняется гулом,
В небо распахнута дверь...
Взлетную ночь над Кабулом
Разве забудешь теперь?..

ЕЛЕНА БУРУНДУКОВСКАЯ

НА ИСХОДЕ ВЕКА

Озоновой дырой зияет небосвод.
Невидимы во мгле созвездья Зодиака.
В плену сусальных прав и приторных свобод
Бытует человек.
И вот она, изнанка
Ликующих фанфар, победоносных схем...
«Мы не рабы. Рабы не мы».— Крошится
Раскатистый мелок на грифельной доске.
Как горячо, доверчиво...
Иль это только снится?
Ау! Ты где, державная страна!
Так облачком сырым иллюзия витает,—
И снова твердь небес горит, воспалена...
Архангел списки душ загубленных листает.

Запомнятся две-три неспелые черты
Из хаоса времен, свергающих друг друга.
Смеркающийся час. Припадок немоты.
Объятия разомкнутого круга.

=

«Черный ворон» бесшумен, как вор.
Ночь глуха, и соседи глухи.
Серым снегом спеленатый двор...
Как в России снега глубоки!

Страшно сгинуть вдали от родных,
В этой стылой пустыне пропасть.
Черной пастью зияет рудник,
Безымянной истории пласт.

Ржавый заступ тяжел, как тоска.
На морозе бушлат — решето.
Бьется разум, зажатый в тисках,—
Этот страх, униженье —
за что?!

И не в силах простить и понять,
Сквозь чащобу непрожитых лет
С укоризной глядит на меня
Мой посмертно оправданный дед.

Не странно ли, что сегодня мы знакомим читателей «Смены» с русским прозаиком, произведения которого включены в программы едва ли не всех университетов?

Нет, не странно. Не странно потому, что в число этих университетов и программ не входят наши — отечественные. Но на этот — уже следующий из первого — вопрос вполне определенно отвечают события времени, в которое мы живем: именно сегодня приходится платить нам по векселям долги наших отцов, а имея в виду современного молодого читателя, то, пожалуй, и дедов. Речь идет о Евгении Замятине (1884—1937).

Короток — как черточка между двумя этими датами, короток — отмеренный судьбою срок и потому трагичен. Но не трагично разве то, что после первой даты — рождения — нужно будет поставить «Лебедянь», а после второй — кончины — «Париж», город, приютивший изгнанника, и которому, помимо прочих щедрот, уже этим одним должны мы быть благодарны. Однако не верстами и годами — как бы ни были длинны первые и коротки последние — определяется пространство жизни писателя. Другие нужны здесь мерки, иные аршины, и, как большую реку, начинать надо не с середки, не с конца, а с истока, который всему начало.

Родился и свет увидел Евгений Замятин «среди тамбовских полей, в славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком Лебедяни — той самой, о какой писали Толстой и Тургенев». Не оттого ли появление его в литературе было столь же стремительным, как и блистательным? Об одном из литературных вечеров, где впервые читал Замятин, очевидец вспоминает: «Ни у одного из выступавших в тот вечер, даже у Блока, не было и доли того успеха, который выпал Замятину.



Портрет ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА работы БОРИСА КУСТОДИЕВА.

Чуковский носился по залу и говорил всем и каждому:
— Что? Каково? Новый Гоголь. Не правда ли?»

Это — начало. А конец — в поклонном слове Замятину другого русского изгнанника — А. М. Ремизова: «За 29 лет литературной работы осталось — под мышкой унесешь; но вес — свинчатка».

Лучше не скажешь. Но не станем, однако, пахать поле, уже вспаханное: ко времени нашей публикации, после десятилетий гробового молчания, подготовлено у нас три прозаических сборника Замятина, и мы отдаем себе отчет в том, что читатель имеет возможность понять главное: место этого мастера в русской литературе никем не занято и занято быть не может — он сам по себе. Дело не в том даже, что, по точному замечанию его современника, «Замятина нехитро угадать по любой фразе». Добавим: неповторимая языковая стихия — не единственное достоинство мастера, вознесшее его на одну из далеко видных вершин русской прозы. Тому свидетельство — рассказы и повести «Уездное», «На куличках», «Три дня», «Островитяне» и, конечно же, знаменитый, а по всемирному признанию и первый в ряду «антиутопий» роман «Мы», о котором, быть может, точнее и вернее других сказал Ю. Н. Тынянов: «Фантастика вышла убедительной. Это потому, что не Замятин шел к ней, а она к нему»... Так что предоставим читателю обо всем этом судить самому. Цель же нашей публикации иная: познакомить его с той гранью творчества Замятина, которую современные сборники по непонятным причинам обходят. Мы представляем Замятина-мемуариста. Но здесь-то и следует оговориться.

То, что читатель прочтет ниже, вряд ли умещается в традиционный жанр мемуаров, если понимать его как воспоминания о ком-то и где герои действуют в декорациях эпохи, а не в ней самой. Этой «театральности» воспоминания

ПОРТРЕТЫ

Замятина лишены начисто. Здесь нет раздельно таких понятий, как герой, фон, действие, есть жизнь, все это вмещающая. Сила изобразительности — людей, времени, событий — в коротких этих заметках такова, что способна заменить многостраничные исследования и жизнеописания.

И еще одна особенность, отличающая мемуарную прозу Замятина.

Казалось бы, многое, если почти не все, знаем мы сегодня о Блоке; хорошо известна содержательная «Книга о Леониде Андрееве»; Б. М. Кустодиев тоже не числился у нас в ряду, к воспоминаниям запрещенном, но тем не менее взгляд мастера такого класса, как Замятин, дает иной объем, иную стереоскопичность всему, что казалось нам известным.

Читатель обратит, конечно, внимание и на то, какими скупыми, тщательно отобранными средствами достигается поразительный этот результат. Как, например, оттеняется традиционная мистическая мрачность Леонида Андреева, которую и которого мы знаем, той, почти комической ситуацией, в какую попадает знаменитый писатель в мастерски рассказанном Замятиным эпизоде. Живые черточки, бытовые детали, тщательно прописанные в воспоминаниях о Кустодиеве, говорят об эстетике и сущности его творчества, пожалуй, больше, чем увесистые монографии с подробным пересказом картин. А чего стоит один с в и т е р Блока, того самого Блока, чуть ли не небожителя, которого привыкли мы видеть затянутым в сюртук и с отрешенным лицом-маской. И как поразительно точно здесь маленькое наблюдение о голосе поэта: «Он говорил медленно, металлически, холодновато и только два-три раза я слышал в металле острие, жало — и видел: он натягивает вожжи, чтобы сдержать себя». Но и эта сама по себе поразительная деталь не

АЛЕКСАНДР БЛОК

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

1918 год. Маленькая редакционная комната — какая-то пустая, торопливая, временная — два-три стула, в углу связки — только что из типографии — книг. Еще непривычно, что в комнате — в шляпах и пальто. И непривычный, дружеско-вражеский разговор с одним из редакторов левоэсеровского журнала.

Стук в дверь — и в комнате Блок. Нынешнее его, рыцарское лицо — и смешная, плоская американская кепка. И от кепки — мысль: два Блока — один настоящий, а другой — напяленный на этого настоящего, как плоская американская кепка. Лицо — усталое, потемневшее от какого-то сурового ветра, запертое на замок.

«повисает в воздухе», и потому что-то уже от высокой трагедии есть в таких простых словах Блока: «Дышать нечем. Душно». Не тут ли причина конца одного из крупнейших поэтов XX века?..

Но после столь пространного предисловия позволим себе все же добавить: несмотря на самоценность этих воспоминаний Замятина, публикация их сегодня представляется нам весьма ко времени.

Ведь положа руку на сердце приходится признать: за интересами нынешними начинаем мы помаленьку забывать и Леонида Андреева, так или иначе, но стоявшего у истоков русской литературы XX века; и где-то на краю памяти остается уже творчество Кустодиева, отодвинутое туда стремительным и громогласным «авангардом». Начинаем — да, да! — начинаем забывать и Блока, но не потому, конечно, что сама по себе изглаживается из памяти его поэзия, в е р ш и н н а я, быть может, в русском «серебряном веке», а оттого скорее, что «незапрещенность» ее в недавние годы как бы покрывала этим творчество тех, в сущности, его последователей, кому пришлось тогда лихо и чей час пришел только сегодня... Да, но забывать одного ради другого — не лучший способ постижения отечественной культуры. Вот почему именно сегодня публикация воспоминаний Замятина представляется нам своевременной.

Завершаем же мы эту подборку совсем наособицу — неким документом, начинающимся словами, которые звучат сегодня по меньшей мере странно: «Уважаемый Иосиф Виссарионович»... Если публикуемое письмо и относится к «воспоминаниям», то к н а ш и м о б щ и м и весьма горьким воспоминаниям, хотя и объясняющим то, как сломана была жизнь и судьба замечательного русского писателя.

И в углу около книг — какое-то мимоходное, шепотом, редакционное совещание — я на минуту вдвоем с Блоком.

— Сейчас? (Его ответ.) Ну какое же писание. Выколачиваю деньги. Очень трудно...

И вдруг — сквозь металл, из-под забрала — улыбка, совсем детская, голубая:

— А я думал, что вы — непременно с бородой до сих пор, вроде земского доктора. А вы — англичанин... московский...

Это было мое знакомство с Блоком. Только этот короткий разговор, улыбка, кепка.

Три года затем мы все вместе были заперты в стальном снаряде — и во тьме, в тесноте, со свистом неслись неизвестно куда. В эти предсмертные секунды-годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в несущемся снаряде. Смешные в снаряде затеи: «Всемирная Литература», Союз Деятелей Художественного Слова, Союз Писателей, Театр... И все писатели, кто уцелел, в тесноте сталкивались здесь — рядом Горький и Мережковский, Блок и Куприн, Муйжель и Гумилев, Чуковский и Волынский.

Сначала — жужжащая, густая приемная «Всемирной Литературы» на Невском. И Блок проходит сквозь, и как-то особенно — раздельно, твердо — берет руку — и слышен каждый слог: «Николай Степанович!» — «Федор Дмитриевич!» — «Алексей Максимович!»

Горький тогда был влюблен в Блока — он непременно должен быть на час в кого-нибудь, во что-нибудь влюблен: «Вот — это человек! Да! Покорнейше прошу!» Блока слушал Горький на заседании «Всемирной Литературы» так, как никого.

Еще неясно было, что мы заседаем, завинченные в летящий стальной снаряд, или, быть может, еще не устал Блок пересаживаться из заседания в заседание, но он был пока не тот, безнадежный и усталый, как позже, он срывал с якоря толстых томов не одного только Горького.

В один весенний вечер — заседание на частной квартире. Горький, Батюшков, Браун, Гумилев, Ремизов, Гизетти, Ольденбург, Чуковский, Волынский, Иванов-Разумник, Левинсон, Тихонов и еще кто-то — много... и один Блок. Доклад Блока о кризисе гуманизма.

Я помню отчетливо: Блок на каком-то возвышении, на кафедре — хотя знаю, никакой кафедры там не могло быть,— но Блок все же был на возвышении, отдельно от всех. И помню: сразу же — стена между ним и всеми остальными, и за стеною — слышная ему одному и никому больше — варварская музыка пожаров, дымов, стихии.

А потом — в комнате рядом: потухающий огонь в камине; Блок — у огня со сложенными крыльями бровей, упорно что-то ищущий в потухающем огне, и взволнованные за полночь споры, и усталый, равнодушный ответ Блока — издали, из-за стены...

Кажется, весь этот вопрос — о кризисе гуманизма — ответвился как-то от Гейне: Блок редактировал во «Всемирной Литературе» Гейне. Работал он над Гейне необычайно тщательно и усидчиво. Помню какой-то будничный, денежный разговор — и слова Блока:

— Оплата? Какая же тут может быть оплата? Вчера за два часа я перевел двенадцать строк. И еще в комнате у меня в тот вечер было тепло, горела печь. Очень трудно, чтобы перевести по-настоящему.

Он делал все — «по-настоящему». Но все же чувствовал — ни на минуту не переставал чувствовать, что это — не то, не настоящее.

Вижу его в зале, у окна — вдвоем с Гумилевым. Тоскливое, румяно-холодное небо. Гумилев, как всегда, жизнерадостен, какие-то многообещающие проекты и схемы. И Блок, глядя мимо, в окно:

— Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?

А за окном — опустошенное ветром, румяное, холодное небо...

В тесноте, в темноте, внутри несущегося со свистом стального снаряда — торопились заседать, одно заседание перекрывало другое. Союз Деятелей Художественной Литературы решил заняться в снаряде — изданием произведений изящной словесности. Составилась редакция: Блок, Горький, Куприн, Шишков, Слезкин, Муйжель, Мережковский, Чуковский и я. Посыпались рукописи. Блоку приходилось давать рецензии о стихах — и я помню одну его — отточенную, острую; как и всегда на

заседаниях, он не говорил, а читал по написанному (и рукопись этой его рецензии сохранилась). Один из поэтов, нанизанный на острие этой рецензии, просил меня достать у Блока его отзыв. Но на следующем заседании Блок сказал мне:

— Я не принес... Не нужно. Может, ему это очень важно — писать стихи. Пусть пишет.

Решили устроить журнал. Он должен был называться «Завтра» — и, помню, мне поручено было написать что-то вроде манифеста. Там было — о круге: вчера, сегодня и завтра, и о том, что вся литература всегда о завтра и во имя завтра, и этим определяется отношение к вчера, к сегодня. И от этого она всегда — ересь, бунт.

А потом, при пересадке с заседания на заседания — мимолетный разговор с Блоком и об этом.

Помню: на минуту, за этим — медленным, металлическим, на замке — лицом мне мелькнул человек, который трудно и больно отрывает от себя что-то. Это был первый мой разговор с Блоком — без стен. Знаю конец. Я сказал:

— Вы очень отошли от того, кем были год назад. Вы меняетесь.

Ответ:

— Да, я сам чувствую, что меняюсь.

Петербург — выметенный, опустелый; забитые досками магазины; разобранные на дрова дома; кирпичные скелеты печей. Обтрепанные обшлага; поднятые воротники; фуфайки; вязаные свитера; и в свитере — Блок. Лихорадочная попытка перегнать нужду и какие-то новые, минутные, непрочные затеи, какие-то новые заседания — из заседания в заседание...

И вот — поздно вечером, после трех или, может быть, четырех заседаний — в одной из маленьких задних комнат «Всемирной Литературы». Столовая, под зеленым колпаком, лампа; лица в тени. Налево от двери — теплая изразцовая лежанка, и на лежанке, возле лежанки — Блок, Гумилев, Чуковский, Лернер, я — и кругленьким кубарем из угла в угол Гржебин.

Трудно починить водопровод, трудно построить дом — но очень легко — вавилонскую башню. И мы строили вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы российской — от Фонвизина и до наших дней. Сто томов!

Мы, быть может, чуть-чуть улыбаясь,— верили, или хотели верить. И больше всех верил Блок. Как и всегда, как и ко всему — он и к этому подошел «по-настоящему».

В пестрой, переливающейся груде — надо было увидеть какую-то закономерность, уловить ритм. И тут у Блока оказалась зоркость глаза, острота слуха такая, как ни у кого. Башню решили строить по его плану; в издательстве Гржебина где-то хранить составленный им список ста томов. И недаром в найденной среди его посмертных бумаг автобиографии он отмечает: «Ноябрь 1919 г. Составление списка ста томов». Если вавилонская башня когда-нибудь будет построена — она будет одним из памятников Блоку: с такой тщательностью и точностью он сделал выбор.

В озябшем, голодном, тифозном Петербурге — была культурно-просветительная эпидемия. Литература — это не просвещение, и потому поэты и писатели — все стали лекторами. И была странная денежная единица: паек,— приобретаемая путем обмена стихов и романов — на лекции.

Блоку в это время жилось трудно — он неспособен был на этот обмен. Помню, он говорил:

— Завидую вам всем: вы умеете говорить, читаете где-то там. А я не умею. Я могу только по написанному.

Но эпидемия все же захватила и его. Образовалась Секция исторических картин. Это была опять одна из вавилонских башен: в цикле исторических пьес — показать всю мировую историю — не больше и не меньше. Придумал это Горький, и прикованные к столу заседаний все те же: Блок, Гумилев, Чуковский, Ольденбург, я; из других — Щуко и Лаврентьев.

Помню, с самого начала Блок в это не очень верил и говорил:

— Нельзя, чтоб искусство везло науку.

Но все-таки работал — как всегда: «по-настоящему». Все-таки это были не лекции, суррогат творчества, а к суррогатам мы уже привыкли: ели лепешки из картофельной шелухи, пили воду вместо вина. И Блок настойчиво пытался претворить воду в вино.

Одно из первых заседаний — в величественном кожаном кабинете Театрального отдела (ПТО).

Блок читал свой сценарий исторической пьесы — не знаю, сохранился ли этот сценарий, но знаю: пьеса осталась ненаписанной. Там было любимое средневековье Блока, рыцари и дамы, пажи, менестрели. И помню легкое пожатие плеч театрального начальства, когда это было прочитано. И сценарий был куда-то спрятан Блоком.

Было уже написано для Секции несколько пьес. Все спрашивали Блока: «Когда же вы дадите, Александр Александрович?» И он отвечал:

— Куда там! Вот выселяют всех из нашего дома. Все бегаю; устраиваю, чтоб как-нибудь остаться. Вчера ездили в Смольный с письмом от Горького. Завтра идти в районный отдел.

Или:

— Ну — пьеса! Вот я нынче все утро окна замазывал. И завтра надо еще в двух комнатах. Медленно идет, не умею...

И вот — квартиру удалось отстоять, окна замазаны. Он стал думать о пьесе.

— Вот еще не знаю: взять ли Куликовскую битву с татарами — мне это очень близко — или другое: Тристан и Изольду.

Говорил, что уж сделал какие-то наброски для «Тристана» и вдруг неожиданно — из египетской жизни: «Рамзес» — едва ли не последняя написанная им вещь.

Прочитали. Делали какие-то замечания о «Рамзесе». Блок отшучивался:

— Да ведь это я только переложил Масперо. Я тут ни при чем.

Секции был обещан свой театр. Но нечем топить — нет дров: наши пьесы передали в Народный дом, из Народного дома —

в Василеостровский театр. «Рамзес» — в Василеостровском театре...

Случайно я узнал об этом, рассказал Блоку. Блок усмехнулся, не очень весело.

— Пусть лучше не ставят.

И Секция наложила veto на постановку «Рамзеса» и других наших пьес. Вавилонская наша башня разваливалась.

Уже весной 21-го года — одно из последних заседаний Секции. Открыто окно, трамвайные звонки, голоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно почему — вдруг все смешно. Ни у Блока, ни у Гумилева, ни у меня — нет папирос. Гумилев у кого-то стащил и распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исчезает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьнического, неслышного смеха. И кажется ему смешным каждое слово в какой-то нелепой пьесе — читается пьеса — и он заражает своим смехом.

Это был один из редких случаев, когда за эти годы я видел Блока — молодым. И, может быть, это был последний раз, когда я видел Блока.

Потом шли вместе до Невского. Очень отчетливо, вырезанно, помню: слева, от Николаевского вокзала, лезла на солнце туча, но солнце еще было, брызгало.

— Очень хочется писать,— говорил Блок.— Это теперь почти никогда не бывает. Может быть, в самом деле, отдохну и сяду...

На Садовой ждали трамвая,— все не было. Туча поползла, закрыла солнце, и сверху — как плита. И почему-то заговорили о зиме, о пещерной петербургской зиме; о том, что теперь мы, как звери, знаем лето, солнце, зиму; о том, что ему, после болезни, трудно ходить.

Над головой — туча, плита. Опять — знакомая, еле заметная тень на виске. И у меня мысль: нет, не отдохнет, не сядет. Это только минутное солнце.

Какие-то торопливые, краткие, вагонные были эти мои почти ежедневные встречи с Блоком все три последних года. И, может быть, ближе всего вдвоем с ним и неспешней всего я был летом 1920 года. Мне пришлось тогда вместе с ним работать над текстом и постановкой «Лира» в Большом Драматическом театре.

Помню: на репетициях — темный, гулкий, как губка вбирающий все звуки зал. За режиссерским столиком перед рампой или в первом ряду кресел — справа от меня медальный профиль Блока. На сцене — один и тот же выход в пятый, в шестой раз подряд, в пятый и в шестой раз падают, убивают. И я вижу, как нетерпеливо Блок поводит головой — будто мешает ему воротник — от каждого неверного слова и жеста на сцене.

Кончится чей-нибудь выход — по лесенке слева через рампу перелезает темная фигура и к Блоку:

— Ну, как, Александр Александрович,— ничего?

Было впечатление: темный, пустой зал — полон для них одним зрителем — Александром Александровичем. Его тихих и медленных слов слушались самые строптивые.

— Александр Александрович — наша совесть,— сказал мне однажды, кажется режиссер, Лаврентьев. И ту же фразу — как утвержденную формулу — я слышал потом не раз от кого-то в театре.

Последние — обстановочные и костюмные — репетиции кончались часа в два, в три ночи. Блок всегда сидел до конца, и чем позже — тем кажется больше оживал он, больше говорил: ночная птица.

— Не утомляет вас это? — спросил я.

Ответ:

— Нет. Театр, кулисы, вот такой темный зал — я люблю, я ведь очень театральный человек.

На одной из таких последних ночных репетиций — вдруг стало невмочь и решили выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера. Помню, Блок был за то, чтобы глаза вырывать:

— Наше время — тот же самый XVI век... Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи...

После утренних репетиций из театра часто шли вместе на Моховую. Из позабытых, стершихся разговоров уцелели — выброшенные волною на берег — только разрозненные обломки. Но если приглядеться к ним — видишь, что все они — одно.

Ясно вижу: мы, ухватившись за ремни, стоим в вагоне трамвая. Толкают, наступают на ноги — и в этой толчее конец какого-то странного разговора.

— ...А вот бывает с вами так: смотришь на себя со стороны — ты совершенно определенно в стороне, в другом углу комнаты и видишь, себя — не себя, а чужое?

Ответ — после паузы — глаза очень далеко:

— Да, бывало. Раза три в жизни. Теперь больше не бывает... Теперь со мной ничего не бывает...— и еле приметная горечь в углах губ.

И вот идем по Бассейной,— куда, не помню. Блок в своей кепке. И голый, ни с чем не связанный, обломок — его слова:

— Дышать нечем. Душно. Болен, может быть.

И может быть, в тот же — может быть, в другой день — долгий разговор, его горькие, жестокие слова о мертвечине, о лжи.

А потом, нахмурившись, упрямо — может быть, самому себе, а не мне:

— И все-таки золотник правды — очень настоящий — во всем этом есть. Ненавидящая любовь — это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней.

На каком-то заседании — у меня в руках английский журнал, и там я увидел статью о переводе «Двенадцати» Блока — под заглавием: «Большевистская поэма». Я показал Блоку статью. Он усмехнулся.

И потом — разговор о большевизме.

— Большевизма и революции — нет ни в Москве, ни в Петербурге. Большевизм — настоящий, русский, набожный — где-то в глуши России, может быть, в деревне. Да, наверное, там...

Он всегда говорил медлительно, металлически, холодновато. И только два-три раза я слышал в металле острие, жало — и видел: он натягивает вожжи, чтобы удержать себя.

Один раз он так говорил о марксизме. Другой раз — он только что прочитал заграничную «Русскую мысль» Струве — и я редко слышал, чтобы он брал такие грубые слова.

— Что они смыслят, сидя там? Только лают по-собачьи.

И написал об этом очень резкую статью для невышедшей «Литературной газеты» Союза Писателей.

Это было в апреле 1921 года — перед последней его поездкой в Москву.

Блок весь из Невы, из тумана белых ночей, Медного Всадника. Пестрая, по-купечески телесная Москва — ему чужая, и он Москве — чужой. Его чтения в Москве — в мае 1921 года — это показали.

Последний его печальный триумф — был в Петербурге, в белую апрельскую ночь.

Помню, он с усмешкой рассказывал — вечер его не разрешают: спекуляция, цены — выше каких-то тарифов. Наконец — разрешили. И вот доверху полон огромный театр (Большой) — и в полумраке шелест, женские лица — множество женских лиц, устремленных на сцену. Усталый голос Чуковского — речь о Блоке — и потом, освещенный снизу, из рампы, Блок — с бледным, усталым лицом. Одну минуту колеблется, ищет глазами, где стать,— и становится где-то сбоку столика. И в тишине — стихи о России. Голос какой-то матовый, как будто откуда-то уже издалека — на одной ноте. И только под конец после оваций — на одну минуту выше и тверже — последний взлет.

Какая-то траурная, печальная, нежная торжественность была в этом последнем вечере Блока. Помню сзади голос из публики:

— Это поминки какие-то!

Это и были поминки Петербурга о Блоке. Для Петербурга — прямо с эстрады Драматического театра Блок ушел за ту стену, по синим зубцам которой часовым ходит смерть: в ту белую апрельскую ночь Петербург видел Блока последний раз.

На заседаниях — у каждого было уже какое-то свое, привычное место. И вот стул Блока — с краю, у самого окна, стоял теперь пустым: Блок болен. Еще зимой — с месяц стал пустым стул этот. Но отлежав месяц, Блок вернулся как будто все таким же. Да и что особенного: острый ревматизм, от промерзлых домов — у кого этого теперь нет в Петербурге? Никто не думал, что этим неособенным, обыкновенным — уже исчислены удары его сердца. И неожиданно было, когда узнали: это серьезно, и спасти его можно только одним — тотчас же увезти в санаторий за границу.

Никто из нас не видал его за эти три месяца его болезни: ему мешали люди, мешали даже привычные вещи, он ни с кем не хотел говорить — хотел быть один. И никак не мог оторваться от ненавистной — любимой России; не хотел согласиться на отъезд в финляндский санаторий, пока не понял: остаться здесь для него — умереть. Но и тут не хотел ни за что подписывать никаких прошений и бумаг. Письма в Москву о разрешении Блоку выезда за границу были написаны (в июне) Правлением Союза Писателей.

В Москве был Горький. Горький с бумагами ходил по инстанциям; к нам приходили известия: обещали, выпустят, скоро. Блок метался: не хватало воздуха, нечем дышать. И приходили

люди, говорили: больно сидеть в соседней комнате и слушать, как он задыхается.

Мы заседали; стояли в очередях; цеплялись за подножки трамваев; Блок метался; Горький в Москве ходил по инстанциям. И, наконец, 3-го или 4-го августа пришло из Москвы разрешение: Блок мог уехать.

Ветреное, дождливое утро 7-го августа,— одиннадцать часов, воскресенье. Телефонный звонок — «Алканост» (Алянский): скончался Александр Александрович.

Помню: ужас, боль, гнев — на все, на всех, на себя. Это мы виноваты — все. Мы писали, говорили — надо было орать, надо было бить кулаками — чтобы спасти Блока.

Помню, не выдержал и позвонил Горькому:

— Блок умер. Этого нельзя нам всем — простить.

Синий, жаркий день 10-го августа. Синий ладанный дым в тесной комнатке. Чужое, длинное, с колючими усами, с острой бородкой лицо — похожее на лицо Дон-Кихота. И легче от того, что это не Блок, и сегодня зароют — не Блока.

По узенькой, с круглыми поворотами, грязноватой лестнице — выносят гроб — через двор. На улице у ворот — толпа. Все тех же, кто в апрельскую белую ночь у подъезда Драматического театра ждал выхода Блока — и все, что осталось от литературы в Петербурге. И только тут видно: как мало осталось.

Полная церковь Смоленского кладбища. Косой луч наверху в куполе, медленно спускающийся все ниже. Какая-то неизвестная девушка пробирается через толпу — к гробу — целует желтую руку — уходит.

И наконец — под солнцем, по узким аллеям — несем то чужое, тяжелое, что осталось от Блока. И молча — так же, как молчал Блок эти годы,— молча Блока глотает земля.

1921 г.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Было это в 1906 году. Революция не была еще законной супругой, ревниво блюдущей свою законную монополию на любовь. Революция была юной, огнеглазой любовницей,— и я был влюблен в Революцию...

По воскресеньям через улицы Гельсингфорса торжественно, с музыкой, со знаменами, проходила Красная гвардия — знаменитый капитан Кок впереди. В парке Тэлэ, среди сосен, серых

и красных гранитных глыб, под фаянсово-синим июльским небом — устраивались маневры и ученья. Шепотом говорили, что там, на этих притаившихся за зелеными бастионами Свеаборгских островках — готовится что-то. А солнце все жарче, небо все тяжелее, все гуще синева, гроза все ближе.

И вот однажды вечером газеты привезли телеграмму: «Дума разогнана». Наутро в Рабочем доме — толкотня, лихорадка. Финские рабочие с трубочками. Русские студенты. Свеаборгский матрос — в штатском пальто, а из-под пальто наивно белеет белый вырез матросской куртки.

На крыльцо вышел Седой — весь спрессованный, крепкий, голова подернута инеем,— он слыл одним из участников декабрьских событий в Москве. Седой прочитал воззвание членов Думы и объявил:

— Завтра — митинг в парке Кайсаниэмэ. Будет выступать один из членов Думы и — Леонид Андреев.

Все связывали Леонида Андреева с «Мыслью», с «Василием Фивейским», но Леонид Андреев — и революция... это был совсем новый Андреевский лик: и вся русская колония повалила доставать билеты на митинг.

Душный день. На поляне — высокая деревянная, вся в цветах, эстрада. Тесная, плечом к плечу, толпа. Сзади, из-за деревьев, подымается темная, пятипалая рука — туча.

— Ах, Господи, пойдет дождь... И он не приедет. Как вы думаете: приедет? — воркует сзади.

Это — партийная девица. Под мышкой — сверток: может быть, прокламации. Голова всегда на бочок, и странные, разноцветные глаза: один зеленый (партийный), другой — голубенький (беспартийный). Беспартийным глазом она взволнованно поглядывает вверх, на тучу.

Но музыка уже играет. Толпа раздвигается как Черное море, и в узком проходе среди тысяч глаз — двое: Леонид Андреев в своей черной рубашке, без шляпы, немного бледный, букет красных роз в руках,— и член Думы Михайличенко, приземистая, раскоряченная фигура, на шее — огромный хомут цветов.

Уж не помню почему — но только меня откомандировали «занимать» Андреева. Он сосредоточенно-рассеян, покусывает усы и, видимо, волнуется. Перед глазами, из-за чьих-то плеч, на цыпочках вытягивается разноглазая голова. Вот уже протолкалась, и впереди всех, и голубым, восторженным, умиленным глазом сияет прямо в лицо Андрееву, и куда бы ни обернулся,— всюду перед ним, к нему, как стрелка компаса.

— Кто это? — спрашивает на ухо.

— А так — девица партийная. Из обожающих.

Может быть, девица приметила брошенный на нее Андреевым взгляд, не знаю. Но только — глядь уже дергает меня сзади и шепчет:

— Послушайте... Ради Бога... Познакомьте меня с Андреевым... Я не могу... Я должна пожать ему руку... Я должна...

Познакомил. Девица, вся пылая и вытягиваясь на цыпочках, восторженно лепетала что-то. На эстраде Михайличенко в своем хомуте разматывал неуклюжие, лошадиные, битюговые

слова. Пятипалая туча покрыла солнце, брызнул теплый дождь. Андреев раскрыл зонтик и, рассеянно думая о чем-то своем, улыбался пылающей девице. Туча быстро свалилась. Опять все ясно, хрустально, сине.

Подбежал кто-то.

— Леонид Николаевич, вам...

Андреев немножко рассеянно оглядывался: куда девать мокрый зонтик? Нельзя с зонтиком на эстраду.

— Леонид Николаевич, ради Бога, дайте мне, я подержу ваш зонтик — ради Бога...— встрепенулась девица.

Андреев сунул ей зонтик. И вот над головами — бледное, взволнованное лицо, букет кроваво-красных роз. И в тишине — редкие, раздельные слова:

— Падают, как капли, секунды. И с каждой секундой — голова в короне все ближе к плахе. Через день, через три дня, через неделю — капнет последняя, и, громыхая, покатится по ступеням корона и за ней — голова...

Дальше — не помню. Помню одно: тогда это казалось очень значительным, и красивым, и заражало. После каждых двух-трех фраз Андреев останавливался, переводчик, тоже редко и раздельно, невольно подражая в интонациях Андрееву, переводил его речь по-фински. И это торжественное, медленное чередование медленных слов — напоминало пасхальную обедню: священник и дьякон читают евангелие стих за стихом, один по-гречески, другой по-славянски...

Кончил. Долгая овация. Жадной, тесной кучкой осадили его внизу, у эстрады. Вытянутые через плечи головы, настороженные уши — ловят и прячут какие-то обрывки слов. Наконец, он отбился, выбрался.

— Не люблю, когда так много глаз,— сказал он.— Не знаешь, какие выбрать...

Он торопился сейчас же уйти. Протянул руку за зонтиком. Девица отступила на шаг, прижала зонтик к сердцу и, умоляюще глядя на Андреева беспартийным глазом, быстро-быстро заговорила:

— Леонид Николаевич, ради Бога... Оставьте мне зонтик... Ради Бога... Я буду его всегда — я буду его...

Андреев засмеялся, хитро поглядел на девицу:

— Ну, ладно,— Бог с вами. Только смотрите: берегите.

— Леонид Николаевич... Неужели вы думаете — неужели я...

Через два шага, за деревьями, Андреев махнул рукой, захлебываясь от смеха:

— Не в том дело... Главное-то... Ведь зонтик-то не мой, а нашей гувернантки...

Заговорит о чем-нибудь другом, потом опять вспомнит про зонтик — махнет рукой, захлебнется...

У выхода, прощаясь, он очень серьезно попросил меня:

— Только уж вы, пожалуйста, не говорите ей про зонтик. Зачем ей правду? Не надо...

И до сего дня я про зонтик честно молчал.

1922 г.

ВСТРЕЧИ С Б.М.КУСТОДИЕВЫМ

Озаглавить это, в сущности, надо было бы иначе: «Встречи с Борисом Михайловичем и Кустодиевым». Именно так — не с одним, а с двумя. Потому что я встретился с ними не в одно время, и оба они — художник Кустодиев и человек Борис Михайлович — живут в моей памяти каждый отдельно.

С художником Кустодиевым я познакомился давно — это было не в Ленинграде, это было еще в Петербурге, на одной из выставок «Мира искусств». На этой выставке я вдруг зацепился за картину Кустодиева и никак не мог отойти от нее. Я стоял, стоял перед ней, я уже не только видел — я слышал ее, и те слова, какие мне слышались, я торопливо записывал в каталоге — скоро там были исписаны все поля. Не знаю названия этой картины, вспоминается только: зима, снег, деревья, сугробы, санки, румяное русское веселье — пестрая, кустодиевская Русь. Быть может, что сам я в те годы жил как раз этими же красками: тогда писалось мое «Уездное». Правда, Кустодиев видел Русь другими глазами, чем я,— его глаза были куда ласковей и мягче моих, но Русь была одна, она соединяла нас, и встретиться раньше или позже нам было неизбежно.

Встреча эта, когда я узнал и полюбил не только Кустодиева, но и Бориса Михайловича, случилась не скоро, лет через десять, когда уже не было Петербурга, а был Петроград-Ленинград, когда пышная кустодиевская Русь лежала уже покойницей. О мертвой теперь не хотелось говорить так, как можно было говорить о живой; лягать издохшего льва — эта легкая победа меня не прельщала. Так вышло, что Русь Кустодиева и моя могли теперь уложиться на полотне, на бумаге в одних и тех же красках. Так вышло, что с художником Кустодиевым я встретился в общей нашей книге «Русь», и это же было началом моего знакомства с человеком Борисом Михайловичем.

Осенью 22-го года издательство «Аквилон» прислало мне «русские типы» Кустодиева, чтобы я о них написал статью. О чем же писать? О живописной технике Кустодиева? Об этом лучше меня напишут другие. Статьи я не стал писать, я сделал иначе: просто разложил перед собою всех этих кустодиевских красавиц, извозчиков, купцов, трактирщиков, монахинь — я смотрел на них так же, как когда-то на его картину на выставке, и сама собой написалась та повесть («Русь»), какая вошла в книгу «Русь».

Повесть была кончена, и через день-два из «Аквилона» мне позвонили, что Кустодиев просит вечером заехать к нему. Это «вечером» я понял по-петербургски, попал к Борису Михайловичу поздно, часов в 10, и тут для меня в первый раз открылась книга его жития. Иного слова, чем «житие», я не могу подобрать, если говорить о его жизни в эти последние годы.

Маленькая комнатка — спальня, и у стены справа в кровати — Борис Михайлович. Эта кровать здесь не случайная вещь, я ее хорошо помню: от изголовья к ногам на высоте так аршина с небольшим был протянут шест — мне было непонятно, зачем это. На столике возле кровати лежала моя рукопись. Борис Михайлович хотел показать мне какие-то места в тексте, протянул руку, и вдруг я увидел: он приподнялся на локте, схватился за шест и, стиснув зубы, стиснув боль, нагнул вперед голову, как будто защищая ее от какого-то удара сзади. Этот жест я видел потом много раз, я позже привык к этому, как мы ко всему привыкаем, но тогда, я помню, мне было стыдно, что я — здоровый, а он, ухватившись за шест, корчится от боли, что вот я сейчас встану и пойду, а он встать не может. От этого стыда я уже не мог слушать, не понимал, что говорил Борис Михайлович о нашей книге, и поскорее ушел...

С собой я унес впечатление: какой усталый, слабый, измученный болью человек.

Через несколько дней я опять был здесь, чтобы на этот раз увидеть, какой бодрости, какой замечательной силы духа человек.

Меня провели в мастерскую. День был морозный, яркий, от солнца или от кустодиевских картин в мастерской было весело: на стенах розовели пышные тела, горели золотом кресты, стлались зеленые летние травы — все было полно радостью, кровью, соком. А человек, который напоил соками, заставил жить все эти полотна, сидел (возле узаконенной в те годы буржуйки) в кресле на колесах, с закутанными мертвыми ногами и говорил, подшучивая над собой: «Ноги — что... предмет роскоши. А вот рука начинает побаливать — это уж обидно...»

Многое нам раскрывается только в противопоставлениях, только в контрастах. И только в этот день, когда я впервые увидел в одной комнате, рядом, художника и его картины, рядом, художника и человека, я понял, какую творческую волю надо иметь в себе, чтобы, сидя вот так в кресле и стискивая зубы от боли, написать все эти картины. Я понял: человек Борис Михайлович — сильнее, крепче любого из нас. И еще: его жизнь — это «житие», а сам он — подвижник, такой же, каких в старое время знала его любимая Русь. С той только разницей, что его подвиг был не во имя спасения души, а во имя искусства. Илларион-Затворник, Афанасий-Сидящий, Нил-Столбенский-Сидящий и вот в наши дни еще один «затворник» и «сидящий». Но этот затворник не проклинал землю, тело, радость жизни, а славил их своими красками.

Как известно из всех Четий-Миней, всякому настоящему затворнику и подвижнику по временам являлись бесы и соблазняли его. На мою долю выпало стать таким бесом для Бориса

Михайловича, и последствием соблазна была единственная появившаяся в печати серия эротических рисунков Кустодиева — иллюстраций к моему рассказу «О том, как исцелен был отрок Еразм». Эта книга, выпущенная издательством «Петрополис» в Берлине, была второй нашей совместной работой с Борисом Михайловичем.

Задача для художника здесь была очень трудная. Речь шла, конечно, не о примитивной, откровенной эротике, вроде известных работ Сомова: нужно было в иллюстрациях дать то, что текст давал только между строк, только в намеках, в образах. И эта как будто неразрешимая задача была решена Кустодиевым с удивительным изяществом, с удивительным тактом — и добавлю еще одно: с большим чувством юмора.

Как сумел Кустодиев сохранить в себе это чувство, как сумел невредимым пронести через свое житие — я не знаю. И еще больше, чем у художника Кустодиева, это было у человека Бориса Михайловича: он любил шутку, острые слова, смех. Он смеялся иногда так молодо и весело, что становилось завидно нам, здоровым, сидевшим за одним столом с ним.

Веселым я видел Бориса Михайловича не раз, я часто видел его усталым, больным, но я никогда не видел его унылым, никогда не видел, чтобы у него опускались руки. Причина, может быть, в том, что эти руки были вечно заняты, на столике, приделанном к его креслу, перед ним всегда лежала какая-нибудь работа. И, помню, он часто говорил, что работа для него — самое лучшее лекарство.

Но иногда работа становилась для него не лекарством, а болезнью — болезнью не человека Бориса Михайловича, а художника Кустодиева. «Делаю все какие-то полузаказы, тошнотворные, стараясь собрать деньги на поездку, денег не платят...» — писал он мне летом 26-го года. А тогда — в 23-м, в 24-м годах — от этой тошнотворной болезни он страдал еще сильнее. Чтобы жить, есть, топить буржуйку — приходилось откладывать свою, настоящую работу и приниматься за эти «полузаказы». Я видел, как у него в таких случаях вдруг начинали ломаться карандаши, пропадать резинки, все не ладилось, все раздражало. Помню, однажды при мне ему принесли обложку, сделанную им по заказу издательства «Земля и фабрика», рисунок оказался неподходящим «к идеологическому заданию», его нужно было скомпоновать заново. В тот день, единственный раз за все годы нашего знакомства, я видел, как Кустодиеву изменило обычное его умение владеть собой: я видел Кустодиева по-настоящему рассерженным.

В начале зимы 23-го года Борис Михайлович захотел сделать мой портрет, и недели две подряд я приходил к нему почти каждое утро. В мастерской еще была настоянная за ночь тишина, потрескивала печь, за окном — в Введенской церкви — звонил колокол. Борис Михайлович протягивал руку по-особенному, осторожно, ковшиком: рука побаливала, он ее берег. Поздоровавшись, он, чтобы согреть руку, сейчас же прятал ее за пазуху и вдруг неожиданно вытаскивал оттуда одного котенка,

другого: животных он очень любил. Потом, ловко орудуя колесами своего кресла, он выбирал нужное положение, брал карандаш. Губы у него еще посмеивались, еще кончали что-то говорить, но глаза тотчас же менялись, они становились острыми, как у охотника, взявшего ружье на прицел. Сначала он работал обыкновенно молча, и только потом, когда, как он называл это, «карандашом разогревался», мы начинали разговор.

Кажется, позже мне уже никогда не удавалось говорить с ним так, как говорилось этими зимними утрами. Говорили обо всем: о людях, о книгах, о странах, о театре, о России, о большевиках. Иногда удавалось вспомнить и рассказать что-нибудь смешное, тогда он бросал карандаш и хохотал — согнувшись, чтобы не было больно от смеха. Но чаще всего или он мне рассказывал о своих прежних путешествиях, или я ему — о своих. Для христианских подвижников, обреченных жить в целомудрии, соблазн, естественно, принимал форму женщины; для Кустодиева, обреченного жить в четырех стенах, соблазн, естественно, воплощался в путешествии. Подчас он начинал мечтать вслух: «Эх, попасть бы еще раз в жизни куда-нибудь... В Париж... нет, лучше в Лондон и чтобы сидеть где-нибудь наверху, на десятиэтажной крыше, чтобы оттуда все было видно»... От многолетнего затворничества, от хронического зрительного недоедания у него был настоящий глазной голод.

Как-то я пришел к Борису Михайловичу и увидел его кресло на совсем непривычном месте: в углу у окна. Слегка перегнувшись, он все посматривал на улицу и не торопился, как обычно, сесть за работу. Я спросил, в чем дело. «А сегодня поздняя обедня, сейчас будут выходить из церкви, надо посмотреть»,— объяснил он мне. И я понял: для его изголодавшихся глаз это было уже богатой пищей.

Откуда же при такой бедности внешних впечатлений брал Кустодиев весь пестрый, богатый материал своих картин? Очевидно, зрительная память у него была необычайная, где-то в недрах ее хранились еще полные амбары всяких запасов, и запасы эти были неисчерпаемы.

В эти недели, когда делался портрет, изо дня в день развертывались передо мною страницы кустодиевского жития, и все яснее становилось мне, какая огромная сила духа у этого человека.

По моим впечатлениям, этой зимой Борис Михайлович чувствовал себя хуже, чем когда-нибудь. Особенно его мучили судороги. К его креслу был приделан столик со съемной фанерной крышкой, и один раз случилось так, что подброшенные судорогой ноги столкнули эту крышку, посыпались краски, карандаши. С тех пор во время работы приходилось привязывать ноги ремнями к креслу. Боли от этого, конечно, не становились легче.

Помню, не один раз я видел, как вдруг странно менялось у Бориса Михайловича лицо: резко краснела правая половина, а левая оставалась бледной. И затем все тот же знакомый жест: втянутая в плечи, нагнутая вперед голова, как будто он чувствовал сзади себя занесенную для удара чью-то руку.

Видеть это было физически больно. Но сколько раз я ни предлагал Борису Михайловичу бросить работу и хоть ненадолго отдохнуть — он никогда не соглашался. Каким-то невероятным усилием воли он преодолевал боль и продолжал рисовать — то, что ему хотелось, свое, настоящее, и то, что было нужно, для того, чтобы жить, есть, топить печку.

Было одно, что пугало его и о чем ему было жутко подумать: это боли в правой руке. Только раз или два, помню, он сказал мне, что теперь ему иногда трудно держать в руке карандаш или кисть. Это грозило ему потерей самого смысла его жизни, это было все равно, что у христианского святого отнять веру в Бога. Оставалось только одно: попробовать операцию (это была уже третья по счету) — и Борис Михайлович уехал в Москву. Сложнейшую эту операцию — удаление опухоли в позвоночнике — делал известный немецкий хирург Ферстер, тот самый, какой лечил Ленина. Операция длилась четыре с половиной часа, наркоз был только местный, последние два часа он уже не действовал. Какое нечеловеческое терпение нужно было, чтобы вынести это!

Желание жить и работать было так велико, что Борис Михайлович вынес и мог еще несколько лет продолжать свой подвиг. После операции я увидел его повеселевшим, мучительные судороги теперь прекратились. Однажды он даже сказал, что как будто в ногах возвращается чувствительность. Но больше об этом никогда уже не говорилось. После операции стало только немного легче, но житие не превратилось в жизнь...

Зима 1924/25 года связала меня с Кустодиевым еще ближе: в эту зиму появилось на свет новое наше общее детище — спектакль «Блоха» — в Художественном театре (2-м) в Москве.

Театру — и это понятно — хотелось иметь художника под рукой, в Москве. Попробовали Крымова, но то, что он сделал, не понравилось. А репетиции были уже в полном ходу, уже пора было делать декорации. Однажды утром с режиссером «Блохи» — Диким — мы сидели вдвоем в пустом, темном фойе и говорили... нет, не говорили, а молчали об этом. У обоих на языке вертелось одно и то же имя: Кустодиев,— и оба разом сказали его вслух. Послали Кустодиеву телеграмму и получили от него ответ, что он согласен и уже приступает к работе.

Работал он над «Блохой» с большим увлечением. Да это и понятно: здесь во всю силу могли загореться краски его любимой Руси. И думаю, не ошибусь, если скажу, что это была одна из самых удачных — может быть, даже самая удачная — его театральная работа.

Опять каждые два-три дня я приезжал к Борису Михайловичу, он показывал уже сделанное, мы выдумывали новые подробности, новые забавные тряки. Работать с ним было настоящим удовольствием. В большом, законченном мастере — в нем совершенно не было мелочного самолюбия, он охотно выслушивал, что ему говорилось, и не раз бывало — менял уже сделанное. Ему хотелось, чтобы вышел по-настоящему хороший спектакль, и он, не жалея труда, делал для этого все, что мог.

Скоро эскизы его декорации были готовы, отправлены в Мо-

скву, и через день оттуда было получено восторженное письмо Дикого. Теперь театр был уверен в успехе спектакля.

От напряженной работы над «Блохой» Кустодиеву все время приходилось отрываться для выполнения разных скучных заказов — обложек, иллюстраций. Он чувствовал себя очень усталым, но тем не менее решил непременно ехать в Москву к премьере «Блохи» и числа 7—8 февраля был уже там. Поселили его в самом театре, в комнате правления — рядом с фойе. Помню, с какой особенной нежностью относились к нему все актеры. В комнату правления началось паломничество: приходил то один, то другой, то несколько вместе. А работа над спектаклем — уже совсем лихорадочная, перед генеральной — шла своим чередом, и этой лихорадкой заражался Борис Михайлович. В пустой, темный зал, освещенный только лампочкой за режиссерским столиком, вкатывалось его кресло и становилось в проходе, Борис Михайлович сам проверял монтировку, свет, гримы, костюмы...

И, наконец, это же кресло Бориса Михайловича уже в ярко освещенном зале. Декорации каждого акта встречаются аплодисментами. Театр победил — большую долю этой победы, конечно, нужно отнести на счет Кустодиева.

Ценнее всего, мне кажется, что в этой постановке Кустодиев победил не только публику, но и самого себя. Это была едва ли не первая его крупная работа, где он совершенно отошел от обычной своей реалистической манеры и показал себя большим мастером в совершенно как будто для него неожиданной области — в гротеске. Но и в этой области он оставался верен своей неизменной теме — Руси.

Весной 24-го года поднялся вопрос о постановке «Блохи» в бывшем Александринском театре. Казалось, что если и здесь художником спектакля будет Кустодиев — вся постановка выйдет слишком похожей на московскую. Попробовали иметь дело с другими художниками, сначала один, потом другой сделали эскизы и макеты к «Блохе», но все выходило не то.

Как «Блоха», с которой он так сжился и которую так любил, пойдет без него — этого Борис Михайлович представить не мог. «А я все-таки ее еще раз сделаю, по-новому — пускай хоть для себя»,— говорил он мне. И действительно сделал новые эскизы декораций и костюмов. Кустодиев в них, конечно, остался Кустодиевым, но богатая его фантазия сумела найти другое — и не менее удачное — разрешение задачи.

Эскизы эти были осуществлены в ленинградской постановке «Блохи» в Большом драматическом театре (зима 1926/27 года).

После ленинградской премьеры «Блохи» шуточным обществом «Физико-геоцентрическая ассоциация» — в сокращении «Фига» — устроен был блошиный вечер! Для этого вечера мною написан был пародийный рассказ «Житие блохи»: туда попал и автор пьесы, и художник ее, и актеры, и критики. Борис Михайлович прочитал «Житие» и шутя пригрозил мне: «Ну, ладно, я вам за это отомщу — будете помнить».

Когда я в следующий раз увидел Кустодиева, он уже начал «мстить»: он показал мне два первых своих рисунка к «Житию блохи».

Насмешливо-благочестивые, рисунки эти были сделаны в той же манере — старой деревянной русской гравюры,— как иллюстрации к «Эразму», но были еще изящней, острее, легче, лаконичней. Так вышло, может быть, потому, что Кустодиев делал это весело, для себя, играючи.

Из задуманных — сколько помню — двенадцати рисунков он сделал только семь: «отомстить» до конца он не успел...

Ленинградская постановка «Блохи» и книжка «Житие блохи» — это были уже последние совместные работы с Кустодиевым.

Еще раз мне пришлось близко подойти к Борису Михайловичу летом 26-го года.

Как только за окном на высохшей мостовой по-весеннему застучали колеса, Борис Михайлович по обыкновению начал мечтать о путешествиях. И по обыкновению ни для каких дальних путешествий не было денег. «Куда бы, куда бы это поехать, чтоб и капиталов хватило и чтобы это была не петербургская дача, а настоящее?» — спрашивал он меня.

Это лето я собирался проводить у себя на родине — в самом черноземном нутре России — в городишке Лебедянь Тамбовской губернии. Я предложил поехать туда и Кустодиеву, по правде говоря, без всякой надежды, что из этого выйдет что-нибудь, кроме разговора, потому что добраться туда было нелегко: в поезде две ночи, одна — в жестком вагоне. Но когда я стал рассказывать о ржаных полях, о горе, уставленной церквами, об увешанных наливными яблоками садах — Борис Михайлович вдруг загорелся и решил непременно все это увидеть.

Я уехал в Лебедянь раньше. Борис Михайлович с семьей попал туда только месяца через полтора — в начале августа.

К приезду для него была найдена квартира — две комнаты с балконом в белом одноэтажном домике, окнами на уличку, густо заросшую травой. Перед балконом ходил привязанный к колышку белолобый теленок, важно переваливались гуси. В базарные дни, распугивая гусей, тарахтели телеги, шли пешком пестропоневые бабы из пригородных сел. Одним концом уличка упиралась в голубую, наклоненную, как Пизанская башня, колокольню елизаветинских времен, а другим — в бескрайние поля. Это было «настоящее», это была Русь.

Я жил на соседней улице — в пяти минутах от квартиры Кустодиевых. Каждый день или я с женой приходили к Борису Михайловичу, или его в кресле привозили к нам в сад, или Кустодиевы и мы отправлялись на берег Дона, на выгон, в поле. И тут я видел, с какой жадностью Борис Михайлович пожирал все изголодавшимися глазами, как он радовался далям, радуге, лицам, летнему дождю, румяному яблоку.

В том саду, где я жил этим летом, фрукты были особенно хороши. Часто мы приберегали для Бориса Михайловича ветку

яблок, потом подвозили его в кресле — и он сам рвал яблоки с дерева. «Вот, вот этого мне и хотелось — чтобы самому рвать»,— говорил он. И, хрустя яблоком, набрасывал этюды: ему очень нравился вид сверху, из сада, на другой берег Дона.

Я редко видел раньше Бориса Михайловича таким веселым, разговорчивым, шутливым — каким он был этот месяц. Но к концу августа погода как-то испортилась, захолодало, пошли дожди, Борис Михайлович начал жаловаться, что зябнет, и скоро уехал к себе, в Ленинград. Зимой я увиделся там с ним уже на репетициях «Блохи» в Большом драматическом театре. А когда опять настало лето, Бориса Михайловича уже не было.

Так замкнулся круг моих встреч с Кустодиевым: от книги «Русь» до этой живой Руси; так вышло, что с ней, любимой его Русью, он провел последнее лето своей жизни. Это было не случайно: Русь, в сущности, единственная тема всех его работ, он ей не изменил, и она не изменила ему — и не изменит.

Уже после смерти Кустодиева мне случилось говорить о нем с одним из больших наших художников. Мой собеседник признался мне: «Ведь вот при жизни я, пожалуй, не очень даже любил работы Бориса Михайловича. А теперь, когда он умер, вижу, как его не хватает, и вижу, что его место некому занять, и так оно останется не занятым никем».

Он был прав. Потому что Кустодиев был единственный, неповторимый художник — и единственным было его удивительное, подвижническое житие.

1927 г.

ПИСЬМО СТАЛИНУ

Уважаемый Иосиф Виссарионович,

приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма — обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою.

Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня, как для писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немысли-

мо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся травли.

Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что в первые 3—4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать,— что это одинаково унижает как писателя, так и революцию. В свое время именно этот вопрос, в резкой и обидной для многих форме, поставленный в одной из моих статей (журн. «Дом искусств», № 1, 1920), был сигналом для начала газетно-журнальной кампании по моему адресу.

С тех пор, по разным поводам, кампания эта продолжается и по сей день, и в конце концов она привела к тому, что я назвал бы фетишизмом: как некогда христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали черта — так критика сделала из меня черта советской литературы. Плюнуть на черта — зачитывается как доброе дело, и всякий плевал, как умел. В каждой моей напечатанной вещи непременно отыскивался какой-нибудь дьявольский замысел. Чтобы отыскать его, меня не стеснялись награждать даже пророческим даром: так, в одной моей сказке («Бог»), напечатанной в журнале «Летопись» еще в 1916 году, некий критик умудрился найти... «издевательство над революцией в связи с переходом к НЭПу»; в рассказе («Инок Эразм»), написанном в 1920 году, другой критик (Машбиц-Веров) узрел «притчу о поумневших после НЭПа вождях». Независимо от содержания той или иной моей вещи, уже одной моей подписи стало достаточно, чтобы объявить эту вещь криминальной. Недавно, в марте месяце этого года, Ленинградский Облит принял меры к тому, чтобы в этом не оставалось уже никаких сомнений: для издательства «Академия» я проредактировал комедию Шеридана «Школа злословия» и написал статью о его жизни и творчестве: никакого моего злословия в этой статье, разумеется, не было и не могло быть, и тем не менее Облит не только запретил статью, но запретил издательству даже упоминать мое имя, как редактора перевода. И только после моей апелляции в Москву, после того как Главлит, очевидно, внушил, что с такой наивной откровенностью действовать все же нельзя, разрешено было печатать и статью, и даже мое криминальное имя.

Этот факт приведен здесь потому, что он показывает отношение ко мне в совершенно обнаженном, так сказать, химически чистом виде. Из обширной коллекции я приведу здесь еще один факт, связанный уже не со случайной статьей, а с пьесой большого масштаба, над которой я работал почти три года. Я был уверен, что эта моя пьеса — трагедия «Атилла» — заставит, наконец, замолчать тех, кому угодно было делать из меня какого-то мракобеса. Для такой уверенности я как будто имел все основания. Пьеса была прочитана на заседании художе-

ственного совета Ленинградского Большого драматического театра, на заседании присутствовали представители 18 ленинградских заводов — и вот выдержки из их отзывов (цитируется по протоколу заседания от 15 мая 1928 г.).

Представитель фабрики им. Володарского: «Это — пьеса современного автора, трактующего тему классовой борьбы в древние века, созвучную современности... Идеологически пьеса вполне приемлема... Пьеса производит сильное впечатление и уничтожает упрек, брошенный современной драматургии, что она не дает хороших пьес...» Представитель завода им. Ленина, отмечая революционный характер пьесы, находит, что «пьеса по своей художественной ценности напоминает шекспировские произведения...»<...>

Гибель моей трагедии «Атилла» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение, тем более что вскоре разыгралась известная история с моим романом «Мы» и «Красным деревом» Пильняка. Для истребления черта, разумеется, допустима всякая подтасовка, и роман, написанный за девять лет до того, в 1920 году, был подан рядом с «Красным деревом», как моя последняя, новая работа. Организована была небывалая еще до тех пор в советской литературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе: сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса («Блоха»), с неизменным успехом шедшая в МХАТе 2-м уже четыре сезона, была снята с репертуара. Печатание собрания моих сочинений в изд-ве «Федерация» было приостановлено. Всякое издательство, пытавшееся печатать мои работы, подвергалось за это немедленному обстрелу, что испытали на себе и «Федерация», и «Земля и фабрика», и особенно — «Изд-во писателей в Ленинграде». Это последнее изд-во еще целый год рисковало иметь меня в числе членов правления, оно осмеливалось использовать мой литературный опыт, поручая мне стилистическую правку произведений молодых писателей, в том числе и коммунистов. Весной этого года ленин. отд. РАППа добился выхода моего из правления и прекращения этой моей работы. «Литературная газета» с торжеством оповестила об этом, совершенно недвусмысленно добавляя: «...издательство надо сохранить, но не для Замятиных». Последняя дверь к читателю была для Замятина закрыта: смертный приговор этому автору был опубликован.

В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР с правом для моей жены сопровождать меня. Если же я не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хотя бы на один год, выехать за границу, с тем чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно

служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова. А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо станет вопрос о создании надстройки — искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции.

Я знаю: мне очень нелегко будет и за границей, потому что быть там в реакционном лагере я не могу,— об этом достаточно говорит мое прошлое [принадлежность к РСДРП(б) в царское время, тогда же тюрьма, двукратная высылка, привлечение к суду во время войны за антимилитаристскую повесть]. Я знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде — меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком. Но даже при самых трудных условиях там я не буду приговорен к молчанию, там я буду в состоянии писать и печататься — хотя бы даже и не по-русски. Если обстоятельствами я приведен к невозможности (надеюсь, временно) быть русским писателем, может быть, мне удастся, как это удалось поляку Джозефу Конраду, стать на время английским, тем более что по-русски об Англии я уже писал (сатирическая повесть «Островитяне» и др.), а писать по-английски мне немногим труднее, чем по-русски. Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы — для переводов на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне? И заодно я вспоминаю здесь еще другое имя: Б. Пильняка. Как и я, амплуа черта он разделял со мной в полной мере, он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу; почему же то, что разрешено Пильняку, не может быть разрешено и мне?

Свою просьбу о выезде за границу я мог бы основывать и на мотивах более обычных, хотя и не менее серьезных: чтобы избавиться от давней хронической болезни (колит), мне нужно лечиться за границей; чтобы довести до сцены две мои пьесы, переведенные на английский и итальянский языки (пьесы «Блоха» и «Общество почетных звонарей», уже ставившиеся в советских театрах), мне опять-таки нужно самому быть за границей; предполагаемая постановка этих пьес вдобавок дает мне возможность не обременять Наркомфин просьбой о выдаче мне валюты. Все эти мотивы налицо: но я не хочу скрывать, что основной причиной моей просьбы о разрешении мне вместе с женой выехать за границу является безвыходное положение мое как писателя здесь, смертный приговор, вынесенный мне как писателю здесь.

Исключительное внимание, которое встречали с Вашей стороны другие, обращавшиеся к Вам писатели, позволяет мне надеяться, что и моя просьба будет уважена.

Июнь, 1931 г.

Предисловие и публикация АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА.



ЧУВСТВО ЛОКТЯ

С секретарем ЦК Компартии Эстонии, доктором философских наук МИККОМ ТИТМА беседует журналист ВАЛЕРИЙ МАЙОРОВ.

Фото МАРКА ШТЕЙНБОКА

С ним мы знакомы давно... Еще с доперестроечных времен. Когда он и предполагать не мог, что займет высокую должность в академическом институте, а потом — и в руководстве партийной организацией республики. А я — что когда-нибудь доведется с ним беседовать на функциональном, так сказать, уровне.

Так что и начну, пожалуй, с небольшого экскурса в недавнее прошлое...

В одном из сентябрьских номеров 1987 года тартуская городская газета «Эдази» напечатала статью за подписью четырех авторов — журналиста С. Калласа, экономиста Т. Маде, философа Э. Сависаара, социолога М. Титма. Они изложили программные идеи по выходу Эстонии из экономического и социального застоя: речь шла о региональном хозрасчете, программа которого позже получила аббревиатурное название ИМЕ (по-эстонски IME — от слов «самохозяйственная Эстония»).

Чтобы понять, какой широкий отклик вызвала «статья четырех» среди жителей республики, надо знать обстановку, что к тому времени сложилась в Эстонии. До критической точки разгорелся «фосфоритный конфликт» между общественностью, опирающейся на поддержку народа, и союзным Министерством по производству минеральных удобрений. Ведомство намеревалось начать еще одну разработку (причем по устаревшей технологии) залежей фосфоритов, а это грозило республике экологической катастрофой. А если прибавить сюда же ухудшающиеся условия жизни, демографические перекосы, безраздельное господство всяких союзных «минов» и бурный рост национального самосознания, то конфликт приобретал черты гражданского неповиновения, грозил вы-

литься в прямую оппозицию властям.

В такой ситуации идея «самохозяйственной Эстонии» стала своего рода спасательным кругом, показала реальный путь выхода из кризисного тупика. В людях, в первую очередь коренном населении республики, она пробудила социальный порыв к обретению утерянного чувства хозяина своей земли, нравственного единства с ней, а это издавна определяло национальный характер, психологию, бытовой уклад тех, кому волей исторических судеб достался в общем-то не очень богатый и плодородный кусок земли.

Коротко скажу, что начало судьбы ИМЕ было драматическим. Авторы статьи подверглись разгромной критике тогдашних руководителей Эстонии. Сама идея была оценена как политическая ошибка. Но сдержать перемены уже было нельзя. Под напором здравого смысла, гласности, демократизации командно-бюрократические методы руководства сдавали одну позицию за другой. Шатались насиженные руководящие кресла. Время выдвигало новых лидеров...

— Я бы хотел начать эту беседу, что называется, с места в карьер. С такого центрового — по тематическим интересам журнала — вопроса: ИМЕ и молодежь...

— Когда в Эстонии шли горячие дискуссии по программе ИМЕ, молодежь в них практически не участвовала. Озадачивает? Признаюсь, и меня поначалу это удивило, да и многих других. Причины объясняли по-разному. «Справа» заговорили о молодежи, напуганной надвигающейся безработицей. Хотя можно ли сейчас представить себе юнцов, безучастно и безропотно ждущих надвигающейся опасности? Объяснение другого рода: пассивная реакция молодежи на происходящее объясняется тем, что ее интересы и ценности сориентированы на мир вещей, музыки, развлечений. Это реальнее, ближе к истине.

На протяжении многих десятилетий в обществе, а в комсомоле — особенно, за политическую активность выдавались хороший труд, учеба, общественная работа. Но в действительности молодых людей, готовых к тому, чтобы по-настоящему участвовать в политической деятельности, всегда было мало. Мы в этом боялись признаться, хотя — вспомни — все время крутились вокруг проблемы молодежного лидера.

До недавнего времени у комсомола, как неотъемлемой части тоталитарной системы, была главная функция — охватить все молодое поколение и тем самым обеспечить его лояльность по отношению к господствующему порядку. Подобная всеобъемлющая организация характерна лишь в условиях единовластия. Ни в одном демократическом государстве не политизировано более двух-трех процентов молодежи...

Я считаю, что только сейчас молодежь просыпается от политической летаргии в масштабах всей страны. Это показал и Всесоюзный студенческий форум, и создание Российского комсомола, процессы, идущие в комсомольских организациях ряда республик. Да и митинговая волна, прокатившаяся по стране. (Хотя надо различать, где митинговость, а где политика. Это все-таки разные вещи...)

— Коли мы вышли на процессы, идущие в комсомоле, хотелось бы узнать твое мнение о ситуации, сложившейся в молодежном движении в республике.

— Я спокойно отношусь к тому, что вместо республиканской комсомольской организации

возникли два независимых Союза — Коммунистический союз молодежи Эстонии и Союз молодежи Эстонии. Определились как бы разные подходы к участию в молодежном движении. С одной стороны, возникла идентификация: комсомол — это Советская власть, это ценность социализма, социалистического строя; с другой — игра на национальных чувствах... Именно на этой почве стали возникать соответствующие объединения. Но думаю, что уже в ближайшем будущем у нас появится немало общественно-политических молодежных формирований и групп, которые будут объединены не столько по национальным, сколько по профессиональным, территориальным и идеологическим признакам.

Реальностью стали крестьянский союз, уездные (в географических рамках бывших районов) объединения молодых фермеров, производителей, акционеров, кооператоров. Представители этих нарождающихся структур избраны депутатами местных Советов, реально влияют на ход жизненных перемен, переустройства экономического уклада республики...

— Немало говорилось о том, что в Эстонии может и не быть молодежной организации с социалистической ориентацией в традиционном ее понимании...

— Такие заявления беспочвенны. Это подтверждается мировой практикой. Например, нет ни одного университета (знаю как ученый), где бы не было подобного движения. Оно есть и будет обязательно и в Эстонии... Другое дело, что развиваться движение это станет не по тем шаблонам, которые дискредитировали в последние годы саму социалистическую идею, а комсомольскую организацию республики привели к фактическому распаду.

Главная беда комсомола (я говорил об этом в прошлом году на XXI съезде ЛКСМ Эстонии), что он фактически растерял умение использовать для защиты интересов молодежи те возможности, которые были заложены в его структуре. Помню, когда я был секретарем комитета комсомола Тартуского университета, наша организация не побоялась пойти на конфликт с партийными органами. Добились, честно говоря, немногого. Но авторитет организации вырос настолько (в глазах и студентов, и руководства), что последующие акции давались нам гораздо меньшей кровью.

Конечно, сейчас будет не так-то легко создать новые структуры... Тем более в условиях функционирования разных — и конкурирующих, и взаимодействующих — союзов и объединений, но имеющих одну «крышу» — государственную молодежную политику. Политику, которая учитывала бы разность взглядов, убеждений, интересов различных слоев и категорий юношей и девушек.

— ...и такую политику предусматривает ИМЕ?

— «Предусматривает» — слово в данном случае не точное. ИМЕ — это ведь не пятилетний план, где расписано то-то и то-то. И не одна из программ социального развития, какие во множестве сочинялись в республиканских, областных руководящих органах. ИМЕ — программная концепция, костяк, что обрастет множеством законоуложений, конкретизирующих социальную и хозяйственную жизнедеятельность общества. Так что вопрос логичнее ставить так: включает в себя или нет программа «самохозяйственной Эстонии» проведение молодежной политики? Ответ однозначен: конечно же, включает...





Государственные программы по делам молодежи, независимо от того, приняты ли они на законодательном уровне или же сложились в силу общественно-политических и культурных традиций, существуют практически во всех развитых цивилизованных странах. Отсутствие таковой в нашей стране — на законодательном уровне — во многом предопределило отсталость в самых разных сферах, в том числе и такой наиважнейшей, как управление.

— Мне вообще думается, что самое слабое звено перестройки — это дефицит толковых, энергичных, независимо мыслящих лидеров, руководителей на всех уровнях. Прежний управленческий корпус дряхлеет, что называется, не по дням, а по часам. У него все силы уходят только на то, чтобы удержаться в кресле. Но вот появляются новые, более молодые, а кроме слов, мало что меняется. Не хватает компетентности, самостоятельности решений... Меня, например, весьма тревожит тот факт, что столь мизерное количество молодежи избрано в республиканские и местные Советы. А как у вас в Эстонии?

— Картина такая же, как и в целом по Союзу...

— Я предполагал, что в Прибалтике, в частности у вас, появятся в Советах мощные, действенные «молодежные фракции».

— Откуда им взяться? Надо учесть, что в последние десятилетия, с брежневской эпохи, комсомол стал настоящей кузницей карьеристов, которые по «аппаратному признаку» поднимались до тех или иных командных высот, но не пользовались ни авторитетом, ни уважением.

— Это так, если говорить о подавляющем большинстве. Но были ведь и исключения...

— Безусловно.

— Знаю такие примеры по вашей республике. Довелось бывать здесь в то время, когда комсомол Эстонии возглавлял нынешний премьер-министр Индрек Тооме. Он пользовался таким авторитетом, каким, может быть, не пользовался ни один другой комсомольский лидер подобного уровня.

— Но в том-то и дело, что таких раз-два и обчелся... Вообще я думаю, что собственно молодежная политика — это во многом иллюзия. И всегда таковой была. Активность в молодежную среду вливается извне: от различных течений и объединений, в которые входят люди более зрелого возраста. Это влияние может осуществляться грубыми методами: под диктовку партии жил комсомол. Регламентировался буквально каждый шаг. Правда, делалось это исключительно «для пользы комсомольцев». Под лозунгом партийно-комсомольской учебы, наставничества. Таким образом, комсомол отучали мыслить, и решать, и действовать самостоятельно. Но верхушке комсомола, его аппарату, это было всегда удобно — с них снималась ответственность...

Молодежная политика в системе ИМЕ — полное отсутствие диктата со стороны каких-либо ведомств, органов, организаций. Она должна складываться по законам демократического правового государства: создание стартовых возможностей, выделение средств на те или иные конкретные программы, предоставление долгосрочных, льготных ссуд. Не обойтись и без глубокой реформы образования, различных видов обучения, в том числе и языкового...

Кое-что уже делается. Недавно в Таллинне, например, открылся первый колледж для русскоязычной молодежи. Здесь будут учиться те, кто собирается поступать

в вузы республики. Причем окончившие его (срок обучения один год) получают дипломы специалистов среднего управленческого звена, владеющих эстонским и русским языками.

— Факт, так сказать, к «вопросу о языковой дискриминации», о которой любят поговорить некоторые депутаты...

— Бог с ними... Не будем отвлекаться... Так вот... Первые подвижки уже есть. Но трудности нас ожидают большие. Поэтому и предусмотрено создание государственной молодежной службы. Какие организационные формы она обретет — решат законодатели.

Разумеется, в условиях ИМЕ для молодых невозможно выделить очень много ресурсов, так как жизнь предстоит тяжелая и суровая: в условиях рыночной экономики она будет наполнена борьбой, конкуренцией. И молодежным организациям, в том числе и комсомолу, от этого никуда не деться...

— Я побывал в эти дни в нескольких молодежных кооперативах, действующих под эгидой комсомола. Что будет с ними в связи с его реорганизацией? Сохранятся ли для них налоговые льготы?

— Все будет зависеть от решения законодателей. Лично я не сторонник того, чтобы предоставлять таким кооперативам (или хозрасчетным центрам) условия особого благоприятствования. У молодых надо воспитывать не иждивенчество, а, наоборот, здоровую деловую хватку, предприимчивость. ИМЕ — это самостоятельность и инициатива на всех уровнях. Вспомоществование же — только тем, кто физически не может работать в полную силу.

Прервемся на минутку...

Вот одно из впечатлений, которое вынес из этой командировки. Не знаю, как было во время забастовок в Таллинне, но сейчас, несмотря на всю политическую многоголосицу, столица республики не захлестнута митинговой стихией. Вернее, надо сказать так: время митингов и время работы как бы четко поделено. Митинги, дискуссии, споры не влияют разрушительно на производственную, исполнительскую дисциплину, как в иных регионах страны.

Сказывается генный запас демократических традиций народа. Терпимость к инакомыслию, к иному образу жизни, уживчивость на социально-бытовом уровне. (Разумеется, исключая случаи, в которых проявляется чье-то элементарное бескультурье, хамство, неуважительное отношение к тем, с кем рядом живешь.)

Довелось побывать на пленуме Пярнуского райкома партии. Даже не понимая по-эстонски, чувствовал — идет не сшибка, а, что называется, борцовская схватка мнений. Но в рамках правил. Без «захлопывания» и топота ног. Вот объявляется перерыв, и, казалось бы, непримиримые оппоненты мирно, по-дружески беседуют. Пример культуры, которую мы называем парламентской? Видимо...

Но это отнюдь не значит, конечно, что в Эстонии «все как один» — при разности взглядов и подходов — стали «перестройщиками». Хватает здесь таких, кто не понимает смысла начавшихся перемен, кто по мере своих сил и возможностей им противодействует. В общем, как и повсюду в нашей стране.

Вот случай из повседневной жизни, о котором рассказал Яак Кыйв, председатель Союза крестьян Выруского района. Один хуторянин решил продать через потребкооперацию три тонны зерна. Хорошо, сказали ему, но только надо разложить зерно по мешкам.

А где взять мешки, поинтересовался крестьянин. А это уж твоя забота, ответили. Крестьянин взял и прикинул — получилось, что если он сделает так, как ему советуют, то он потеряет на этой сделке тридцать рублей...

Мелкий факт? Допускаю. Но только лишь в том случае, если отсечь от него хуторянина и его труд. И если не понимать простой вещи: любая экономика, будь она самой что ни на есть «передовой», здоровой и социально направленной станет лишь в том случае, если будет начинаться с выгоды каждого труженика.

— Поначалу я не думал в нашей беседе касаться вопросов межнациональных отношений, но от них не уйти...

— Недавно центр исследования общественного мнения «Майнор» опубликовал данные очередного опроса жителей Эстонии. Исследовалось их отношение к общественным организациям и движениям. Среди русскоязычного населения наибольшее отрицание вызывают: забастовочный комитет — 54 процента, интердвижение — 40 процентов, партия национальной независимости — 35 процентов, народный фронт — 26 процентов... Цифры подтверждают, что, несмотря на многомерность причин, вызывавших межнациональную напряженность, по существу, это конфликт не наций, а политических взглядов и интересов, различного отношения к перестроечным процессам. И какие бы всплески тут ни происходили, люди все больше начинают понимать: в политике есть только один выход — искать компромиссы за столом переговоров. (Кстати, в нынешнем составе правительства республики — два министра без портфеля. Обязанность одного из них — Эдуарда Черевашко — координация государственной политики по отношению к неэстонскому населению республики.)

— Не значит ли, что каким-то корректировкам, вызванным необходимостью компромиссов, может быть подвергнута сама программа «самохозяйственной Эстонии»?

— На концептуальном уровне компромиссы, конечно же, исключены.

Что касается разногласий,— они были. Считаю, по вине руководства республики, инициаторов ИМЕ. Тут как бы сработал механизм парадокса. Основа концепции ИМЕ — рыночные отношения внутри республики и вне ее. Рыночные отношения — это экономика, прежде всего свободная от любого диктата. И вот тут был допущен своего рода моральный прессинг на коллективы в связи с переподчинением, перепрофилированием предприятий, входящих в систему центральных ведомств (на которых трудится в основном русскоязычное население). Ведь надо было разговор начинать в трудовых коллективах, на фабриках и заводах Таллинна, Нарвы, Кохтла-Ярве. А начали опять же с центра — с Москвы. Это породило недовольство рабочих, которые законно посчитали, что их обошли. А если за нашей спиной — значит, против нас! Верная ведь логика!.. С Таллиннским морским портом получилось еще конфузнее, если подходяще это слово. Докеры, серьезно восприняв идеи хозрасчетной Эстонии, подготовили проект перехода на аренду. Но правительство, не предполагая такой инициативы снизу и «забыв» посоветоваться с будущими хозяевами крупнейшего предприятия, предложило свой план, выработанный, как и прежние, келейно, в закрытых кабинетах.

Конфликты, слава богу, улажены. Но вот, оказывается, сколь велика инерция старого мышле-

ния при самых благих перестроечных побуждениях...

— Насчет инерции ты совершенно прав. В прошлом году, когда в Верховном Совете СССР шло обсуждение Закона об экономической самостоятельности Прибалтийских республик, многие депутаты (у меня сложилось такое впечатление) усмотрели в ИМЕ прежде всего политический подтекст. От предубеждения, от незнания ли предмета? Не ведаю... Но факт, как говорится, имел место. А что уж говорить о простом люде?

— То, что у ИМЕ есть политический подтекст,— это несомненно. Равно как он есть у любого экономического передела, совершаемого в реформаторский период. Другое дело — каков он?

И в Верховном Совете СССР, и вне его по сию пору нередки утверждения, что вся наша самохозяйственность — подготовка к выходу из Союза. У экономической, мол, концепции вполне определенная политическая подкладка: порвав связи хозяйственные, мы аннулируем затем и государственные. По этому поводу немало пикировались депутаты в союзном парламенте. Не хочется повторяться. Но в связи с этим все время задаюсь одним не очень «парламентским» вопросом: если нас принимают за хитрецов, то почему же одновременно нас принимают и за глупцов? Ну разве ж расчетливые люди для политического отделения от федерации избрали бы такой окольный, долгосрочный путь? При том, что Эстония, как и другие союзные республики, имеет конституционное право на самоопределение, вплоть до выхода из Союза...

Я за свободную, суверенную Эстонию. Это однозначно. За обновленную советскую федерацию, построенную на новых договорных началах. Но однозначно и мое мнение как ученого: если Эстония вдруг выйдет из состава СССР, то экономическое положение республики резко ухудшится. А если учесть, что оно и так кризисно трудное... У нас есть единственный ресурс — это всесоюзный рынок. Только ориентируясь на него, в том числе и путем опосредования западного капитала, знаний, технологий, мы сможем создать экономический потенциал, который позволит жить цивилизованней и богаче. Вот чего мы добиваемся, чего хотим.

— Кто этого не хочет...

ОТ РЕДАКЦИИ. ...И вновь время опередило публикацию. В марте состоялся XX съезд КПЭ, сложившийся во многом неоднозначно и для республики, и для коммунистов Эстонии.

Титма не был избран секретарем, но остался членом Центрального комитета.

Изменения произошли и в правительстве: ушел с поста председатель Совмина республики Индрек Тооме...

Почему же мы все-таки публикуем беседу, по сути не меняя в ней ни строки? Думается, что она в какой-то мере слепок времени, политической и экономической ситуации, еще недавно характерной для Эстонии. Это — во-первых. Во-вторых, проблемы, затронутые в ней, не утратили своей актуальности. Таким образом, приобретая «исторические» черты, материал этот, надеемся, поможет хоть в какой-то степени понять и сегодняшнюю жизнь Эстонии.

...Мы позвонили в Таллинн.

— Займусь вплотную наукой,— сказал доктор философии Микк Титма.— Но это с осени... А пока еще немало дел в ЦК, ведь нынче для нас как бы переходный период...

«Переходный период». В судьбе одного человека, целой республики, всей страны. Не затянулся бы он...



ПЯТНА



ВЛАДИМИР КУДИНОВ,
кандидат исторических наук

ПОСЛЕДНИЕ ДЦАТЬ ЛЕТ

Летом 1930 года Крупская выступила на Бауманской районной партийной конференции. Критиковала методы коллективизации, ничего общего не имеющей с ленинским кооперативным планом. Еще никто не знал, что в ближайшие годы сталинские методы приведут к гибели от голода миллионы человек, что будут уничтожены тысячи «кулаков» и «подкулачников», что несколько тысяч активистов пострадают от сопротивления «кулаков»... Надежда Константиновна обвинила ЦК партии: «Незачем валить на местные органы те ошибки, которые были допущены самим ЦК».

Она еще не закончила выступления, а на конференцию, бросив дела, уже спешил Л. Каганович. В грубой форме он буквально разнес ее речь, заявив, что член ЦК не имеет права выносить свои критические замечания на трибуну районной конференции. По свидетельству делегатов С. Бердичевской и М. Цехлис, Каганович сказал: «Пусть не думает Крупская, что если она была женой Ленина, то она обладает монополией на ленинизм».

Но уже некому было выступить в ее защиту... И все-таки она не сдавалась.

Вот два письма Крупской, ранее не публиковавшиеся, в которых она, возражая против проводимой политики, требует решительных перемен.

«В ЦК ВКП(б).

Тов. Постышев! Я хотела бы обратить Ваше внимание на 2 вопроса.

В библиотеках завели в последнее время форму «НДМ» — «Не давать массам» — куда отправляют «подозрительные» издания: «устаревшую» брошюру Ленина о продналоге, «Коммунистический манифест»... книжки по философии Гегеля и т. д. Рабочие массы, колхозники... трактуются как несмышленыши, которым надо давать лишь злободневные агитки.

Второе дело — положение детей в колхозах. Дети колхозников — форменные лишенцы — не говоря уже о том, что вообще положение ребят в колхозах тяжелое. Недавно объявился тут председатель... Делает доклад, хвастает, как все хорошо. Колхоз животноводческий, молоко все сдают куда-то, в Маслоцентр, что ли. Вспомнила я Ильичево «обеспечить каждому ребенку бутылку молока» и спрашиваю: «А вы оставляете для детей-то молоко?» — «Нет, все до капли сдаем». И половина населения из колхоза сбежала.

Дети колхозников закидывают письмами — их не пускают из колхозов учиться, ибо они нужны как рабочая сила. От ребят старше 12 лет требуют трудодней, и ребята вынуждены бросать школу.

Думаю, к 15-летию существования Советской власти надо бы урегулировать вопрос с детпитанием и детской учебой в колхозах». (1932 г.)

«В ЦК ВКП(б). 10 марта 1934 г.

Лазарь Моисеевич! Совершенно необходимо Ваше вмешательство в дело борьбы с беспризорностью... Это вопрос политический.

На Московских вокзалах скопляется масса брошенных ребятишек. Всякий знает, сколько беспризорных ребят в Москве, спящих на лестницах. Все к этому «привыкли»! Это «советский быт», об этом говорят. Ребята собираются в Даниловский приемник и рассылаются в провинцию.

Беспризорные ребята считаются «детьми кулаков», «неисправимыми рецидивистами», «обреченными», это «издержки соцстроительства».

Меня в сентиментальности никто никогда не упрекал, но нет сил переносить тот бездумный формализм, бюрократию, которую мы проявляем в отношении десятков тысяч детворы нашей, попавшей под колесо».

В архиве хранятся письма Крупской, ходатайства в защиту репрессированных.

Когда были арестованы Емельяновы, помогавшие В. И. Ленину и Г. Е. Зиновьеву скрываться в Разливе, Надежда Константиновна обратилась в НКВД с просьбой разрешить матери Емельяновых приехать на несколько дней в Москву «для устройства личных дел» (без разрешения приезд был невозможен).

Письмо это побывало во многих руках. Каковы результаты? О них говорит запись, сделанная в дневнике через несколько лет, за месяц до кончины — 27 января 1939 года: «говорила по телефону с Берия о пенсии Емельянову».

...В июле 1937-го арестовали Осипа Пятницкого, с которым был дружен В. И. Ленин, в компании с кем любил петь песни и, как вспоминали соратники, «фальшивил не меньше каждого из нас». Осип Пятницкий обладал феноменальной памятью, в которой держал все явки, пароли, имена представителей Коминтерна во всех странах мира.

Крупская бросилась на защиту друга и соратника. Стучалась во все двери, и когда стало ясно, что единственный человек, который может повлиять на судьбу старого товарища,— это Сталин, потребовала от него доказательств обвинения.

Ее познакомили с протоколами допросов, в которых были показания на Пятницкого, как на японо-немецко-фашистского шпиона. Не поверив этому, она потребовала очной ставки с теми, кто давал показания. Крупская не подозревала, что и здесь подручные «вождя» запросто могут разыграть спектакль.

На встречу с ней привели приговоренного к расстрелу бывшего генерального консула в Харбине Б. Мельникова, который под пытками не только дал показания на Пятницкого, но и согласился публично их подтвердить. Ему вручили текст вопросов и нужных ответов, дали пару недель на заучивание, переодели в новый костюм, выдали папиросы. Прошло еще несколько дней. Мельников не знал, перед кем ему придется давать показания. По тому, как тщательно его готовили и сурово предупреждали, что отвечать нужно только по инструкции, он понимал: какие-то важные люди.

Когда его ввели в кабинет, там было человек десять — двенадцать. Крупская сидела в стороне от Сталина. Сталин начал: «Товарищ Крупская утверждает, что она не верит и не допускает, чтобы Пятницкий был шпионом.— И, повернувшись к Крупской: — Товарищ Ежов вам доложит и фактами убедит вас».

Ежов встал, вынул лист бумаги из портфеля и, оглядев сидящих в комнате, обратился к Мельникову.

«Он начал задавать известные мне вопросы,— вспоминал впоследствии Мельников.— Я отвечал согласно инструкции. И вдруг услышал резкий, возмущенный голос Н. К. Крупской: «Он лжет! Он

фашист, он негодяй!» И бросила в комнату: «Вячеслав Михайлович! Климент Ефремович! Лазарь Моисеевич! Вы ведь хорошо знаете Пятницкого. Он ведь честнейший человек. Его очень любил и уважал Ленин».

Крупская заметалась, искала глазами сочувствующих. Ответом ей было гнетущее молчание... Молчание прервал голос Сталина: «Товарищ Крупская не доверяет показаниям Мельникова. Что ж, проверим еще...»

К сожалению, Крупская смогла помочь не многим. Так, например, благодаря ее усилиям были освобождены И. Чугурин, вручивший В. И. Ленину партийный билет в день его возвращения из эмиграции 3 апреля 1917 года, и детский писатель В. Бианки.

В декабре 1936-го — январе 1937-го у Крупской на приеме побывало около тысячи человек, среди них много ребят-беспризорников, детей-лишенцев. Большинство просьб было об освобождении родственников, пересмотре дел, о помиловании. Многие семьи заключенных просили выделить материальную помощь. Просили денег и беспризорные дети. Посетители верили, что Надежда Константиновна — «всеобщая мать», которая все может и все сделает.

Но она была не всесильной...

Ее рабочие дни были очень напряженными. В 30-е годы в секретариате Н. К. Крупской работало одиннадцать человек, они помогали ей отвечать на груды писем, фиксировали телефонные звонки, предложения в специальных дневниках и «Расписании» — тетради в крупную клетку, разграфленной от руки по дням «шестидневки» (в то время в стране была шестидневка — пять рабочих, один выходной). Не все дневники сохранились, некоторые из них, относящиеся к 1923— 1924 годам, пропали.

Вот как проходил один из обычных дней Крупской — 28 октября 1933 года.

«1. Тов. Шухт — о приеме относительно политзаключенного мужа сестры.

2. Редакция «Пропагандист» — просит дать статью в ленинский номер на тему: «Ленин как пропагандист».

3. Институт Ленина — спрашивает, когда Н. К. примет т. Сидорова относительно протоколов III съезда.

4. «Юный коммунист» — просят статью о революционной молодежи в подполье, или же на другую проблему, тему: «Участие комсомола в Октябре», «Ленин о комсомоле». Срок: 1—2 ноября.

5. Тов. Розанов — о приеме брата Сергея.

6. «Легкая индустрия» — справлялась, согласится ли Н. К. дать отзыв на книжки 1) Горбуновой, 2) Аникст. Эти книжки предполаг. выйти к Октябрьским торжествам.

7. Тов. Мельников — о приеме по поводу программы для школ, грамоты.

8. Тов. Головин (ин-т Маркса — Энгельса — Ленина сообщает, что решено издавать аннотированные карточки на сочинения Ленина, 400 назв.).

9. Тов. Минштейн — по поводу работы в библиотечном управлении.

10. Звонили из ЦК ВКП(б), просили передать, что нет возражений относительно использования т. Гурвич на работе в библиотечном управ.

11. Октябрьский райком — 31-го районный слет пионеров. Хотят побеседовать с Н. К.».

В тот же день Крупская была на коллегии Наркомпроса, к этому за-

седанию нужно было прочесть кипу документов.

Редакции журналов просили подготовить статьи весьма срочно, срок определяли от двух до шести дней. Вот, скажем, «Вожатый» просит ее 19 января написать о коммунистической морали к 21 января, так как номер уже выходит 26 января и «специально будет посвящен вопросу комм. морали молодежи».

И статья была подготовлена в срок, и номер вышел вовремя!

Как же она все успевала?

Каждый следующий день у Надежды Константиновны начинался вечером предыдущего. Уходя в свою кремлевскую квартиру, она уносила с собой массу материалов для журналов, которые редактировала: «На путях к новой школе», «О наших детях»,— и, к удивлению сотрудников, утром возвращала рукописи с пометками и лично написанными статьями. Крупская рано утром принималась писать статьи, редактировала же их вечером. Около сотни статей за год, сотни проектов постановлений, писем, которые нужно было хорошо продумать, учесть их последствия — ведь это касалось интересов людей. Небольшой штрих к характеру Крупской: на следующий после похорон В. И. Ленина день в 8.30 утра Крупская была уже на рабочем месте.

«Наблюдая за Н. К. на совещаниях, поражалась тому, что Надежда Константиновна никогда не претендовала на роль оратора, трибуна, тем не менее привлекала нас всех своим глубоким пониманием обстановки, убежденностью и ясностью суждений, пониманием ближайшей и более далеких сознательных перспектив в развитии нового социалистического общества,— вспоминала сотрудница Наркомпроса В. Дюшен.— Речь Надежды Константиновны была убедительной, потому что она хорошо знала жизнь, уделяла исключительно много внимания встречам и беседам с тружениками села и производства. Возле кабинета Надежды Константиновны в НКП всегда толпилось много, казалось бы, посторонних этому учреждению людей. Это были преимущественно женщины, работницы и крестьянки, которым Надежда Константиновна всегда уделяла много внимания, подолгу беседуя с ними, независимо от того, приходили они с жалобой по поводу судьбы детей или по другим вопросам... Когда Надежда Константиновна высказывала общие теоретические положения или предлагала какие-либо практические решения, мы чувствовали, что она всегда опирается на ту информацию, которую она получила от своих посетителей. Надежда Константиновна интересовалась детским движением и внешкольной работой детей, посещала детские клубы, бывала на собраниях отрядов пионеров. Дети с глубоким уважением и любовью относились к Надежде Константиновне, беседы с нею производили на детей глубокое впечатление. Очень много давали эти беседы и пионервожатым».

Некоторые историки считают, что Крупская была отстранена Сталиным от партийной и государственной деятельности. Но заглянем в архивы, откроем документы. В «Известиях ЦК КПСС» (1989 г., № 2) впервые опубликованы письма Крупской Зиновьеву, Троцкому, в которых она осуждает не только их выступления против политики Сталина, но и свою былую позицию.

До конца своих дней она оставалась членом ЦК партии, выступала

на пленумах, голосовала за предание суду Бухарина, за исключение Зиновьева, Каменева, Троцкого. Свой голос отдавала осознанно, а не из-за страха за свою судьбу. Другое дело, что она, как и очень многие люди в стране, была обманута сталинщиной.

Сталину незачем было ее ни отстранять от дел, ни устранять. Более того, он, похоже, и не стремился к этому. Провозглашая себя самым верным последователем Ленина, не хотел трогать его жену. В 1933 году он наградил Крупскую орденом Ленина. В 1929-м Надежду Константиновну назначили заместителем наркома просвещения, она была депутатом Верховного Совета. Нет оснований полагать, что Крупская боялась Сталина, она верила ему и поэтому поддерживала.

23 ноября 1934 года Крупская согласилась с редакцией журнала «Пропагандист», просившей упомянуть в ее статье «Ленин как пропагандист партии» «о роли Сталина, как организатора партии и продолжателя дела Ленина» и связать это «с годовщиной смерти Владимира Ильича».

Все ее письма пионерам в 1933—1934 годах заканчивались призывом «За дело Ленина — Сталина будьте готовы!».

Она получала от Сталина письма и писала ему о тех государственных и партийных делах, за которые отвечала. Вот записи дневника. «18. 9. 24 г.— получила письмо от Сталина. Ответ не требуется»... «Написала письма Сталину 14. 8. 1935 г. о Музее Ленина», «22. 2. 1936 г. о политехнизме в школе».

Писала она часто и по разному поводу секретарям ЦК Молотову, Кагановичу, Постышеву, Жданову, звонила Калинину, Берии, Ягоде, Ежову. От общественной жизни вопреки утверждениям некоторых историков, Крупская не была отстранена. Об этом свидетельствуют личные дневники и другие ее документы.

Но говоря об общественной жизни, активности, не будем забывать то, что Надежда Константиновна была уже пожилой женщиной. К тому же с 1912 года страдала базедовой болезнью, сердечной недостаточностью. В последние годы у нее появились признаки общего артериосклероза.

Можно ли сказать, что Крупская была отстранена от партийных дел, если она участвовала в работе всех съездов, Пленумов ЦК, была на заседаниях Оргбюро, высказывала свою точку зрения, не всегда совпадавшую со сталинской, правда, по вопросам тактики партии? Вот план ее работы на январь 1937 года: «ЦК. 1. Позвонить Поскребышеву, чтобы сообщал о заседаниях Политбюро. 2. Пересказать письмо Сталину. 3. Выяснить скорей о Чудове...»

А вот план на январь — февраль 1939 года, последние месяцы жизни:

«10.1. Послать письма Берия — 1) О внучке Салтыкова-Щедрина. 2) Вальман из Харькова. 3) Из Киева какой-то выпущенный...

11.1. Совещание редколлегии «Пионерской правды».

14.1. Заседание у Наркома.

19.1. Выступление на Совнаркоме об избах-читальнях.

27.1. Разговор с Берия о пенсии Емельянову.

31.1. Заседание Оргбюро, просмотр материалов.

4.2. Письмо Берия.

11.2. Разговор со Ждановым.

14.2. Разговор с Микояном, Поспеловым.

15.2. Письмо Андрееву».

Передо мной ученическая тетрадь в линейку, в синей обложке,

на которой наклеен белый прямоугольник с надписью карандашом «1939. Дневник. Январь, февраль». Месяцы записаны в столбик; после февраля стоит запятая, и внизу есть место для продолжения...

Это последний дневник Крупской. На первой странице обведено: *«За 1938 г. было: статей 112, выступлений 72, заседаний 120, писем пр. 2500». Далее идет разбивка по месяцам: 1938 год — левый столбик, 1939 год — правый. Сравнения позволяли Крупской делать выводы о своей работоспособности.*

«1938 год, январь: статей — 12, выступлений — 5, заседаний — 19, писем — 280. 1939 год, январь: статей — 20, выступлений — 16, заседаний — 12, писем — 240».

Каждые два дня — выступление, почти ежедневно — статья, по десятку писем... Видимо, на пороге своего 70-летия Надежда Константиновна чувствовала себя физически хорошо. Февральская табличка хотя и подготовлена, но не заполнена: Крупская скоропостижно скончалась, когда месяц еще не закончился. Последние два рабочих дня. 22 февраля — просматривала работы Никифорова, писала тезисы и докладную записку по улучшению работы библиотек, встретилась с двенадцатью товарищами из Москвы, Челябинска, Ленинграда, просмотрела пять писем, написала «статейку к 8 марта», участвовала в заседании, написала письма слепым Грязовицкой школы, в Президиум Верховного Совета Белоруссии, подписала удостоверение Бричкиной. Во время работы немного позировала художнику П. Васильеву, который создавал ее портрет к юбилейному поздравлению в «Правде».

23 февраля начала день с просмотра двадцати писем, написала одно, позвонила в ЦК партии Андрееву, Поспелову, встретилась с двумя товарищами, приняла участие в заседании Совнаркома о 3-м пятилетнем плане.

На этом записи в дневнике заканчиваются. 24 февраля был выходной день, к ней на дачу в Архангельское приехали друзья, чтоб отметить ее день рождения. Среди них З. П. и Г. М. Кржижановские, В. Р. Менжинская. Как всегда гостей помогала принимать В. С. Дридзо, бессменный секретарь с 1919 года. Надежда Константиновна была весела и бодра. Но к вечеру ей стало очень плохо, не отпускала боль в животе, и ее срочно увезли в кремлевскую больницу. В больнице выяснилось, что у Крупской — воспалительный очаг в брюшной полости в связи с закупоркой склерозированных сосудов кишечника. Следствием закупорки стало общее омертвление части кишечника с последующим воспалением брюшины. Болезнь развивалась бурно и с самого начала сопровождалась резким ослаблением сердечной деятельности. Крупская теряла сознание. Операцию делать было опасно. Сознание пришло к ней только спустя сутки. В отдельной палате неотлучно находились медперсонал и В. Дридзо. С ее слов нам известна фраза Крупской: «Вы как хотите, а я на съезд пойду (в марте открывался XVIII съезд партии, и Крупская, избранная на него делегатом, собиралась выступить по проблемам политпросветработы). Содержание других разговоров не сохранилось: узок был круг посетителей.

27 февраля в 6 часов 15 минут утра сердце Н. К. Крупской перестало биться. Вскрытие подтвердило диагноз.

ЧИТАТЕЛЬ•«СМЕНА»•ЧИТАТЕЛЬ

- «Прости меня, мама...»
- «Не хочу жить на свалке»
- Рядом с нами — нищета

Спасибо вам за статью «Ангел-спаситель», («Смена» № 18, 1989 г.) где рассказано о моих родителях.

...Зима 1945 года. В центре большой кубанской станицы Староминской стояло три громадных по тому времени здания. В них жили дети-сироты дошкольного возраста. Мне было около 14 лет. Кто я? Где мои родители? Никто не мог ответить мне на этот вопрос. Одни говорили, что мои мать и отец умерли в 1937 году, были и такие, которые говорили: «Бросили тебя твои родители, когда тебе было 4 годика».

Накануне Нового года поздно ночью я с подружками и воспитательницей делала игрушки для украшения елки. Было тихо. Дети спали. За окном скрипел снег. И вдруг ночью случился переполох. Поднялся на ноги весь детский дом. Босые, полураздетые дети ринулись к корпусу, где мы с воспитательницей трудились. Слышу: «Валя, там женщина плачет и свою дочь Кудинову ищет». Ноги мои подкосились, и я сдвинуться с места не могу.

Родители мои умерли, а тут вот мать объявилась — живая... Я сразу же с вопросом: «Откуда?» Она рассказала, что отец мой, Кудинов Василий Иванович, арестован в 1937 году в Таганроге. А она, Роговая Мария Григорьевна, не была в зарегистрированном браке с ним, но очень любила его и верила ему. Ей предложили подписать отказ от мужа — «врага народа», а она ходила, плакала и доказывала, что он честный человек. И не враг он вовсе и Родину любит. Ее арестовали как члена семьи «изменника Родины». Срок свой она отсидела, а ссылку предстояло отбывать в Карагандинской области.

Мы уехали вместе. Но как же я виновата перед мамой!..

В моем сознании она оставалась «врагом народа»: так меня воспитали. И я от мамы ушла... Мамина сестра, Левицкая Зинаида Григорьевна (она и есть ангел-спаситель), помогала мне. Она-то хорошая была, не «враг народа». Я стала называть ее мамой. Поступила в институт и думала, что человеком стала. Гордилась собой.

Но и новую мою маму арестовали. И что-то произошло со мной. Ненависти не хватило мне. Любила я ее, новую маму.

Наступил 1953 год. Умер Сталин. Ревела я больше всех, но тут снова «враг народа» рядом со мной оказался и глаза мои «слепые» открыл. В мае 1953 года я о культе личности узнала и текст письма Тухачевского к Сталину прочитала. Всю ночь

плакала и прощения у «врагов народа» просила. К утру на почту пришла и на последние деньги телеграмму родной матери отправила: «Мамочка, прости меня».

Никакой ненависти не осталось в душе моей. Так вот я человеком стала.

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА КУДИНОВА,
Волгоградская область

Так получилось, что только недавно посмотрела фильм «Курьер» и призадумалась. Ведь не только этому Ваньке делать нечего. Ему-то хоть армия впереди светила. А я девчонка, мне-то что светит? Учусь в институте на пятом курсе мехфака ТашПИ. Ничего звучит, даже прилично, да? Но душу это не греет. Учиться не хочу, особенно сейчас. Пропускаю занятия. Чего добиваюсь — не знаю, чего хочу — тоже не знаю. Весело, правда? До слез. Тоска зеленая — вот повод напиться бы, да не употребляю.

Слышала я где-то, что если человек не может найти себе дело по душе и постоянно об этом говорит, то он расписывается в своей несостоятельности, слабости, в своем безволии. Правда, считается, что, раз я все поняла, это уже шаг, хотя и на месте. Ну, поняла, а что дальше делать? За что браться, если уже ничего не интересует? Просто жить не хочется.

Как часто мы слышим: «Жизнь коротка, не пропустите главного!» Я в двадцать два года еще ничего не добилась, ничего существенного не сделала. Все какая-то мышиная возня. Только не говорите мне: «Надо собраться, работать, совершенствоваться и т. д. и т. п.». А для чего? Не вижу цели. Ну, закончу я этот институт (если не выгонят), получу профессию, которая мне не нравится и не нужна, пойду на ненавистную работу. Что ж поделаешь, ошиблась в выборе, а получается, что ряд ошибок переходит в закономерность. Словом, застой и тупик. Я никого не виню. Во всем, конечно, сама виновата: ходит, дышит какая-то живая масса без идеалов, без воли, без чувств, без души. Мама мне постоянно напоминает о замужестве. И об этом я думала. Но любить я любила, может, и сейчас еще люблю, а ему я не нужна, не нравлюсь. Что поделаешь? Бывает.

Извините меня, пишу сумбурно, уж очень хочется выговориться, да некому. Эту сумятицу вы, конечно, не напечатаете, поважнее проблемы есть — глобальные. Но ведь когда плохо одному человеку — плохо и всему обществу!

С приветом — живая масса

МАРИНА К.,
Ташкент

P. S. *Ну хоть одна живая, добрая душа, отзовись!*

Я ученица шестого класса, живу в Мурманске. Природа у нас, как говорят все взрослые, скудная. А сейчас особенно много разговоров о том, что экология — на грани катастрофы. Я тоже читала об этом в газетах, слышала по радио. И вот о чем подумала: как же мы будем жить, когда вырастем? Каким воздухом дышать, какую воду пить? Ведь люди, несмотря на разговоры, продолжают загрязнять землю.

Как-то пошли мы всей семьей гулять в сопки. Мы были просто в ужасе: везде масса битых бутылок, консервные банки, какой-то мусор. Значит, сами все и виноваты, что гибнет приро-

да. Я думаю, что беречь ее должен каждый, иначе нам придется жить на большой свалке.

ЖЕНЯ ЩЕРБАК,
Мурманск

В перестройку я, конечно, верю — рано или поздно она победит, хотя уже много дров наломали, много трудностей и впереди. Все это понятно. Как и любая революция, перестройка требует жертв, но почему-то жертвами становятся не те, кто довел страну «до ручки», а чаще простой, как принято говорить, народ. А ведь мы от работы никогда не бегали и верили в лучшую жизнь. Тем более что нас убеждали в этом.

Мне тридцать семь лет. Трудовой стаж — восемнадцать лет. Кем я только не работала — от технички до доярки. Родила пятерых детей, четверо из них — школьники. Рада я детям, счастлива, но нет мне ни дня покоя. Не от того, что трудно с ними. Нет! Это моя ноша. Дело тут в другом. Что могу я купить на семь человек? Все уходит на питание. Да тут еще беда постигла: муж в больнице — вероятно, группу инвалидности дадут. А жить как? Как-то сын пришел, четыре рубля в школу требуют, а где их взять? Даже эти несчастные четыре рубля не могу выкроить. Одно остается: идти с протянутой рукой. Сегодня подсчитала: в месяц на питание истрачено по двенадцать рублей на человека. Это, по-моему, уже не черта, это где-то за чертой бедности. И никому нет дела до наших детей, пока они не вырастут. Вот тогда они должны будут строить, пахать, охранять покой страны. Я не экономист, может, неверно сужу, но запуск одного корабля забирает с наших скудных столов часть еды. Да, и в космос летать надо, но, может, с высоты виднее, что где-то плачет мать, не зная, во что одеть ребенка, а ребенок не видит подчас самого необходимого. Конечно, кто не был в нашей шкуре, тот и не поймет нас. Кто-то гоняется за модными вещами, а тут бы в отечественное детей одеть, да чтобы дольше носилось.

Дети уснули, а я сижу и думаю: завтра физкультура, формы нет, что придумать на завтрак, где денег взять? Вот так и живем. Впору идти с протянутой рукой.

НИНА ИВАНОВА,
Краснодар

Мне семнадцать лет, я учусь в одиннадцатом классе и очень люблю детей. Мне очень хочется переписываться с мальчиками и девочками из детских домов и интернатов, хочется делать для них что-нибудь хорошее, полезное. Ведь им так нужна поддержка, помощь! Когда по телевизору передавали «Телемарафон» Советского детского фонда, я просто рыдала.

Если кто-нибудь захочет со мной переписываться, напишите мне по адресу:

678250, Якутская АССР,
Ленинский район,
Комсомольская, 46,
В. ПОПОВОЙ

По возрасту я человек немолодой, но долгие годы работала с молодежью и поэтому всегда следила и слежу за молодежной прессой.

Меня взволновало письмо в «Смену» Г. М. Волковой (№ 22,

1989 г.), и вот почему. Автор возмущенно рассказывает об «ужасающих» условиях жизни будущих санврачей в общежитии ленинградского института по ул. Кирилловской, 14. В программе «Взгляд» также неоднократно мелькали кадры обшарпанных стен общежитий, закопченных потолков, провалившихся полов. Вот, дескать, до чего худо мы живем.

У меня возникает естественный вопрос: а что — у людей, которые живут в этой грязи, нет рук? Что — очень сложно забить досками или фанерой прохудившийся пол, а потом покрасить его, побелить потолок и стены, покрасить двери и окна? Пусть не очень качественно, но аккуратно, чисто. Во всяком случае, так делают студенты общежитий КСХИ Краснодара. Я сама с семьей — нас трое — пять лет прожила в комнатушке 11 кв. м, но в идеальной чистоте и порядке.

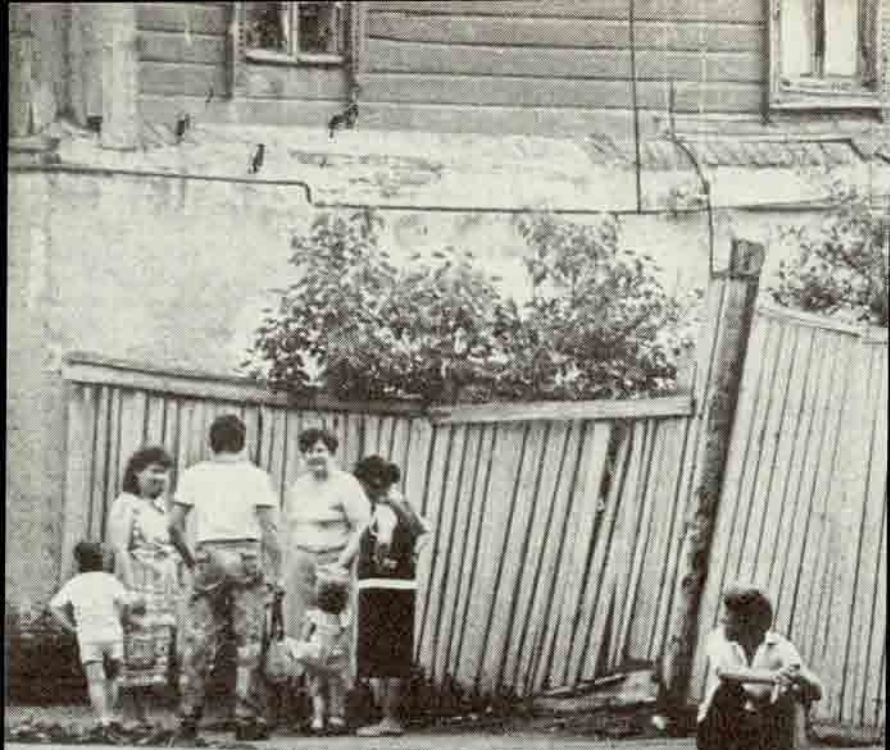
Человек должен жить в человеческих условиях, и создавать их он должен прежде всего сам, своим трудом. А вот трудиться наша молодежь зачастую не любит, не получает она, видите ли, удовольствия от труда. Отсюда «разгульный образ жизни», о котором пишет Г. Волкова. Но разве жизнь — это только удовольствия? Разве думать надо только о развлечениях? Много в прессе печатается статей о недостатках в организации молодежного досуга, но мало, очень мало — о недостатках в организации труда, о том, как молодежи научиться работать, как научиться жить в любых условиях, не теряя чувства собственного достоинства.

Л. В. ЦЫГАНКОВА,
бывший доцент КСХИ,
ныне пенсионер,
Краснодар

«Смену» читаю с 1964 года. Нравится рубрика «Читатель — «Смена» — читатель». Решил вынести часть своей беды, как говорится, на народ — поплакаться на свою судьбу.

Жил я с родителями. Отец — инвалид: в детстве потерял зрение, а позже стали проявляться и нарушения нервной системы. С годами мать стала задыхаться, терять подвижность. Я вынужден был бросить школу и пойти на завод. Было мне шестнадцать. Потом пришло время служить в армии. (Это потом, после службы, сказали, что мог бы при родителях-инвалидах и дома остаться.) Отслужил, вернулся, жениться не решился — родители нуждались в моей помощи, не мог я их бросить. Чувство долга было сильно развито, да и любил я их. Жили на мою зарплату и родительские пенсии. Хватало — запросы у нас были маленькие. Но вот случилась беда — умер отец, а вслед за ним и мать.

И остался я один. Не пью, не курю, домосед, в компаниях бывать некогда было. Замкнулся, ушел в себя. Стал думать, что мне делать: уйти в монастырь? Но там, где я живу, его нет. Запить горькую? Но у меня отвращение к спиртному. Сесть на «колеса»? Жениться? Так стар стал вроде — мне тридцать восемь. И работа потеряла смысл: на кого, для чего работать? Мне-то немного надо. Вот теперь я по-настоящему понял, что такое одиночество среди людей. Если кто-нибудь захочет мне написать — мой адрес: **324047, Кривой Рог, улица 23 лютого, д. 76, кв. 12, ПОЖЕТНОВ.**



среда



ВЛАДИМИР ПИМЕНОВ,
член Союза художников СССР
Фото АЛЬБЕРТА ЛЕХМУСА

ОБИТАНИЯ

Представь себе, дорогой читатель, что живешь ты в маленьком городке (25 тысяч жителей) где-то в середине европейской России. На дворе зима 1990 года. Утром, часа за два до работы, тебе нужно встать и протопить легонько печку, иначе к вечеру температура опустится до +8°С. Пока она топится, можно сходить к колонке за водой. На улице −15°, поземка. У колонки — ледяная гора, ведро не поставишь. Нужно вернуться за ломом. Пока ходишь, вспоминаешь, как летом унесло ветром три листа шифера с крыши и ты пять месяцев подставлял тазы и ведра под капёль с потолка во время дождя и обивал пороги жилуправления, чтобы крышу починили. А тебе отвечали, что у них нет ни кровельщиков, ни шифера, ни сметы на незапланированный ремонт. И это действительно так, и ты завидуешь соседу-частнику, у которого и АГВ, и водопровод, и баня своя, и крыша крепкая. А еще больше завидуешь тем, кто уже получил квартиру в большом государственном доме и ни о чем не заботится.

А потом идешь ты мимо седого в инее кремля на работу, и не в радость тебе эта красота, и опостылела тебе родная спасская сторона. Устал ты так жить.

Да и нельзя так жить в цивилизованном мире в конце XX века. И вот пустеют один за другим городские особняки, доведенные до нищего состояния за десятки лет бесхозности. Для жильцов — не мое, для государства в лице владельца — горисполкома — страшная обуза. Дома старые, требовали капремонта еще 30 лет назад. Денег не было, капремонта не было, теперь они в ветхом либо в аварийном состоянии.

А что делать с бывшим купеческим особняком, бывшим коммунальным шестиквартирным жильем, которое жители покинули? Сдать кому-либо в аренду — не берут, больно ветхое. Продать под снос — охотников много, обычно при особняке земельный участок под сад-огород. Так или иначе, но в конце концов **сносится купеческий особняк.** Нет на нем таблички: «Памятник архитектуры, охраняется государством».

Сам я из города Зарайска Московской области. В этом городе была создана «Повесть о разорении Рязани Батыем», здесь родовое гнездо Бахрушиных, под Зарайском прошла юность Достоевского, здесь выросла, жила и похоронена А. С. Голубкина. Это самые известные имена. Но сильны они подпором менее известных и вовсе безымянных, тех, что составляли мощную питательную культурную среду.

Архитектурно-культурный комплекс города, в свою очередь, сохранял традиционное лицо этноса в своих постройках, где соединялись понятия эстетические и функциональные как выражение «русскости». Мое поколение выросло в городе, спланированном и построенном в XVIII—XIX веках, и поэтому впитало в себя эту эстетику и этот функционализм. Зарайск был создан как модульный целостный организм, соразмерный человеку. Город с «большой буквы». Город как выражение лица нации и времени. Теперь это лицо стирается, хотя нет ни землетрясений, ни войн.

В Зарайске — всего два памятника гражданской архитектуры — кремль и водонапорная башня — и пять сохранившихся церквей. Сооружения настолько мощные, что пока переживают небрежение

и запущенность. Остальная историческая застройка приходит в ветхость и сносится, сносится, сносится... Один пример: на центральной осевой улице Советской из 40 зданий треть снесена или подготовлена к сносу, еще треть — в ветхом, требующем капремонта состоянии, 6 зданий — «новострой» и только 4 из старых — в более или менее удовлетворительном состоянии. От исторического лица улицы остаются воспоминания и старые фотографии...

И вот — сносится купеческий особняк... Что мы теряем при этом? Только ли единицу «жилплощади»? **Мы теряем единицу национальной культуры,** ибо в этот дом было вложено русское представление о красоте жилища, мастерство каменщиков и плотников, ныне утраченное почти совсем. В нем отразилось состояние экономики общества и состояние природной среды. На эти шедевры народной архитектуры я бы давно навешал «охранных табличек», да помогут ли?

Множество этих табличек и по сию пору висит на памятниках архитектуры по большей части культового происхождения либо валяется в бурьяне рядом с разваливающимися стенами. А в храмах — хлевы. Таблички не могут охранять и сохранить строение, если у памятника нет хозяина. Концепция, выраженная в формуле «Памятник архитектуры, охраняется государством», рожденная на заре становления безличной нашей государственности, когда утвердилось в сознании понятие «государственное — значит ничье», оказалась мертворожденной и удобной для пользования тотальным чиновным аппаратом. Во-первых, сам факт наличия «памятника» удостоверяется чисто бюрократическим методом, сопоставлением с инструкцией чиновником определенной категории, так сказать, раз и навсегда. Кто-то когда-то проинвентаризировал наши города, определил «ценность» той или иной застройки. Так мы по этим описям и живем. Во-вторых, если возникает необходимость «памятник» снести, никакая табличка варвара не остановит, ибо другая инструкция требует «согласования» в инстанциях разрешения на снос. А согласовать у нас могут все что угодно, вплоть до затопления целых городов со всеми их «памятниками архитектуры».

Что же касается так называемой «малоценной застройки», то именно эта формула и позволяет сносить старинные строения даже без «согласования», ибо они по бюрократическим нормам под действие этой формулы не попадают.

Очень удобная формула для чиновного человека! Ибо по другим нормам — износ 1—3% в год — любой чиновник с легкостью необычайной подпишет решение на снос любого строения, простоявшего более ста лет, ибо «таблички» нет, а износу — более 100%! «Более 100% износу» — это уже как бы выбрасывать пора?.. А если учесть, что множество этих строений доведено до аварийного состояния, не стоит удивляться, что на семьдесят третьем году Советской власти столетние особняки массой идут под снос. Через 20 лет их, может, совсем не останется, если мы по-прежнему будем пользоваться этими инструкциями и этим же обезличенным правом владения.

За доведение здания до аварийного состояния не отвечает никто. Жильцам оно не принадлежит, и поэтому они даже не имеют права производить капитальный своевременный ремонт. Горисполк-





ком и его службы давно на такие строения махнули рукой, потому что на их модернизацию средств не было и нет, а жители этих «коммуналок» давно стоят на учете в списках очередников на жилье. Стоят в конце списков лет по 20—25. Этим обреченным на бесперспективное многолетнее ожидание страдальцам ничего не остается, как собственными руками доводить собственное жилье до состояния аварийного — единственный способ получить «нормальную» госквартиру вне очереди. Жильцы вскрывают местами крышу, льют воду на чердаки, гноят полы... Дело доходит и до поджогов собственного жилья — чисто советская категория «поджогов».

Как с этим бороться? То есть что делать, чтобы остановить вандализм разрушения и повернуть интерес к сохранению нашего недвижимого наследства?

В планах перспективного развития города и в анонимной предвыборной платформе, опубликованной в местной газете, нет ни строки о сохранении, восстановлении или модернизации исторической застройки. Зато есть четкие строки о запланированном сносе ветхого жилого фонда. Кричать караул?! А кто придет на помощь? Только мы сами.

И мы решили объединиться. Те, которым старый город дорог. Как будет называться общество по спасению старого Зарайска, я еще не знаю. Но пора от слов переходить к делу. С тем, что город находится в плачевном состоянии, согласны все. Но, когда ответственные люди предлагают спасать его субботниками и привлечением мизерных средств предприятий, приходится сомневаться в компетентности этих руководителей, способности осмыслить про-





блему. И если они считают, что на восстановление старого города потребуется 25 млн. рублей и соответствующих лимитов, то и надо изыскивать именно столько средств и столько лимитов.

Для того, чтобы руководители усвоили, что можно и город спасти, и проблему жилья решить, чтобы бороться с ведомственным строительным диктатом, запрограммированным на безликую стандартизацию, мы и создаем свое общество.

Соображения экономии на строительстве «дешевого» жилья придется отбросить, ибо, когда речь идет о сохранении лица нации, о сохранении среды воспитания души русского человека, соображения экономии неуместны.

Только сохранив национальную эстетику, национальную гордость, мы можем сохранить «русскость» как качество нации. И только в этом качестве мы достойны быть представлены в интернациональном общежитии планеты.

Мне кажется, во-первых, необходимо поставить законодательный заслон перед чиновным аппаратом — объявить всю зону исторической застройки «памятником городской культуры и архитектуры» с безусловным запретом на необоснованный снос, а если снос необходим, то с безусловным восстановлением прежнего архитектурного облика. Я полагаю, что это можно сделать решениями местных Советов народных депутатов, не дожидаясь постановлений и инструкций сверху.

Во-вторых, передать права собственности сохранившимся жителям сохранившихся особняков на эту недвижимость. Я не оговариваюсь, предлагая «передать», а не «продать», как уже декларируется (но я не слыхал, чтобы делалось), что квартиросъемщик имеет право выкупить у государства свою собственную квартиру в обычном многоквартирном доме. И не просто передать, а еще передать смету, средства и лимиты на стройматериалы в дополнение к недвижимости, взяв в обмен только обязательство произвести капитальный ремонт и модернизацию строения с непременным сохранением внешнего облика здания. А может, предложить это и любым желающим на таких же условиях.

В-третьих, переориентировать государственное капитальное строительство жилья на возведение малоквартирных городских особняков, по подобию сохранившихся, на уже имеющихся пустырях и на месте сносимой аварийной и ветхой застройки. Возводимые эти особняки продавать частично или полностью, сразу или в рассрочку желающим очередникам или жителям государственного либо частного сектора, чтобы пустить в оборот их накопления и приращивать строительный капитал.

Если мы не сделаем этого, если мы по-прежнему будем уповать на решение жилищной проблемы, которую отчасти создали сами, не сохраняя, не модернизируя старый жилой фонд, только средством возведения безликих многоквартирных жилых домов, лет через двадцать среда обитания начисто будет обезличена. И это произойдет практически везде, на огромной поверхности земли России, в восьмистах ее малых городах, которые и есть средоточие национальной культуры. (Именно в них сохранялся и набирал силу цвет нации, именно они были живыми источниками, из которых черпала силу духовная жизнь столиц.)

Национальной архитектуры

в малых исторических городах осталось так мало, что уже каждое старое здание, несущее черты стиля времени и национальной принадлежности, является исторической культурной ценностью. Каждое здание — ценность! Если мы во имя безродного «светлого будущего» утратим остатки русской культуры, если мы из соображений скорой «экономии» решим, что построить 20 стоквартирных домов выгоднее и возможнее, чем 200 десятиквартирных особняков, и запланируем это — мы тем самым обречем на умирание старый город. Другой возможности спасти его, кроме как перепланировать крупную часть государственных капитальных вложений на его восстановление, реконструкцию и модернизацию,— нет.

20 лет — миг для истории — оставлено нам на реанимацию национального архитектурного организма до мгновения его клинической смерти. Отдаем ли мы себе в этом отчет?

Пора по-другому мыслить, по-другому планировать, по-другому финансировать. Пора набраться мужества стать гражданами наших дряхлеющих градов!

...А пока мы дискутируем, многострадальный житель ветхого особняка спешит с работы, чтобы успеть как следует натопить печь, наносить воды для стирки, починить сортир во дворе — на ремонт сортира он право имеет — и успеть уснуть в тепле, ибо утром будет холодно, нужно встать часа за 2 до работы, натопить печь...

Жутковатая жизнь...

КОНСТАНТИН ТИНОВИЦКИЙ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

— Ребята, правый и левый ботинки не путать. Смотрите буковки. «П» — на какую ногу?

— На правую, на правую,— кричат ребята наперебой.

— Правильно. Молодцы... Второй класс,— обращается Владимир Иванович Яшуничкин ко мне,— путаются еще.

В 62-й московской вспомогательной школе-интернате живут и учатся дети «без попечения родителей». Таково официальное название, а сказать проще, это либо брошенные — «подкидыши», либо те, чьи отцы и матери лишены родительских прав.

— Ребята, все помните, где ваши лыжи, ботинки стоят? Разбирайте, садитесь на свои места. Наташа, забыла, где твои лыжи? Ничего, найдем,— говорит Яшуничкин.

Группа небольшая — двенадцать человек. Нет обычного школьного гвалта, сопровождающего переодевание на «физ-ру». Те, кто уже переоделся, помогают отставшим.

— Владимир Иванович! А Коля ботинки наоборот надел.

Коля Горшков — самый маленький. Он сидит, вытянув ноги в перепутанных ботинках, и не понимает, в чем его ошибка.

— Ты, малявка, всех задерживаешь,— кричит мальчик со скошенным взглядом.

— Сам дурак,— спокойно отвечает маленький Коля.

— Не обзываться,— весомо, хоть и негромко, произносит учитель.— Это нехорошо. Аня, помоги, пожалуйста, Коле. Шапочки у всех есть? Прекрасно. Варежки не забывать!

Выходят на лыжню, учатся пристегивать лыжи к ботинкам. Справляются с этим довольно легко. Правда, им помогают двое дежурных старшеклассников. По-



Фото ИГОРЯ ГАВРИЛОВА

катили без палок по учебному кругу. И потеют лбы, и розовеют мордашки, и блестят глаза! Все как в обычной школе, пожалуй, только учитель предельной собранностью и цепким неотрывным взглядом слегка напоминает парней из группы безопасности президентов. Ему, учителю, расслабляться непозволительно. Нужно быть готовым к любым проявлениям, выплескам поврежденной психики. Дети больны, причем больны поразному: слабоумие имеет сотни форм.

Я просматриваю истории болезней — в основном отказные дети. Читаю: третья, четвертая, пятая беременность. Матери алкоголички, дебилки... У этих женщин плохой самоконтроль, полная безответственность. Забеременела, родила и бросила...

Но есть и другие, вполне здоровые, нормальные, даже с высшим образованием. Поступки **этих** вызывают особый гнев медицинского и педагогического персонала интернатов: «Почему государство должно брать на себя не только воспитание, но и полное обеспечение ребенка? Пусть такие мамаши платят алименты!» Возможно, что это и справедливо. Но в первую-то очередь ребята обделены не материально...

На вопрос анкеты: «Если бы бог в самом деле существовал, что бы ты у него попросил?» — 95% старшеклассников ответили: «Найти родителей».

Несколько дней подряд прихожу в интернат, пытаюсь вникнуть в эту жизнь.

...Две пятиклассницы что-то не поделили между собой. «Ты собес»,— обзывает одна другую. Что за «собес»? Дело вот в чем: во вспомогательных или специальных школах учатся дети с диагнозом «олигофрения в степени дебильности» — самая легкая степень умственной отсталости. После восьмилетки, соответствующей приблизительно четырем классам обычной школы, выпускники направляются в специальные классы ПТУ, где их обучают на обувщиков, швейников, брошюровщиков. Тресты столовых готовят из них младший обслуживающий персонал. Многие из этих ребят со временем адаптируются к условиям взрослой жизни и получают все гражданские права. «Собесы» же — имбецилы, это следующая стадия слабоумия. Они обречены всю жизнь существовать на пенсию по инвалидности и государственное пособие в размере 30 рублей. На прозябание в инвалидных домах...

Большинство работающих в интернате — педагоги со стажем.

— Опыт, конечно, играет большую роль, но не менее важно, чтобы человек излучал ненаигранную доброжелательность, спокойствие, был обаятелен. Вы наверняка встречали таких людей — поговоришь с ним и вроде успокаиваешься,— делится Любовь Ивановна Архипкина.— Вот такую бы мне молодежь!

Много лет назад, когда ее, директора обычного интерната, поставили перед фактом: «Принимай, Архипкина, новый контингент»,— она растерялась и даже обиделась. За что же, мол, такое наказание? Несколько месяцев она буквально боролась с собой, заставляла себя ходить на работу, привыкала к детской беспомощности...

Но прошло время, и директор добилась того, чтобы на школьных уроках труда к столярному, слесарному, швейному ремеслам добавились кулинария, сапожное дело, макраме. «Узаконила» она



их потом, а сначала, не убоявшись неприятностей, пошла на нарушение программы. Ныне в интернате есть и компьютерный (!) класс, где инженеры из МГУ обучают старшеклассников простейшим операциям на ЭВМ.

В интернате любят вспоминать выпускников, которыми можно гордиться. Сколько сил вложено! Один освоил на производстве итальянский станок и даже получил звание ударника, другая — передовица в швейном цехе...

— Олигофрены весьма старательны. На работе, не требующей мгновенной реакции и абстрактного мышления, они могут быть полезны,— считает доктор наук врач-генетик Марина Генриховна Блюмина.— Но нельзя их бросать на произвол судьбы! Как личности они все же незрелы...

...Из магазина спорттоваров Владимир Иванович вернулся совершенно счастливый — привез полный микроавтобус амуниции.

— Мечтаю, чтобы все ребятишки интернатовские были «по фирме» одеты.

— У нас дома так дети не одеты, как здесь,— бросает кто-то из персонала.

— Это верно,— соглашается Яшуничкин,— и сыты, и обуты, и одеты, как не во всякой семье. Обеспечение у нас неплохое; шефов много — деньги есть. Нужные товары не всегда бывают, но, в общем, грех жаловаться. Мои коллеги из вспомогательных школ, где дети только учатся, а живут дома, в худшем положении. Товары-то они так же, как и мы, получают по безналичному расчету, но на них распространяется лимит, а на нас нет. Исчерпал, скажем, магазин годовые фонды, и не купишь ничего по «безналичке». А ведь дети-то там, как и у нас, больные...



— Ко мне порой обращаются с просьбами об усыновлении,— но я не спешу соглашаться,— рассказывает Любовь Ивановна. Ребенок все-таки больной, а вдруг не приживется в чужой семье — что тогда? Советую в таких случаях постепенно налаживать отношения: пусть он к вам в гости сходит, потом — вы к нему. И не раз, не два. Полезнее будет, если вы поможете, говорю я этим людям, когда мальчик или девочка закончат интернат. (Ведь дети наши по окончании получают жилплощадь, так положено по закону.) Пятнадцать лет — сложный возраст, тут взрослый глаз нужен. А когда у ребенка своя комната, это очень здорово, значит, больше шансов в будущем создать собственную семью. Вы обратили внимание, многие ребята отнюдь не отталкивающей внешности...

Одна из старейших спецшкол Москвы, № 111. Ее молодой руководитель, Сергей Сидоров, только в прошлом году принял бразды правления. По окончании факультета дефектологии успел поработать и учителем, и заместителем директора по хозяйственной части. Личные проблемы подопечных для него не тайна — сами ребята доверяют ему их, зачастую ставя молодого педагога в затруднительные ситуации.

— Приходит ко мне 15-летняя девочка, выпускница,— рассказывает Сидоров.— «Посоветуйте, Сергей Михалыч, как быть? Познакомилась с парнем, он строитель, «лимитчик». Нравится мне, со временем вышла бы за него замуж. И я ему симпатична. И жить есть где — у меня комната. Но не могу ему признаться, что закончила вспомогательную школу. И сама толком не знаю — имею ли право иметь детей, будут ли они полноценными?» Вот ситуация! Обманы-



вать парня нельзя, но и решительно потребовать от девочки, чтобы она перечеркнула свой единственный, быть может, шанс, тоже язык не поворачивается...

И в самом деле призадумаешься. Выпускники и выпускницы нередко приходят в бывшую свою школу с потомством. Одни, чтобы погордиться здоровыми детьми, другие, увы, приводят второе поколение олигофренов... Чтобы трагедии не повторялись, необходимы консультации медиков-генетиков, а их — страшная нехватка. Не все знают, что олигофрения не болезнь, а состояние, вызванное болезнью. «Олигофрения» переводится как «малый ум». Чтобы не страдали следующие поколения, необходимо разобраться: где виной ущербные гены, а где — психические изменения коснулись только одного индивида вследствие, скажем, родовой травмы.

По мнению М. Блюминой, поражение мозга плода или ребенка в раннем возрасте не менее чем в 75 случаях из 100 объясняется наследственностью. Остальные 25 — родовые травмы, нейроинфекции (менингиты), интоксикации. (А ведь и в загсах у нас справки о состоянии здоровья при регистрации брака не требуют.) По данным Государственного комитета по народному образованию, в специальных школах в прошлом году обучалось 455 тысяч умственно отсталых детей. За год цифра эта увеличилась на 19 тысяч.

В кабинете Сергея Михайловича наблюдал такую сцену: мама с девочкой; диагноз «дебильность» написан, что называется, у ребенка на лице. Девочка замкнута, в массовой школе одноклассники травят ее, как зверька, но мама категорически против перевода — лучше пускай мучается в массовой

школе, чем потом получит запись в аттестате об окончании специальной.

— Для того, чтобы такого не происходило,— размышляет Сидоров,— надо официально приравнять аттестат об окончании специальной восьмилетки к четырем классам массовой школы. Тогда у нашего выпускника появится возможность поступить в пятый класс вечерней школы. Это будет реальный аттестат. Родители недооценивают того, что наша школа адаптирует учеников к жизни. У нас ведь есть специальный предмет — социально-бытовая ориентация.

Такой предмет, кстати, не помешал бы и в обычной школе. Ребятам задавались вопросы: где вносится плата за квартиру, какое наказание следует за хулиганство в общественном месте, какова ответственность за прогул на работе? — своеобразная правовая и бытовая «угадайка», минимум необходимых знаний.

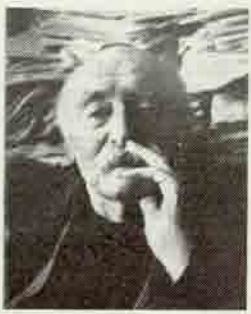
...Недавно снова зашел в 111-ю московскую спецшколу. Сидоров выглядел совершенно счастливым.

— Был в магазине. Не поверите — заведующий твердо обещал, как только появятся нужные товары, связаться со мной. Пока у них лимиты не кончились...

Страна тотальных дефицитов и лимитов. Во сто крат больнее сказываются они на тех наших сограждан, что волей судьбы оказались на обочине жизни. Для них — сирых и убогих, но живых, страдающих и любящих, самый страшный из дефицитов — дефицит милосердия, участия, доброты.

Для всех нас, впрочем, самый страшный...

ЧТО



Ю. СОЛНЫШКОВ: — Семен Николаевич (Эрнст Генри — псевдоним С. Н. Ростовского.— **Ред.**), вы человек, который предсказал вторую мировую войну. И не только предсказал, но и обозначил ход ее в своих знаменитых книгах «Гитлер над Европой?» и «Гитлер против СССР» (первая издана в 1935 году, вторая — в 1937-м). Трагично, что в стране грядущее фашистское нашествие воспринималось многими с позиций писателя Нико-

ОСТАВЛЯЕМ БУДУЩЕМУ?

Об этом размышляют публицист

ЭРНСТ ГЕНРИ

и профессор ЮРИЙ СОЛНЫШКОВ



лая Шпанова. Помните его книгу «Первый удар. Повесть о будущей войне»? Чего стоит хотя бы такой пассаж: «Сегодня, 18 августа, в семнадцать часов крупные соединения германской авиации перелетели советскую границу. Противник был встречен частями наших воздушных сил. После упорного боя самолеты противника повернули обратно, преследуемые нашими летчиками...». Потом идет рассказ, как советские бомбардировщики громят объекты на территории противника. И уже в три часа ночи поступает доклад: «Советская авиация, оберегая Красную Армию от ударов германской авиации, содействовала продвижению Красной Армии через границу»...

Э. ГЕНРИ: — О будущей войне высказывались разные домыслы. Существовал, как теперь говорят, плюрализм мнений. Однако самое важное в том, какова была офици-

альная точка зрения. Вот, например, слова из речи наркома обороны Ворошилова на митинге в Киеве 16 сентября 1936 г.: «...все трудящиеся так должны себя воспитывать, так организовывать защиту нашей Родины, что, если противник появится, бить его обязательно на его территории». Наверное, такая позиция и была главной причиной, по которой книгу Н. Шпанова выпустили массовым тиражом в серии «Библиотека командира», а мою книгу гораздо скромнее издал Соцэкгиз...

Ю. С.: — Семен Николаевич, предсказывать будущее не только сложно, но... и крайне опасно. После издания антигитлеровских книг гестапо занесло ваше имя в черный список: нацисты намеревались арестовать вас и уничтожить.

З. Г.: — Конечно, заглядывать в завтрашний день во все времена было рискованным занятием. Как в Древней Индии поступали с предсказателем-неудачником из касты брахманов? После третьей ошибки с завязанными глазами и со связанными руками отводили в джунгли на съедение тиграм. Ну, а в тридцатые годы нашего столетия после любого варианта предсказания в области политики ты становился врагом целого государства.

Ю. С.: — А что вы испытали, когда предвидение ваше стало осуществляться?

З. Г.: — Подумал: можно было бы посмеяться над теми, кто мне не верил. Но сильнее всего было чувство горечи и сожаления, что к моим предостережениям не прислушались.

Ю. С.: — «Раскрутим» беседу нашу еще дальше в прошлое: с чего начался журналист-международник Эрнст Генри? Ведь вы родились в России...

З. Г.: — ...а юношей нелегально переехал в Германию. Был международным курьером Коммунистического интернационала молодежи. При переходе границы приходилось и прятаться в трюме парохода, а иногда просто откупаться от пограничников. Правда, в то время пересекать границы было не очень сложно... В 1923 году начал работать как публицист-международник. Осенью этого же года меня посадили в Моабит. В дни прихода к власти Гитлера находился в Берлине. В 1933 году в Лондоне написал свою первую антинацистскую книгу: «Гитлер над Европой?», которая вышла на русском языке, если не ошибаюсь, в 1935-м... Когда свершилась «мюнхенская сделка», находился в Париже. Во время разгрома немцев под Сталинградом, в 1943 году, был в Москве. А День Победы встретил в Лондоне...

Но не пора ли нам, Юрий Степанович, приблизиться к дню сегодняшнему...

Ю. С.: — В последнее время все больше утверждается мнение, что многие трудности перестройки порождены недостатком культуры. Культуры в самом широком смысле. Но в первую очередь имею в виду культуру мышления: если человек собирается принять решение, стоит подумать предварительно, какие сведения собрать, что учесть, что рассчитать, с чем сравнить и т. д. Это основы рациональной деятельности. Уровень образованности, культуры и определяет в конце концов компетентность принимаемых решений... Кипят страсти по поводу того, как выводить страну из экономического кризиса. Одни требуют немедленного перехода к товарно-рыночной экономике. Другие настаивают на сохранении (хотя бы частично!) административно-командной системы управления экономикой — требуют

«железной руки». Что выбрать?

З. Г.: — Сейчас многие — и крупные хозяйственники, и парламентарии, и члены правительства, и ученые — находятся на перепутье. Я бы сказал, в некой «задумчивой растерянности»... Хотя спорят до хрипоты. Есть ли у нас материальные ресурсы, чтобы предотвратить сползание к краю пропасти? Наверное. А соответствующие знания? Их-то как раз явно недостает. Когда начали говорить об этом во весь голос? Еще в 1922 году. На XI съезде РКП(б) Ленин сказал, что у многих ответственных работников-коммунистов культура управления просто мизерная и жалкая. Изменилось ли положение дел сегодня? В последнее время раздаются голоса, доказывающие, что утвердилась своего рода «диктатура посредственности». Говорят и о том, что поставленные задачи не будут выполнены, если не создать условия, при которых одаренные, толковые люди возглавят дело на всех уровнях и направлениях нашей деятельности.

Ю. С.: — ...Сказано: если слепого поведет слепой, то оба упадут в яму... Обещаниям, что в будущем жить станем лучше, сегодня мало кто верит. Тем более о том, как совсем неплохо живут некоторые наши сограждане уже сегодня, знают наверняка все... Может быть, следует приступить к разработке целевой комплексной народнохозяйственной программы: «Минимум жизненных условий — каждому». Но готовить ее не так, как, например, «Жилье-2000» или Продовольственную программу. А обеспечить ресурсами.

Невозможно решать сложные задачи нашей перестройки без отряда лидеров, обладающих широким кругозором, хорошо знающих свое дело и готовых отвечать за свои действия. А то ведь до абсурда дело доходит: например, один из зампредсовмина страны недавно откровенно признал, что руководство понимало: выдвинутая им программа по развитию машиностроения нереальна. Но в плановые документы эту «нереальность» тем не менее включили. Куда уж дальше?

З. Г.: — Значит, к руководящей деятельности людей нужно специально готовить... Но ведь перестройка — это дело не только руководителей. Оно — наше общее. Учиться, и как можно скорее, необходимо всем нам... И давайте внимательно прислушаемся к тем рекомендациям, которые высказывают наши и зарубежные специалисты. Попробуем более или менее объективно сопоставить «плюсы» и «минусы» каждого из них. Ведь речь идет о выживании страны. Пора перестать думать, как сказал один американский политолог, что Запад подсовывает нам «троянского коня». Он, Запад, хочет видеть Россию нормальной цивилизованной страной, с которой было бы по-настоящему выгодно торговать и сотрудничать.

У товарно-рыночной экономики, которую мы намерены создать, есть много преимуществ. Прежде всего она открывает дорогу самостоятельности и инициативе. И здесь слово за молодыми. Именно на их плечи ложится труднейшая ноша: страна с подорванной экономикой, с обнищавшим народом. (Думаю, в ближайшее десятилетие манны небесной не предвидится — в XXI век войдем трудно, с острейшими проблемами.)

Многим из сегодняшних молодых суждено вскоре стать руководителями. Разумеется, уровни будут разные, но вести людей за собой придется каждому из них. Готовятся ли они к тому, чтобы

убеждать людей в правильности своих предложений? Будут ли способны отвечать на острые вопросы сограждан?

Ю. С.: — ...Лет двадцать с лишним назад меня несколько удивила информация о том, что большинство американцев все время учатся: кто в школе бизнеса, кто на курсах молодых отцов, еще где-то. Позднее, как мне кажется, я понял, почему так происходит. В США система образования ориентирована на подготовку человека по трем основным направлениям: как гражданина, как члена семьи и как специалиста... Не случайно у них даже появился термин «период полураспада компетентности». Это промежуток времени, за который половина ранее приобретенных знаний устаревает.

Как реагировали американцы на то, что первый искусственный спутник Земли запустила наша страна? Прежде всего увеличили ассигнования на нужды образования. И если сегодня на подготовку специалиста в вузе у нас затрачивается до 5 тысяч рублей, то в США — не менее 80 тысяч долларов... Наверное, образование и воспитание и есть ключ к решению большинства нынешних проблем.

З. Г.: — Было время, когда нравственным идеалам российской интеллигенции подражали в других странах... История учит, что в духовной сфере быстрых изменений в лучшую сторону не происходит.

Ю. С.: — И социум меняется не сразу. Годы нужны...

З. Г.: — Помнится, у Достоевского герой одного из романов говорит, что социалисты все предусмотрели с помощью логики, но не учли одного — натуры человека. Она-то и преподносит нам сегодня неожиданности, одну за другой...

Ю. С.: — Нагорный Карабах, Молдавия, Фергана, Тбилиси, Баку... Взрыв экстремизма в суждениях и действиях; не всегда разумные и эффективные дебаты на сессиях нашего парламента; забастовки; рост преступности, коррупции; страх перед завтрашним днем...

З. Г.: — Перечень можно продолжить. Суть не в этом. Меня беспокоит иное: нерешительность. Мы все время (и в самых верхних эшелонах власти) твердим: медлить нельзя! И медлим, чего-то ждем... Чуда?! Во время пожара или наводнения (а у нас в стране сходная экстремальная ситуация!) не митингуют, а быстро принимают решение и действуют. Эта мысль первой приходит в голову, когда мы слышим, как лица, облеченные властью, высказываются о необходимости остановить процесс организованного развала. Найдите же, наконец, кто его организует, и примите меры!

Ю. С.: — Какие? Закрутить «гайки»?

З. Г.: — Да нет же... Но и самый лучший оркестр не сыграет ничего путного, если не будет следовать указаниям своего дирижера. Можно предварительно обсуждать, что сыграть. Каждый музыкант должен иметь право сказать по этому поводу все, что считает нужным. И, разумеется, отвечать за сказанное. Но после того, как обсуждение закончено и решение принято, извольте его неукоснительно выполнять. Демократия — это не только права, но и обязанности. В том числе обязанность руководителя твердо проводить в жизнь решения, принятые по воле народа.

Ю. С.: — Воля народа... Сегодня это самая реальная, движущая сила в переустройстве общественной, государственной жизни. Пример тому — события в странах Восточной, Центральной Европы...

З. Г.: — Не следует забывать, что мы навязывали этим странам свои представления о «светлом будущем». Например, решение о строительстве социализма в ГДР по нашему образцу было принято сталинским руководством... Отто-го можно только радоваться краху авторитарных режимов и нашей в какой-то мере сегодняшней причастности к этому. Не случайно Чаушеску говорил о том, что все происходящее в ГДР, Чехословакии и Болгарии, а до этого происшедшее в Польше и Венгрии, организовано Советским Союзом с помощью Америки и Запада. (Правда, не знаю, как найти оправдание факту вручения диктатору ордена Ленина в 1988 году. Наверное, это удивило людей не меньше, чем награждение румынского короля Михая орденом «Победа» в конце Великой Отечественной войны.) Разумеется, наша перестройка была детонатором. Однако революционные перемены в этих странах (как и у нас) назревали давно... Сегодня стремление тоталитарных режимов сохранить господство обречено на провал. Клану Чаушеску не помогли ни огромный аппарат подавления народа, ни заблаговременно разработанный план, ни тысячи отборных стрелков и заранее подготовленные огневые точки...

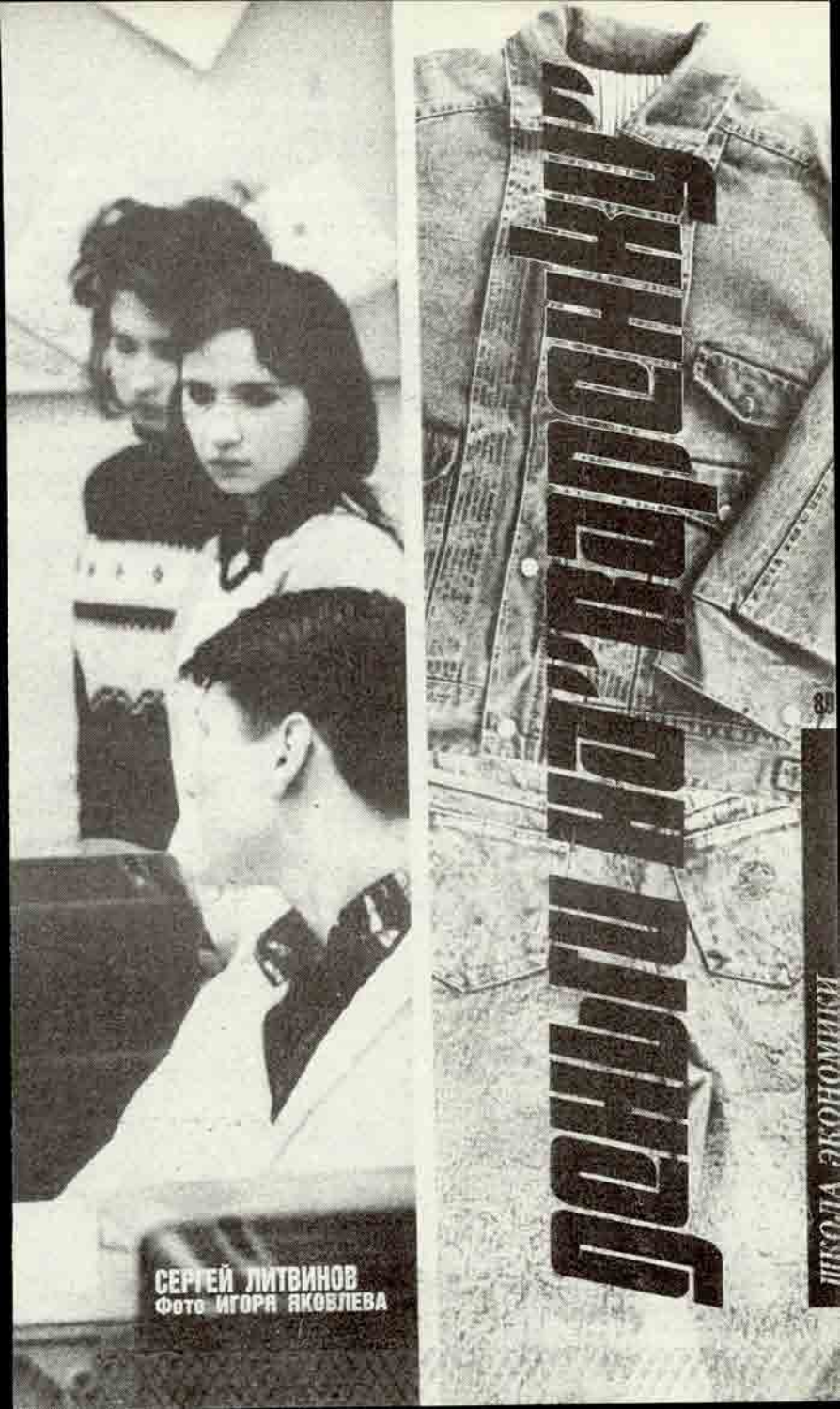
Ю. С.: — А «коммунист» Живков считал, что «с оппозицией нельзя спорить, ее надо раздавить, как гадюку». В оппозицию он включал всех, кто требовал позитивных реформ. Хорошо, что перемены в Болгарии произошли без крови и насилия... Как и в Чехословакии, где в дни «бархатной революции» не было разбито ни одной витрины...

И как же на этом фоне выглядели мы? Гражданская война в Закавказье, вспышка экстремизма в Средней Азии, стремление Прибалтийских республик отмежеваться от Союза. Плюс к этому углубление экономического кризиса, социальная и правовая незащищенность...

З. Г.: — Похоже, выпрыгнули из окопа, крикнули: «Вперед! За мной!» А потом сами отстали от бегущих. Почему? Причин много. Но когда хочу найти главную, вспоминаю народную мудрость: «Деньги потерял — ничего не потерял. Друга потерял — потерял половину. Веру потерял — потерял все!» Дай же нам Бог не разувериться... Но думаю так: если молодые не возьмутся засучив рукава за расчистку разного рода завалов, то даже такие «исторические оптимисты», как я, могут утратить надежды на лучшее.

...А вообще интересно, как бы мы сегодня ответили на давний вопрос академика В. И. Вернадского: «Кто исчислит тот вред и то ужасное наследство, которое мы оставляем будущему?»





ДОНИМ КАРМАРЕНКИ

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ
Фото ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА

Мой знакомый вернулся из Америки. Жил в семье состоятельного адвоката. Рассказал: двенадцатилетний сын хозяина каждый вечер моет в ресторанчике посуду — на машину зарабатывает.

А в нашем микрорайоне подростки развлекаются так: сядут в кольцевой автобус и ездят вечер напролет, в карты играют...

Мне доводилось уже два года назад писать на тему «подросток и работа». После публикации пришло много писем, которые подтверждали: да, в УПК ребята бездельничают или халтурят; да, скучные уроки «производительного труда» подростков не «греют»; да, устроиться на временную работу школьнику практически невозможно.

Переменилось ли что-нибудь за два года?

Я попросил сотрудницу отдела писем Валерию Галлай обзвонить московские бюро по трудоустройству, представиться десятиклассницей (лукавство невеликое: Валерия только что закончила школу) и попроситься на временную работу. Уверен был в полном неуспехе. Еще в 1987-м (равно как и десять, двадцать, тридцать лет назад) подростку подработать было невозможно. Однако в тот же день Валерия дала мне список:

Краснопресненский район

— могут взять санитаркой в больницу;

Фрунзенский район

— предлагают место уборщицы в столовой;

Киевский район

— для школьников есть вакансии на фабрике-прачечной, сортировать и комплектовать чистое белье;

Красногвардейский район

— приглашают в больницу санитаркой или на почту разносить телеграммы.

И так далее...

Позже я узнал: теперь любой школьник, которому исполнилось 14 лет, может заработать деньги если не на машину, то уж на «варенки» — точно. Сейчас временно трудятся около 240 тысяч подростков. Это, конечно, здорово. Однако в стране только старшеклассников 11,5 миллиона. Работают, стало быть, лишь два школьника из ста.

Появилась и новая (вернее, прочно забытая старая) форма организации работы подростков: ученические кооперативы.

Их в стране уже около пяти тысяч и с каждым месяцем становится все больше. Чем такой труд хорош? Об этом я говорил с председателем Ассоциации кооперативов учащихся СССР Викторией Валерьевной Бутенко и со специалистами Академии педагогических наук СССР Ириной Абрамовной Сасовой и Виолеттой Ивановной Родичевой... Суммирую их мнения.

Во-первых, подросток может честно заработать (80 процентов юношеских преступлений — на экономической основе). Во-вторых, кооперативы воспитывают трудолюбивых и предприимчивых людей. (В 1928 году, когда ученические кооперативы в стране были весьма развиты, журнал «Просвещение» писал с плохо скрываемой досадой: «Со школьной скамьи в голову ребенка внедряется: «торговля», «капитал», «оборот», «прибыль» и т. п. атрибуты торгашества». Тогда школьную кооперацию удушили. Административной системе нужна была не предприимчивость, а исполнительность.) В-третьих, у школьника хорошие шансы обучиться в кооперативе профессии. В-четвертых,

питомцы кооперативов намного лучше разбираются в экономике, чем школьники, в них не работающие. (Специалисты проводили опрос: владеют ли выпускники школы терминами «самофинансирование», «хозрасчет», «себестоимость», «калькуляция»... Выяснили: среди обыкновенных подростков в этом разбираются три — пять процентов, а из тех, кто поработал в кооперативе — 80—100 процентов.) В-пятых, кооперативы в отличие от школьных заводов и УПК ни копейки не берут из казны и у предприятий.

После этого я побывал в нескольких московских кооперативах учащихся. Да, ребята зарабатывают весьма неплохо. В кооперативе «Данко» (548-я школа), например, платят по расценкам шестого разряда. Почему так много? Наверное, кооператив вздувает цены? Ничуть не бывало. Продают изделия по государственным расценкам. Просто там минимум управленцев, и не содержит он на своей шее ни главк, ни министерство — вот и может своим рабочим заплатить.

Разговорился с восьмиклассником Русланом Габидуллиным.

— Много зарабатываешь?

— Сегодня, за шесть часов — одиннадцать рублей.

Уточним: работает Руслан два-три раза в месяц — когда есть охота и свободное время. И если уж пришел — лодыря не гоняет, от верстака не отходит.

В кооперативе «Желание» беседовал с семиклассницей Улей Трифонцевой. Уля сшила семь фартуков. Знает: пятая часть от дохода (фартуки эти сама же и продала на школьной ярмарке) принадлежит ей.

Чем еще занимаются мальчишки и девчонки? Шьют рукавицы, вяжут мочалки, мастерят доски разделочные... А ведь способны ребята и электронные изделия собирать, и сложные приборы делать, но нет в наших школах необходимого оборудования, а предприятия относятся к работе подростков с нескрываемым подозрением — потому и заказов не дают.

Так что до Франции, где действуют 50 тысяч школьных кооперативов, объединяющих 2 миллиона учащихся, нам все-таки далеко.

«Кооператор» — слово нынче почти бранное, вот и не хотят учителя этим заниматься. А если решатся, практически невозможно получить кредит, его дают «подо что-то», а какая собственность у школы... Ольга Владимировна Дородникова, председатель кооператива «Желание», начинала свое дело так: она да еще две женщины-пенсионерки (взрослых в кооперативе трое) скинулись по триста рублей на покупку материалов. Хорошо, что не поскупились, рискнули...

Налоговые льготы школьникам предоставляют далеко не всегда (кооперативы учащихся м о г у т освобождаться от налога, записано в Законе о кооперации, да только не значит это, что д о л ж н ы). Исполком, например, Оловянинского района Читинской области дал школьникам самый большой налог среди 21 местного кооператива: аж 45 процентов...

А сырье? В начале своего дела поехала Дородникова по московским фабрикам ткани искать. Не дают нигде, хоть плачь. Тертые кооператоры Ольге Владимировне нашептывали: «Да ты подари сбытовикам духи французские — сразу сырье найдется». Но перед детьми надо за каждый рублик отчитываться, не скажешь же ребятишкам, что деньги на взятку потрачены... Раздобыла наконец ткани — в Ивановской области да

во Владимирской. Розничную цену заплатила, не оптовую — не смотрят на фабриках, что продают детям, смотрят, что — кооперативу. Да и зарегистрироваться проблема. Несостоявшийся председатель рассказывала мне: «Пришла я в исполком, выстояла очередь, а инспектор посмотрела документы, да как рявкнет: пять тысяч оборот! Смеетесь, что ли! Буду я такими пустяками заниматься!.. Так и не зарегистрировала». Но главная причина, почему в регистрации отказывают: «Вы станете эксплуатировать детский труд».

Инструктор ЦК ВЛКСМ Леонид Кравченко (он хорошо знает о «бдительности» исполкомовских работников) сказал: «Я в десятках школьных кооперативов бывал... Ребята рвутся к настоящей работе. Когда ученик получает от государственного предприятия три копейки за сшитую им на уроке производительного труда пару рукавиц (в кооперативе получил бы в пять раз больше!), кто недоплачивает ему? Кто произведенный им продукт присваивает?»

...Только вот какая появилась проблема: не хотят старшеклассники работать. Я раньше думал: лишь только отменят бессмысленные запреты на труд подростков, они все кинутся подрабатывать. Ничуть не бывало! Посетил я шесть московских кооперативов учащихся, хотел найти в них хоть одного старшеклассника. Нет их, хоть убей! У станков и швейных машин четырнадцатилетние — самые взрослые.

По опросам специалистов, в 1977 году 15 процентов старшеклассников считали своим идеалом праздную жизнь и развлечения, а десять лет спустя таких стало в три с лишним раза больше.

Да не вина это шестнадцатилетних — беда. Ученые-педагоги утверждают: ребенок должен начинать по-настоящему трудиться с восьми-девятилетнего возраста; малыши всегда рады работе. И, повзрослев, они не перестанут получать от труда удовольствие. Если же упустили время — приохотить к работе сложно. Пять лет назад школьных кооперативов не было. Десятилетки ходили тогда неприкаянные. И выросли, так и не изведав вкуса труда.

Зато за сегодняшних пятиклассников, валом валящих в школьный кооператив, стоит только ему открыться, можно не волноваться: не станут лентяями.

...Виктория Бутенко, председатель Ассоциации кооперативов учащихся СССР, в одной из поездок спросила в выпускном классе:

— Кто в свободное время работает?

Взметнулось двадцать рук. Все девушки по вечерам детишек чужих нянчат, а юноши газеты разносят, газоны стригут, посуду моют в ресторанчиках...

Жаль, не у нас дело было. В Америке.

=

Запоминаешься во мне,
кровинкой вздрагивая жгуче,
и сладострастной сатане
плоть отзывается певуче.
...Как чудо, как небесный случай
запоминаешься во мне.
Запоминаешься в огне
греховных детских наваждений
зимы, чей падающий снег —
знамение моих падений.
...Минут сиятельных рожденьем
запоминаешься в огне.

=

К тебе!
Сбегу из временно́й тюрьмы,
молвой клеймен и ерундою мечен.
Ценою жизни допылают свечи,
ценой разлуки познается Встреча,
ценою Встречи познаемся мы.

=

Какая милая загвоздка —
почти веселые глаза
на вешних улицах московских,
когда бесовствует гроза.
Какие увядают миги!..

=

Что бы ангелы ни ворчали,
как бы суть ни была горька —
если будешь вставать в печали,
если будешь идти в печали,
если сможешь заснуть в печали —
значит Вера твоя близка.

=

Ты — самый сокровенный уголок,
Приют от недоверия и скуки.
Твои глаза, доверчивые руки —
Мой самый сокровенный уголок.
Ты — странная, бессонная печаль,
Свеча, напоминавшая о сроке,
Когда внезапно запылают строки:
«О, странная, бессонная печаль!»...
Ты — чистая, бездонная река,
Бездомная — без устья и истока,
Живая суть тетрадного листка,
Великих слов бездонная река.



НАПИШИТЕ СВОЙ ПОРТРЕТ

ЕКАТЕРИНА БУТЕНКО
Фото ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА

Я ехала через весеннюю грохочущую Москву менять собственное лицо. И уверяла себя, что храню хладнокровие и самоиронию.

А спустя пару часов жадно задерживала случайные взгляды: интересно, что думают обо мне теперь?

...Точка, точка, запятая,
Вышла рожица кривая.

Рожица на бумаге получилась и впрямь забавная. Теперь авторучкой дорисую глазки, растяну побольше рот, округлю веселые щеки, и мой человечек будет бодр и счастлив. Ну, а если бровки поднять, а уголки губ опустить? Теперь со мной — бедняга Арлекино. Пожалеть... или посмеяться над ним?

Линия превратна, как судьба. Это знает каждый художник. Блестящий рисунок она может превратить в посредственный, посредственный — в прекрасный.

Штрих магичен. Один-единственный...

И вот мой печальный Арлекино уже хохочет. И я тоже улыбаюсь ему...

О фатальном свойстве линии я думала, уходя из школы макияжа. Так она была названа в объявлении «Московского комсомольца» в прошлом году. И в тот же день телефон в Доме пионеров Пролетарского района Москвы совершенно сошел с ума. Звонили совсем молоденькие девочки и зрелые женщины, служащие, работницы, домохозяйки... Школьниц и студенток оказалось больше. И для этой «неимущей категории» установили льготную плату: 18—20 рублей — на 6 рублей меньше, чем для остальных. По нынешним временам — деньги небольшие. Впрочем, к этому и стремились организаторы курсов — комсомольцы из молодежного центра «Прогресс-2000» Пролетарского райкома ВЛКСМ. Замышляя школу, директор Центра Сергей Коротков хотел решить три задачи: во-первых, она должна быть недорогой, ведь привлечь в нее хотелось прежде всего юных. Во-вторых, курсы должны быть не длительными — неделя, не более, чтобы не отвлекать надолго от учебы. И, в-третьих, конечно, самоокупаемыми и даже прибыльными. И это при условии, что на роль преподавателей пригласили опытных художников-гримеров столичных киностудий и ЦТ.

Где найти помещение? Соседний Дом пионеров пошел навстречу, и Центр тоже в долгу не остался: помог оформить детский театр, купил швейные машины. Новая школа требовала и нового дизайна. Специалисты подготовили интересный проект. Кооператоры мгновенно воплотили его. И вскоре в старый класс, превращенный в настоящую гримерную, вошли первые 32 ученицы.

...Не дыша, стою за спиной невысокой женщины, работающей, как даровитый живописец. Вот она прицеливается к пестрой «палитре», из коробочек и пеналов извлекает краску и кистью касается лица оч-чень серьезной девушки.

— Глаз небольшой, внешний уголок опущен, надо поднимать и «вытягивать» веко,— объясняет Валентина Сергеевна Петрова, художественный руководитель школы, профессиональный гример с киностудии имени Горького.— Осторожно сделаем подводочку от самой высокой точки глаза, все расширяя... Серым или мягко-черным? Легко растушевываем. Мешочек над глазом уберем коричневой тенькой. Потом зеленый тон, а если внизу — чуть фиолетового?

Стоп! Ошибка. Досадно... Но поправимо. И есть на этот случай белые тени, губочка из поролона, вата с кремом. Потом снова за работу: штрих, тень, штрих... мазок за мазком...

После занятия преображенная воскликнула:

— Красивая? Мне теперь кажется, что я всегда такой была!

Конечно, не все в этой школе безупречно. И несколько слушательниц, постигшие кое-какие премудрости макияжа из журналов мод, ушли немного разочарованными. Кто-то сетовал: народу в группе многовато, каждой достается всего по нескольку минут общения с мастером. Кому-то хотелось побольше узнать о науке украшать себя. Но создатели школы не ставили перед собой всеохватных целей. (Кстати, педагоги-гримеры вместе с другими знатоками этого высокого ремесла проведут полный курс макияжа в новом женском журнале «Семь пят-

ниц».) Я с удивлением узнала, что профессию художника-гримера в училище постигают в течение целых четырех лет. Четыре года учебы и вся жизнь — совершенствование, «доводка», тренинг...

Татьяна Васильевна Стариченкова — художник-гример, проработавшая в театре и на телевидении более 20 лет, благодарит случай, приведший ее сюда:

— Это же какая лаборатория первоклассная! Столько лиц за несколько часов. Кураж, знаете, появляется! — Смеется...

Ее руки преображали Алису Фрейндлих, Жанну Болотову, Юрия Яковлева, Зою Федорову... Да разве всех перечислишь! Из красавиц случалось делать уродин, а из лиц неярких, простых — писаных пав. Забавно, но для театрального или киногримера бледное, бесцветное лицо — большой подарок.

— Вот такие, как у Миронова или Смоктуновского,— рассказывает Татьяна Васильевна,— на таких можно нарисовать любые черты.

Без гримера нет кино, нет телевидения. А знаете ли вы, что ни один человек, появляющийся перед экраном телевизора, будь то диктор, комментатор или гость, не обходится без грима?! Хочет он того или нет. И дело не только в приукрашивании физиономии. Яркий свет юпитеров смазывает черты, делает их плоскими. И лицо приходится вылеплять как бы заново, прицениваясь даже к цвету кинопленки, которая при нашем дефиците имеет загадочную склонность к разнообразию. Впрочем, на помощь гримеру приходят и операторы, и осветители. Ведь портрет можно выстроить и светом, скорректировав недостатки, «нарисовав» достоинства.

Однако юпитеры не только светят, но, увы, и греют. Да еще как! И сквозь грим начинает проступать пот, краски «ползут», меняют цвет. Гример на съемочной площадке нужен постоянно...

— На съемках спектакля «Здравствуйте, я ваша тетя!» гример даже упала в обморок,— продолжает Татьяна Васильевна.— Но работать как интересно было!

Для художника-гримера такого профессионального азарта, как Стариченкова, школа макияжа и впрямь находка. Как и она для школы. С помощью такого педагога девочки постигают не только жесткую схему ремесла, но и необъяснимое «чуть-чуть» настоящего искусства. «Тут не учат макияжу для всех,— очень точно отметила специфику школы медсестра Любовь Ильина.— Тут помогают найти себя».

...Театр жизни есть театр. Вот девушка, зависшая надо мной в переполненном троллейбусе. Бедняга, скупила все новинки заморской косметики и «украсилась» по замысловатой схеме из «Бурды» — точь-в-точь, но как две капли воды напоминает булгаковскую Геллу, эту синюшную ведьмочку. Жаль... К чему ей чужая роль?

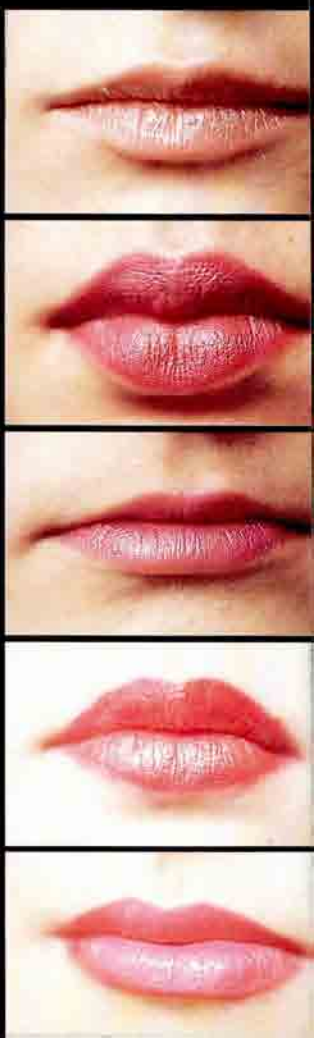
К счастью, мы дожили до широких взглядов. И не только на политику и идеологию, но и на ширину брюк, длину юбок и яркость косметики. Краска на лице — давно уже не признак безнравственности. Но всегда помните, как беззащитны мы под бесстрастными «юпитерами» чужих взглядов.

Мы давно не добываем краску из растений и камней, не бродим в поисках цветных глин, не бежим в лавку к колдуну-парфюмеру. Мы не стремимся походить на своих предков и не ищем облик богов, не священнодействуем в храмах и не собираемся устрашать врагов разрисованной личиной. И все-таки — красимся!









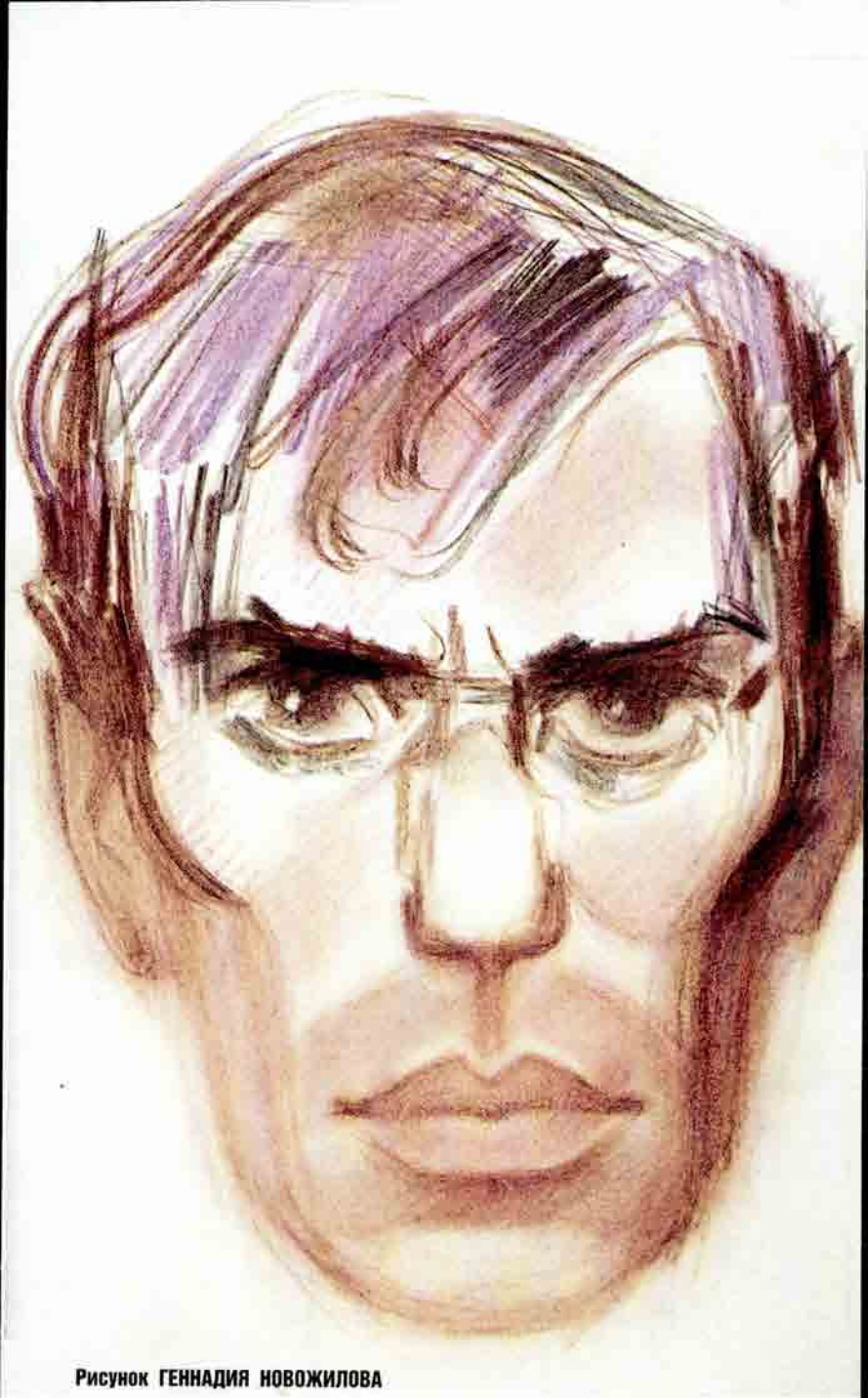


Рисунок ГЕННАДИЯ НОВОЖИЛОВА

БОРИС ПАСТЕРНАК

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

Господи, до чего же Пастернак казался мне поначалу трудным, даже не трудным, а каким-то нелепым, сумбурным. Я отлично помню, как впервые пришло ко мне это имя — в статье Маяковского «Как делать стихи?». Думаю, что и 90 процентов моих сверстников точно так же открыли для себя Бориса Леонидовича.

Провинциальный двенадцатилетний мальчишка, уже что-то рифмовавший и уже успевший полюбить Маяковского, я, разумеется, с жадностью накинулся на его статью, видимо, рассчитывая, что она откроет мне кратчайший путь на Олимп. Но статья хоть и не отпугнула, но все же мало ободрила, а одно место в ней даже озадачило.

«Отношение к строке должно быть равным отношению к женщине в гениальном четверостишии Пастернака:

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
как трагик в провинции драму шекспирову,
таскал за собой и знал назубок,
шатался по городу и репетировал».

«Ну чего тут гениального,— недоумевал я.— Какие-то гребенки, репетиции, зубрилки... Наверное, Маяковскому нравится, потому что не «шекспировскую», а «шекспирову», как написал бы он сам». И, перечитывая статью, я всякий раз с опаской пропускал это место. Лишь через несколько лет, когда уже прочел «Войну и мир», «Анну Каренину» (помните, золотой гребень Наташи Ростовой или бархотку Кити?!), многие пьесы Островского, узнал, каково в провинции актерам, и сам стал молчаливо и влюбленно следить за девчонками, мне вдруг открылись простота и гениальность этих четырех строчек. Я как бы почувствовал, что в стихах важно не только рассказать о своих мыслях или ощущениях, куда важнее воссоздать их в движении. То есть стихи должны быть на грани невозможного.

Например, замечательный футболист моей юности Всеволод Бобров обводит у динамовских ворот четырех защитников и в падении через себя забивает красавец-гол. Об этом вещает знаменитый комментатор тех лет Вадим Синявский. Все это, разумеется, неплохо. Но Пастернак ставит себе задачи (или, вернее, само собой так выходит у Пастернака!), что Бобров, забивая свой замечательный гол, одновременно рассказывает о всех перипетиях игры; даже не рассказывает, а мы словно бы слышим обрывки мыслей вспотевшего и увлеченного схваткой с защитниками Боброва. Вот как написано пастернаковское четверостишие о любви.

Это открытие повергло меня чуть ли не в депрессию. Помню, как я поделился своим открытием с однокурсником по Литинституту. Он меня не дослушал, брезгливо бросил, что все это галиматья, а важны лишь мысли и убежденность в мыслях.

Что ж, возможно, мой сокурсник был прав, что отмахнулся от моего открытия. Без него жизнь оказалась бы легче. Уже тогда, в семнадцать лет, я понял, что не достигну того, к чему стремлюсь, и до самой смерти буду пробавляться жалкими отблесками своей мечты.

И все же с тех пор, как я начал осваивать Пастернака, жизнь одновременно стала ни с чем не сравнимым праздником. (Позже я нашел этому объяснение у Мандельштама: «Стихи Пастернака почитать — горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны от туберкулеза».) Именно это ощущение я испытывал, твердя на память «Сестру мою жизнь», куски из «Шмидта», «Спекторского» или «Девятьсот пятого года». Как бы ты ни был измочален жизненными или стихотворными неудачами, пастернаковские строки тебя воскрешали, и снова «стоило жить и работать стоило».

Сейчас так и тянет разделить свои годы на те, когда еще не понимал Пастернака, и на те, когда понял. Но ведь еще Юрий Олеша подтрунивал над собой: мол, в юности он делил человечество на тех, кто учился в третьей одесской гимназии, и на тех, кто в ней не учился. Шутки шутками, но в самом деле была

некая каста «пастернакистов», которые горделиво поглядывали на остальное человечество, не понимающее их кумира. Сейчас, когда выходят календарики с портретом Бориса Леонидовича, когда его книги нарасхват (томик «Стихотворений и поэм» в мягкой обложке издан тиражом более миллиона, а попробуй достань!), все это кажется неправдоподобным. Но ведь так действительно было.

Помню, на первом курсе кто-то прочел вслух абзац из повести Ильи Эренбурга (кажется, из «Не переводя дыхания»), где говорилось, что лесорубы в тайге читают наизусть Пастернака, и одна студентка остроумно заметила, что это были не лесорубы, а студенты Литинститута на лесозаготовках.

Я уже сказал несколько слов о чуде Пастернака. Но как пришли к нему эта скоропись духа — одновременно действие и работа мысли, озарение, поток ассоциаций, озорство, радость жизни и ее печаль? Мне кажется, это уже было в русской литературе задолго, почти за сто лет до Бориса Леонидовича. Откройте «Мертвые души», хотя бы первую главу:

«Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, поднимающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, взлетают смело, как полные хозяева... обсыпают лакомые куски где вразбитную, где густыми тучами... они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние и передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами». И тут, словно почувствовав, что чересчур заигрывается, Гоголь возвращается к сюжету: «Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором...». Но мухи, тоненькие чиновники, не забыты, и вскорости о них будет сказано: «Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда или сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно».

Тут образ развернут в целое полотно. Пастернак же обычно берет лишь кусок картины:

Народ потел, как хлебный квас на леднике,
Привороженный таяньем дистанций.
Крутясь в смерче копыт и наголенников,
Как масло били лошади пространство.

Но иногда Гоголь позволяет себе игру вовсе убыстренную. В тех же «Мертвых душах»: «Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна дома почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня,

мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья». Вот как далеко ушел Гоголь от физиономии Собакевича! Но тут же, помня о всей поэме, он как бы спохватывается: «Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались».

Все эти пассажи так напоминают «Сестру мою жизнь», хотя, разумеется, в ней нет брызжущего гоголевского юмора. Но пастернаковские образы развернуты так или почти так. Читая четверостишие:

Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья,—

невольно вспоминаешь «Чуден Днепр при тихой погоде» и вообще все описания природы из «Вечеров на хуторе» и «Миргорода».

Но не только Гоголь помог Пастернаку стать Пастернаком. Я уж не говорю о поэтах, например, о Лермонтове, которому, словно живому человеку, посвящена «Сестра моя жизнь». Не меньше Гоголя «повинны» в Пастернаке Толстой с Достоевским.

Версты обвинительного акта,
Шапку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта,
Каторга, какая благодать!

Как тут не вспомнить толстовский «Севастополь в мае» — мгновенные мысли Праскухина, который «был убит на месте осколком в середину груди».

А весь «Марбург» с гениальным, по Маяковскому, четверостишием кажется прямо взятым из седьмой части «Анны Карениной», когда Анна мечется по Москве, ищет Вронского и не может додумать до конца ни одной мысли, а также из любого романа Достоевского, когда в жару в каменном Петербурге князь Мышкин, или Рогожин, или Раскольников не находят покоя, обрывки мыслей неумело связываются узлами ассоциаций. Впрочем, Анна Каренина на пределе, на грани между жизнью и смертью, и герои Достоевского всегда на этой черте. Стихи же Пастернака лишь на эмоциональном пределе. Его бормот — это не завещание человека, приговоренного к смерти, скорее и чаще — восторг человека на пределе счастья. И это тем более невероятно, что жизнь поэта была далеко не благополучной, а в последние годы попросту трагичной.

Впервые Пастернака я увидел в ноябре 1944 года. В Колонном зале был объявлен вечер поэзии. В афише стояло имя Константина Симонова, и, не увидя его, зал недовольно гудел. Под это гудение профессор Лебедев-Полянский нудно читал лекцию о современной поэзии, а я думал: «Как же все-таки Лебедеву-Полянскому удалось уцелеть?» (Сейчас многие люди куда старше меня говорят: мы, мол, ничего о посадках не знали. Я им не верю. Ведь я, шестнадцатилетний школьник, почти ни

с кем из взрослых не общаясь, как-то догадался, что «все ушли и никто не вернулся...» *.) Наконец, гул в зале стал совершенно невыносим, и Алексей Сурков крикнул, прервав лектора: «Поэт Константин Симонов не вернулся с фронта. Причина почетно-уважительная»,— чем, разумеется, вызвал бурные аплодисменты. Затем, как бы раскланявшись перед Пастернаком, Сурков назвал его самым последовательным лириком.

Я, прогуливая школу, проводя все дневные часы в газетном зале Некрасовской библиотеки (где сейчас ресторан «Прага»), знал, что Суркову Пастернак отнюдь не близок. Поэтому в эпитете «последовательный лирик» мне почудился некий знак примирения и едва ли не надежды на ослабление литературных запретов. Ведь Сурков тогда редактировал сразу три издания — «Новый мир», «Литературную газету», «Огонек», а может быть, и что-то еще.

Пастернак по старшинству читал стихи первым. Выглядел он плохо. А ведь ему тогда не было и пятидесяти пяти. Так плохо он потом выглядел только еще один раз — в гробу. Читал он в очках, отчего лицо вытянулось еще сильней. Он прочел «Зарево», которое за год до этого было напечатано в «Правде», «Смерть сапера» (на мой взгляд, стихотворение вообще не очень удачное, хотя в нем есть прекрасные строки, но меня до сих пор огорчает «без свидетелей»:

Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.

То, что возможно и даже гениально было в «Сестре моей жизни»:

Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель,

никак нельзя было переносить в условия войны, тем более разведки! Меня и сейчас эта строчка раздражает, а в тот вечер она, думаю, смутила не меня одного. Недаром поколение военных поэтов — Слуцкий, Самойлов и другие — не могло простить Пастернаку его военных стихов. Они казались им слишком далекими от реальной фронтовой обстановки). Правда, после военных стихов Борис Леонидович читал замечательные «Сосны», «На ранних поездах», «Дрозды», но эти в общем-то простые для Пастернака стихи были трудноваты для мало подготовленного зала, и Борис Леонидович заслужил аплодисменты куда более скромные, чем, скажем, Долматовский. Мне его было до слез жаль.

Зато через полгода и еще через год он собрал полные залы Дома ученых и Политехнического музея. Это был его триумф. Стоило Пастернаку запнуться, и тут же со всех сторон летели подсказки. Удивительно раскован и обаятелен он был на вечере Бараташвили поздней осенью 45-го года в конференц-зале Союза писателей. В синем костюме, в голубой рубашке с галстуком — на людных сборищах я его видел одетым только так,— он казался удивительно молодым, веселым, даже счастливым. Он

---

* Из Анны Ахматовой.

перевел всего Бараташвили, и, по сути, это был его вечер. Несколько неизвестных мне переводчиков пытались что-то прочесть, но их выступления тут же скомкали, и начался апофеоз Пастернака. Читал он прекрасно, нараспев, даже распевнее, чем свои стихи, потому что слишком хорошо читать собственные вещи всегда немножко стыдно. А тут были переводы, и он заливался, как птица:

Свет небесный, синий свет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.
А теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.

Не знаю, было это переводом, пересказом или собственной исповедью. В зале всем было радостно, все ликовали и хлопали. И лишь когда, завершая вечер, председательствующий Н. Тихонов, еще худощавый, не оплывший после ленинградской блокады, прочел свой перевод «Синего цвета», разумеется, слабее пастернаковского, и ему даже для приличия не поаплодировали, мне стало жаль Николая Семеновича, потому что ранние его стихи я любил и десятками знал наизусть.

На вечере ленинградских и московских поэтов в апреле 1946 года, где была Ахматова (даже существует апокриф, что весь Колонный зал поднялся, приветствуя Анну Андреевну; на самом же деле «вставание», будто бы послужившее причиной известного постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград», произошло днем раньше в нынешнем ресторане Центрального Дома литераторов), первенствовала не Ахматова, первым был Пастернак. Он читал стихи о Марине Цветаевой, за что ему долго и мощно хлопали. Держался он раскованно, по-детски смеялся басням Михалкова, выглядел молодо, гораздо моложе, чем на снимке с Ахматовой. Он вообще на снимках выглядел старше, чем в жизни. Фотографии не способны передать движение, а в Пастернаке движение было чуть ли не самым главным качеством души и натуры. «Оно распахнуто, как бор, все вглубь, все настежь», «Он был, как выпад на рапире», «Как играют овраги, как играет река» — все это прежде всего сказано о себе самом. Вряд ли, если бы Пастернак был иным, он смог бы написать эти и сотни подобных строчек.

Я был приписан к поэтическому семинару Луговского, мои друзья по курсу учились у Казина. Семинары часто происходили в писательском доме на Лаврушинском, где жил Пастернак (даже, кажется, в одном подъезде с Луговским). Но мне никогда не приходило в голову заглянуть «по ошибке» к Борису Леонидовичу, показать ему стихи, хотя о вечере в Колонном зале я написал целую поэму. Сейчас вспоминать о ней стыдно (там были строчки: «У рампы качается Пастернак и замирает зал», совершенно не передающие манеру пастернаковского чтения). Моим старшим друзьям (они были фронтовики, с ранениями

и орденами) собственные вещи нравились куда больше, и они не оставляли надежды проникнуть к Пастернаку, чтобы порадовать его своим талантом. Был даже разработан хитроумный план. В столовой Дома литераторов, где днем по карточкам обедали студенты, часто появлялся Алексей Крученых. Он вытаскивал из портфеля разные старые книжонки или снимки и заламывал за них баснословные цены. Так, за три фотографии Пастернака он требовал сто рублей. Двое моих приятелей предлагали ему семьдесят за две штуки, но он уперся и сказал: берите хоть одну, но меньше чем за сотню не отдам. Вот тогда-то они решили взять меня третьим. Я долго отнекивался: денег не было, к тому же мне казалось бестактным идти к Пастернаку просить, чтобы он надписал совершенно незнакомым людям свою карточку. Читать же ему стихи я, как уже сказал, не хотел. Неделю до самой стипендии два моих друга уламывали меня и в конце концов дожали. Оказалось, в парикмахерской Дома литераторов они уже встретили Бориса Леонидовича и договорились с ним, что в воскресенье заскочат к нему на минутку с фотографиями. Я удивился: уже от кого-то слышал, что Пастернак в отличие от других поэтов неохотно знакомится с новыми людьми.

В самый разгар экзаменационной сессии мы втроем отправились к Пастернаку. Я шел из библиотеки, и у меня с собой была большая тетрадь в твердом переплете — амбарная книга. Когда Пастернак открыл нам дверь, он чуть ли не с испугом отшатнулся:

— Это не стихи?

— Нет-нет,— ответил я.

— Тогда, пожалуйста, сюда,— сказал Пастернак, взял у меня амбарную книгу и спрятал ее куда-то за головные уборы, словно в ней было что-то неприятное для его быстрых, веселых, лукавых глаз. Пока он водружал наверх мою тетрадь, оба приятеля успели полоснуть меня взглядами.

Мы вошли в большую комнату. В ней было много картин и много мебели, и вообще комната показалась мне по-довоенному (даже по-дореволюционному!) богатой: ведь все мы тогда жили бедно. Пастернак сел за стол возле окна, я возле самых дверей, а мои приятели где-то посредине между мною и хозяином.

С чтением стихов не вышло, но зато минута, за которую он должен был надписать фотографии, обернулась тремя часами. В эти три часа я не сказал ни слова, да и мои друзья вряд ли проронили больше трех-четырех фраз. Говорил один Пастернак. Не думаю, что он нуждался в слушателях. Позже, лет через двадцать, я узнал от некоторых писателей и прочел в различных воспоминаниях, что как раз в то время он читал на нескольких московских квартирах свой роман. Думаю, успех этих читок переполнял его, и он спешил им с нами поделиться. Было что-то детское, невинно-хвастливое в его монологе о романе.

К сожалению, я никогда не вел дневников. Но хорошо помню, что все три часа нараспев, совершенно так же, как читал

Бараташвили, он перечислял, кому понравился роман. «Федин сказал, что не хуже, чем «Петербург» Белого»,— с застенчивой гордостью похвастался Борис Леонидович.

— Вот как? — Один из моих друзей многозначительно кивнул, хотя слыхом не слыхивал о романе Андрея Белого и до самой своей недавней смерти так его и не раскрыл.

— Да-да,— сказал Пастернак и начал объяснять, что каждая эпоха давала свой литературный персонаж. У Толстого, например, героем романа был князь или граф, у Достоевского — разночинец, а у него, Пастернака, будет интеллигент, доктор, который одновременно поэт.

И тут, видимо, почувствовав мое смущение (а меня он в самом деле поразил: я с ранней юности помнил толстовское рассуждение о дроби, где в числителе ставится истинное значение человека, а в знаменателе — мнение этого человека о себе; и хотя Пастернак был для меня полубогом, до Толстого и Достоевского все же, на мой непросвещенный взгляд, ему было далековато...), так вот, почувствовав мое смущение, Пастернак на мгновение прервался, и один из моих приятелей спросил его о Фадееве.

Несколько месяцев назад на одном из писательских собраний, в очередной раз чернивших Зощенко и Ахматову, Фадеев присовокупил к ним и Пастернака. Мы, второкурсники, как-то просочились в тот самый, ныне ресторанный, зал, где за полгода до того происходило «вставание». Высокий, красивый, седой, моложавый Фадеев, в сером костюме и в серой рубашке без галстука, своим высоким срывающимся голосом с бесконечными «так сказать» долго и нудно объяснял, что у Бориса Пастернака была возможность после «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» стать на сторону Советской власти, но он свернул со столбовой дороги социализма на тупиковую просеку, залег в своей переделкинской норе, чем несказанно радует наших врагов и весь антидемократический лагерь. (За точность слов спустя сорок три года я, естественно, не поручусь, но за смысл отвечаю.)

— Не говорите мне о Фадееве, он жандарм,— сказал Пастернак и снова вернулся к роману. (Это «жандарм» в его устах мне показалось грубее матерщины, и я вдруг понял, как в нем перемешаны опаска и бесстрашие, что он одновременно смел и беззащитен, и в этой комнате его охраняют лишь картины отца, старинная отцовская мебель и еще вот эта работа над романом, которой он переполнен до краев. Не скажу, что я это понял так ясно, как сейчас об этом пишу, но что-то похожее промелькнуло в уме, и я смутно догадался, что Толстой и Достоевский названы не случайно и уж вовсе не из похвальбы, скорее как мачты, на которые надо равняться, а также как боги, которые, авось, и защитят.)

Он рассказал, что роман завершится 1929 годом, смертью доктора, и еще сообщил многое из того, что сейчас всем хорошо известно из самого романа и из свидетельств пастернаковских знакомых. Его монолог все время то шел по кругу, то петлял, был беспорядочным, даже сумбурным, но потом, уже дома,

когда я вспоминал его (да и нынче, сорок три года спустя), мне казалось, что в этом трехчасовом рассказе была стройная композиция, некая упругая невидимая пружина, и теперь бы я назвал его по-томасманновски «Рассказом о романе». Мне даже показалось, что Пастернак немного хитрит, что роман в общем-то уже написан, и потому удивился, прочитав спустя семь лет в его предисловии к стихам в «Знамени», что роман еще в работе.

Теперь я знаю, что писатели — народ суеверный, рассказывать о своих планах не любят, а о сюжетах — тем более: вдруг не выйдет, сорвется. Значит, Пастернак и в этом проявил бесстрашие: едва начав вещь, он уже говорил о ней как о завершенной.

— Вы читали «Взятие Великошумска»? — вновь неожиданно оборвал он свой монолог.

— Нет,— ответили мои товарищи.

В год, когда печаталась эта повесть, они были на фронте — один в разведке, другой в противотанковой артиллерии. Я о «Великошумске» слышал, но по-прежнему сидел набравши в рот воды.

— Невозможно читать: каждая фраза строит глазки,— улыбнулся Пастернак, и меня удивила смелость образа и то, что он не боится: мол, то же самое могут подумать о нем самом. Сколько я уже слышал от писателей и около писателей, что Пастернак ни слова не скажет в простоте. Но, слушая его, я все более убеждался, что на самом-то деле он удивительно прост, что в нем ни на йоту показухи и его стихи похожи на его речь, а речь — на стихи, что он говорит, как пишет.

Борис Леонидович завершил свой монолог, взял наши фотографии, полюбопытствовал, где мы их достали, и при слове «Крученых» как-то скорбно помотал головой, что могло означать — такое блестящее начало и такой финал. Потом он еще раз переспросил наши имена, вышел из комнаты и вернулся, держа в руках иностранную авторучку и снимки. На том, что он протянул мне, неслась похожая на стаю птиц надпись: «Студенту Владимиру Корнилову с наилучшими пожеланиями. 19 января 1947 г. Б. Пастернак». (Признаюсь, она меня огорчила. И студентом я был никудышным, и мои приятели получили карточки без этого, как тогда мне казалось, унижающего человека звания.)

— Какая любопытная ручка,— сказал мой друг, тот, который воевал в артиллерии. Видимо, его тоже не удовлетворила надпись, а главное, он был раздосадован тем, что не удалось прочесть стихи.

— Китайский посол подарил на приеме,— улыбнулся Пастернак.— Клялся, что чернил в ней должно хватить на год.

— Китайский посол,— воскликнул мой друг, и нас поразило, что человек, которого клеймит на заседаниях Фадеев и ругает в газетах Сурков, бесстрашно ходит на приемы в империалистические посольства (Китай тогда еще был чанкайшистским).

В прихожей он пытался подать нам пальто, чему мы изо всех

сил сопротивлялись, и не отказал себе в удовольствии достать из-за шапок мою амбарную книгу и вручить ее с хитроватой улыбкой: мол, вон как я вас провел, со стихами ничего у вас не вышло. Тут и я расхрабрился, раскрыл тетрадь: каракули ползли от левого края страницы, перелезая даже за поля, и Пастернак весело смеялся своей ошибке.

А чернила в китайской ручке оказались недолговечными, выцвели, и надпись разбираешь скорее по памяти.

Встречался и разговаривал я с ним еще два раза — летом 56-го и на следующий год осенью. В одном из журналов я какое-то время заведовал отделом поэзии и очень хотел напечатать Пастернака. Начальство сопротивлялось, как могло, но однажды вроде бы сдалось, предупредив: мы еще посмотрим, что он нам даст.

Я поехал в Переделкино, кажется, в первый раз в жизни, отыскал дачу, меня провели на верхнюю террасу, и вскоре туда пришел Пастернак. Он сказал, что подумает, записал на всякий случай мой номер телефона, но я понял, что стихов не получу, и уже хотел откланяться. Тогда он, извинившись, что мало следит за печатью, так как нынче особенно погружен в работу, спросил, кого мы публикуем из поэтов.

Я назвал несколько имен, и он снова извинился, что плохо знаком с их вещами. Позже, читая его «Люди и положения», которые писались тем самым почти безоблачным летом 56-го года, я понял, что на террасе он буквально их цитировал.

Осенью, обнаружив, что мы напечатали в одном номере «Знамени» (он — возможно, лучший за всю его жизнь цикл «Когда разгуляется», я — три жалких стихотворения, из которых потом в первый свой сборник включил лишь одно), Пастернак рано утром позвонил мне домой и сбивчиво, взахлеб стал объяснять, какие у меня замечательные стихи и как он сам слабо теперь пишет. Впрочем, я уже немало был наслышан о пастернаковском великодушии. Несколько поэтов совали всем копии его писем в издательства с просьбой вместо него, Пастернака, издать их стихи. Позже я узнал от Ахматовой, что Борис Леонидович вообще никаких стихов не читает и ее, Ахматову, впервые прочел в 1940 году, когда вышел сборник «Из шести книг», а «Четки», «Подорожник», «Белая стая» как-то прошелестели мимо него...

В следующем году в журнале сменилось начальство, и я предложил, назвав цикл по Багрицкому «Тихонов, Сельвинский, Пастернак...», напечатать разом всех троих. В суматохе журнальных пертурбаций идея была принята, и поздним осенним вечером я постучался в переделкинскую дачу. Внутри кто-то играл на рояле, мне открыли не сразу. В проеме возник Пастернак, назвал меня по имени, отчеству, сам, видимо, обрадовавшись своей памяти, а я, смутясь, как десять лет назад, пробормотал:

— Извините, Леонид Борисович.— Моя оговорка вызвала его слабую улыбку. Я понял, что приехал не вовремя. За роялем

сидела его жена, она продолжала играть, и мы осторожно, на цыпочках, прошли в соседнюю комнату. Я повторил свою прошлогоднюю просьбу. На этот раз он не говорил об оторванности от суеты и об абсолютной погруженности в свое, а, наоборот, даже обрадовался: да, да, покажите всем и обязательно ему — и назвал главного редактора по имени. Я не знал, что «Доктор Живаго» уже вышел на Западе и уже началась самая горькая полоса его жизни. Но в этот осенний промозглый вечер в нем чувствовались обеспокоенность, одинокость, чуть ли не потерянность, чуть ли не тоска по прежнему весьма относительному благополучию, когда он с редакторами журналов был накоротке и звал их по имени. Это усугублялось звуками рояля: исполнялось что-то печальное и, по-моему, исполнялось прекрасно. Впрочем, вряд ли в Пастернаковском доме могли играть на рояле иначе.

Я сказал, что хочу получить стихи как можно быстрее, так как не был уверен, что долго продержусь в журнале: вряд ли смогу поладить с новым главным. Не лучше ли Борису Леонидовичу передать мне рукопись через своего секретаря... Тут Пастернак испуганно прижал ладонь ко рту. Я решил, что он шутит, но на всякий случай замолчал.

Откуда мне было знать, что о женщине, с которой я сталкивался в различных редакциях и которая назвала Пастернака «классик» (что звучало как «хозяин» или даже «барин»), написаны чуть ли не лучшие стихи в русской лирике?!

Что ж, гений вправе сам себе выбирать героинь, и тут мы ему не судьи. «Бедный Пушкин! — писал Пастернак.— Ему следовало бы жениться на Щеголеве * и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к Онегину и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне».

Эти строки, мне кажется, Пастернак написал в защиту своей любимой, словно предчувствовал, что с ней снова случится самое ужасное, как уже однажды случилось. Ее сажали дважды: в 1940-м и вскоре после пастернаковской смерти — и оба раза надолго. Горе Бориса Леонидовича чувствуешь, когда читаешь стихи из романа. (Кстати, Лев Шилов недавно обнаружил запись этих стихов в чтении самого Пастернака, и уже вышла пластинка!)

РАЗЛУКА

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был — как побег.
Везде следы разгрома.

Повсюду в комнате хаос.
Он меры разоренья

---

* Известный пушкинист.

Не замечает из-за слез
И приступов мигрени.

. . . . . .

Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.

Как затопляют камыши
Волнение после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

. . . . . .

Я получил от нее толстую зеленую тетрадку (в ней были все стихи из романа и «Когда разгуляется»), а также письмо, которое, к сожалению, затерялось, а жаль, потому что Пастернак перечислял в нем стихи, которые хотел бы напечатать в первую голову. С публикацией ничего не вышло. В журнале стало известно, что в Италии напечатан «Доктор Живаго», к тому же через неделю я оставил свой временный пост заведующего.

Больше Бориса Леонидовича я не видел.

Итак, всего три встречи. Зачем я о них пишу? Да и чего стоит дальнее, а впрочем, и близкое знакомство с гением по сравнению с необъятностью его дара и размахом его работы? Ведь все это он равно поделил между нами — и теми, кто его знал коротко, и теми, кто знал его едва, и теми, кто его в глаза не видел. «Я поэт, тем и интересен»,— писал Маяковский и, наверное, был прав. Но ведь поэзия не падает с неба, она «в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы увидеть ее и подобрать с земли...» — добавил Пастернак, намекая, что она — в ежедневном, будничном, даже в случайном. Вот мне и показалось, что пересказ трех совершенно незначительных, вовсе не обязательных разговоров с Пастернаком тоже подтверждает удивительно естественную слитность его стихов с его жизнью. Недаром он сказал, что она:

Только растворенье
Нас самих во всех других,
Как бы им в даренье.

...О похоронах написано много, даже недавно показывали по телевидению фильм. Многих из тех, что несли гроб, уже нет в живых, остальные за тридцать лет так состарились, что их узнаешь с трудом. Ахматова — она в это время была тяжело больна — каждого приходящего к ней жадно расспрашивала об этом переделкинском дне. Мне она сказала: «Это были настоящие русские похороны. Такие нужно заслужить».

Через четыре года мне удалось напечатать в журнале стихи о них. Работников редакции ввела в заблуждение (а скорее всего, они сделали вид, что не понимают, о ком стихи) первая строчка: «Мы хоронили старика...». И в самом деле, Пастернак никому стариком не казался. «Юноша с седою головой» — назвал его Заболоцкий, и, по-моему, эта строка куда точнее более ранней, ахматовской: «Могучая евангельская старость». Кто знает, сколько бы прожил Борис Леонидович, если бы не рак легких — явное последствие трагедии с романом.

Я много места уделил в этих заметках «Доктору Живаго», но между тем не сказал о своем отношении к этой вещи. Ее столько у нас ругали и поносили, что как-то неловко о ней отзываться без восторга самого высокого накала. Между тем у меня отношения с «Живаго» совсем непростые. Я впервые прочел его еще за полгода до Нобелевской премии и был немало смущен. Затем перечел на следующий год и после смерти Бориса Леонидовича читал его еще раз пять или шесть. Для меня это роман странный, ни один из персонажей мне не по душе, разговоры их кажутся натужными, но при этом в романе есть необычайная манкость. Иначе с чего бы столько его перечитываешь? А перечитываю я его вот почему:

«Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра». То есть я, читатель, выковыриваю из романа изюминки, как это делал сам Пастернак:

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки...

Я ищу в романе продолжение «Поверх барьеров», «Сестры моей жизни», самих стихов из «Доктора Живаго» или даже написанной несколько позднее книги «Когда разгуляется», главных, как мне кажется, вещей Бориса Леонидовича. И таких мест — строк, периодов, абзацев, а то и целых страниц — в романе бесчисленное множество. Иногда пастернаковский роман мне представляется чем-то вроде «Мертвых душ», из которых убраны Чичиков, Манилов, Собакевич, Ноздрев, капитан Копейкин, Петр Петрович Петух и так далее и оставлены одни Улинька и Костанжогло, но зато сохранены описания дождей, лесов («два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у нее справа и слева»), дорог (которые «расползлись во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка...») или пассажи про мух, вокруг сахарной головы, про тыкву-балалайку или, скажем, описание губернаторской дочки: «Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко,

и, подобно ему, белел какою-то прозрачною белизною, когда свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках испытывающей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца...»

В пастернаковской прозе (да и в стихах) нет, повторяю, гоголевского юмора, но, подобно гоголевским вещам, они кажутся написанными только что, минуту назад, как бы с пылу с жару, когда даже восторг создателя еще не успел остыть, когда в нем живо удивление: смотри, получилось, даже сам не ожидал, что так получится (именно удивление, а не хвастовство, не бахвальство!). Вот такое удивление перед стихом, как перед миром (потому что стих неотделим от мира!), почти всегда переполняет пастернаковские строки.

Двадцать пять лет назад вышел первый посмертный однотомник Бориса Леонидовича с предисловием Андрея Синявского. И хотя предисловие создавалось не в лучший для издания Пастернака год, а уж тем более не в лучший для автора предисловия: он каждую минуту ждал ареста. Да и само предисловие небось проходило сквозь узкие сита редколлегии и цензуры. Однако до сих пор лучшего, чем у Андрея Синявского, разбора пастернаковской поэтики я пока не встречал. Синявский словно бы очень точно, ярко, прямо-таки художественно выразил мои смутно-неопределенные полуимпрессионистические ощущения, и поэтому к его предисловию мне остается добавить не так уж много.

Как практик-стихотворец могу лишь сказать, что Борис Леонидович, очевидно, был наделен почти пушкинским чувством соразмерности. Его стих никогда не бывает длинен, затянут. При этом он гибок, как каучуковая зверушка, — крути, верти, как хочешь,— ни за что не сломаешь, потому что где-то внутри спрятан очень прочный, хотя и гибкий стержень. Думаю, что во многом Пастернаку помог его отец-художник, прекрасный рисовальщик. Рисунок — основа картины, без рисунка живопись не живопись, о чем свидетельствуют ню некоторых салонных живописцев: руки, ноги их обнаженных натур растут зачастую вовсе не оттуда, откуда им следует расти. И хотя эти художники пытаются прикрыть свое неумение густым, почти пастозным слоем краски, плохой рисунок выдает с головой. Так вот, у Пастернака в стихах нет ни намека на сколиоз, ни даже на самое микроскопическое плоскостопие. Стих, повторяю, гибок и свеж, и при этом красочен и звонок. Недаром Борис Леонидович собирался стать музыкантом, композитором. Звукопись его строк волшебна.

И наконец, хочется сказать об удивительной оптимистичности его поэзии. Ругать его начали чуть не с первых книг, травили всю жизнь, градус травли все повышался и привел к раку легких. А мировосприятие если и менялось, то лишь в сторону все более радостного приятия жизни. Даже смерть в его стихах не трагедия, не гибель, не конец, а открытие чего-то нового, неизведанного, и в отблеске смерти жизнь выглядит еще прекрасней:

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.

Может быть, чувство слитности с миром дали Пастернаку занятия философией, а может быть, оно у него было врожденным. О его языковом даре говорить не приходится. Его язык — язык московской интеллигенции, неотделимый от языка московских просвирен, настолько великолепен, что в любое время года и века, как я уже говорил, пастернаковский стих кажется свежеиспеченным. Все это рождало «творчество и чудотворство», рождало неистребимый оптимизм, с которым ничего не могло поделать ни литературное начальство, ни начальство этого начальства. Даже горькие стихи «Душа моя, печальница», «Перемена», «Я человека потерял с тех пор, как всеми он потерян») или «Нобелевская премия» («Я пропал, как зверь в загоне...») в общем не более чем щепотка перца или соли на праздничном пиру пастернаковской поэзии.

Потому-то его так хвалил Мандельштам, потому-то и сегодня, в наше нищее и митинговое время, когда, казалось бы, не до стихов, строки Пастернака распрямляют и дают надежду на вечность мира:

Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.

Когда-то сложный и непонятный, созданный как бы для узкого круга, Пастернак сегодня уже наполовину растаскан на эпиграфы, присказки, цитаты, даже названия романов, повестей и пьес. Недолог час, когда с ним произойдет то же, что произошло с «Горем от ума». И это прекрасно, потому что живое, сколько ни расхищай, остается живым и целым, «живым, и только до конца». Сколько ни кричи, сколько ни заклинай:

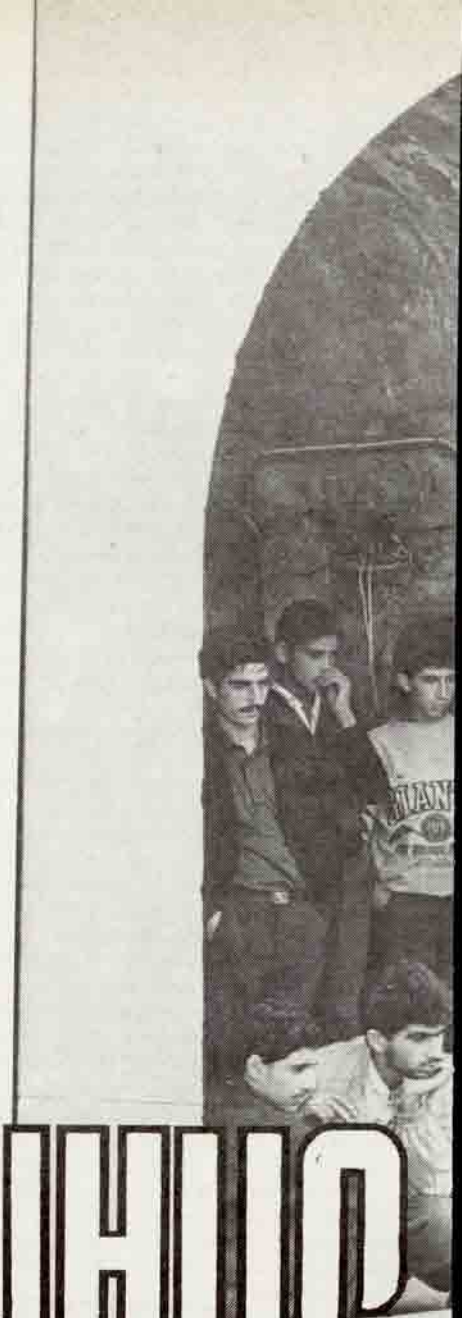
Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену,—

все равно эти строчки затаскать невозможно. Они не смываются, не линяют, они всегда, как сам он писал, «все вглубь, все настежь». И еще они как завещание и одновременно упрек.

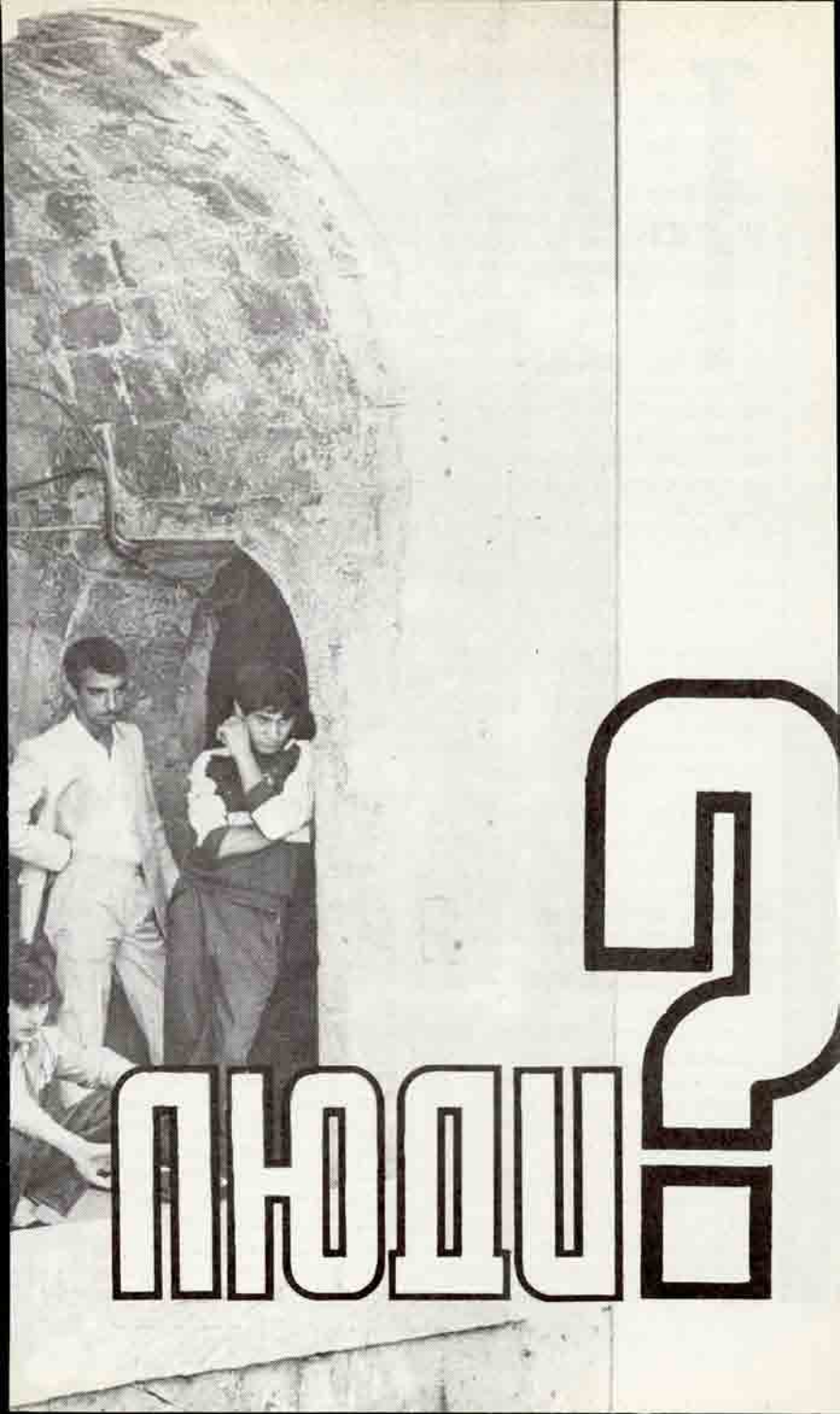
Таков был путь Бориса Леонидовича к «неслыханной простоте», о которой он еще в сорок лет сказал, что в нее «нельзя не впасть, как в ересь». Но придя к простоте, Пастернак не растерял внутренней сложности, внутреннего богатства. Путь Пастернака всегда был путем ввысь, и со смертью поэта не кончится. И сегодня Борис Леонидович как бы растет с нами, его читателями, которым в грозное, просто-таки трагическое время нужна и ясная гуманная цель, и твердая душевная опора.

До недавнего времени Госкомстат СССР, сообщая об итогах экономического и социального развития страны за год, утверждал: безработицы в стране нет.

ВИКТОР ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ,
кандидат экономических наук
Фото ВИКТОРА ВАСЕНИНА



ЛИШНИЕ


ЛЮДИ?

Теперь о безработице «во весь голос» заговорили с трибун съездов народных депутатов СССР и сессий Верховного Совета. Оказалось, что безработица не только есть, но она велика и растет. Впрочем, редкие у нас специалисты по трудовым ресурсам знали об этом давно. И уж, конечно, знали те, кто хотел работы, искал ее, но не мог найти. Известно это было всем в трудоизбыточных районах страны. И если большинство населения страны об этом не ведало, то совсем не потому, что этого не хотели научные работники. Таковы были правила безгласного времени, за исполнением которых цензура следила предельно строго.

Каковы же сейчас размеры безработицы в СССР? Где больше всего безработных? Что это за люди?

Процитирую нового председателя Госкомстата СССР В. Кириченко:

«Перепись 1989 года показала наличие значительной численности населения в трудоспособном возрасте, не участвующего в общественном производстве и не учащихся,— около 6 миллионов человек (без занятых в личном подсобном хозяйстве). Наиболее высок удельный вес незанятого населения в Азербайджане и в республиках Средней Азии».

Но неработающий — это еще не безработный. Есть и такие, кто просто не желает работать. Продолжу цитату.

«Мы располагаем пока явно недостаточной информацией для деятельного анализа причин незанятости, удельного веса в ней недобровольной компоненты (собственно безработицы)».

Иначе и быть не могло.

Ежегодно по всем республикам, краям, областям и крупнейшим городам составляются так называемые балансы трудовых ресурсов. С одной стороны, графа, сколько трудовых ресурсов «имеется», с другой — сколько «занято» в разных отраслях народного хозяйства. Все незанятые попадают в итоговую строку: «занято в домашнем и личном подсобном хозяйстве». Здесь и действительно занятые в этом хозяйстве, и тунеядцы, и женщины с малыми детьми, и военнослужащие срочной службы, и заключенные, которые по существующим странным правилам учитываются по местам призыва или по месту ареста. «Форма» этого баланса разрабатывалась тогда, когда официально декларировалось: при социализме безработицы нет и быть не может.

Итак, безработица в стране есть. Она значительна, особенно в Средней Азии. Особенно среди молодежи. И очень быстро возрастает.

Большинство экспертов сходится на том, что безработных в Средней Азии не менее 2 миллионов. Думаю: много больше. Оценки зависят от того, какие принять критерии. Формально считаются занятыми все колхозники (они — «сохозяева»), даже те, кто в общественном хозяйстве вообще не работает, кто занят на сельхозработах один-два месяца в году. Нередко в Средней Азии, там, где работы на одного, заняты двоетрое, а то и больше. Это аграрное перенаселение, так называемая скрытая безработица. (Явная, открытая — когда человек ищет и не находит рабочего места.)

Кое о чем можно судить и по балансам трудовых ресурсов.

Если, скажем, в одной административной области в «домашнем и личном подсобном хозяйстве»

занято 5 процентов трудовых ресурсов, а в другом — 30, то во втором случае скорее всего значительна безработица. Если процент быстро возрастает, то, как правило, растет и безработица.

В последние годы опубликованы сведения о численности и структуре населения республик, о количестве занятых в республиканском народном хозяйстве. Сравним число людей в возрасте от 20 до 60 лет с числом занятых. Оказывается, в 1987 году число занятых в Узбекистане составило 75 процентов от численности людей этого «рабочего» возраста. По стране в целом — 88, а в Латвии — 95 процентов. А в 1970 году в том же Узбекистане число занятых равнялось 85 процентам от численности людей «рабочего» возраста. Как видим, всего за 17 лет доля «незанятых» возросла на 10 пунктов — с 15 до 25 процентов. Если даже предположить, что в 1970 году в республике была полная занятость, то совершенно очевидно, что в конце 80-х незанятость очень велика. Еще выше она в Таджикистане: в 1987 году число занятых в народном хозяйстве республики составляло всего 72 процента от числа тех, кто по возрасту мог трудиться. А по балансу трудовых ресурсов, «занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве», было 27 процентов от всех трудовых ресурсов. По данным журнала «Коммунист» (№ 6, 1988), в 1987 году не получили работы и не продолжили обучение 40 процентов выпускников средних школ Узбекистана. (Несомненно, что молодежная безработица — одна из главных причин событий в Фергане в мае—июне 1989 года и в Душанбе в феврале 1990-го.)

Как я понимаю, главная причина роста безработицы в Средней Азии заключается в неправильной стратегии экономического развития этого региона. Доля промышленности в народном хозяйстве была очень незначительной, увеличивалась медленно. Соответственно слабо увеличивалась, а в последнее десятилетие даже уменьшалась доля горожан в населении республики. Громадный естественный прирост сельского населения почти весь и оставался в селе, а полноценно занять людей там было нечем. По переписи 1959 года в Средней Азии было 8,9 миллиона сельских жителей, а по переписи года 1989-го — уже 19,8 миллиона. Всего за 30 лет сельское население Средней Азии выросло на 122 процента! (Для сравнения: в обширном Центральном экономическом районе — 12 областей вокруг Москвы — в 1959 году было 10,4 миллиона сельских жителей, а к 1989-му осталось 5,3 миллиона, то есть за те же самые годы сельское население здесь вдвое уменьшилось. Если в 1959 году в Центральном районе сельских жителей было больше, чем в Средней Азии, то теперь вчетверо меньше. Кстати, быстрое уменьшение сельского населения в европейской части страны очень тесно связано с его ростом в Средней Азии.)

Сколько раз с высоких трибун приходилось слышать: не всем же районам быть промышленными, высокоразвитым может быть и сугубо сельский район; главное для Средней Азии — это хлопок; вот придет сибирская вода — еще многие миллионы людей займем в сельском хозяйстве! То был пагубный путь. Стратегия развития Средней Азии как преимущественно сельскохозяйственного района и реализовалась на практике. Предупреждения о том, что Средняя Азия заходит в тупик, с ходу отметались.

В первой половине 60-х годов в Сибирском отделении Академии наук я изучал миграцию населения Сибири. Оказывалось, что Сибирь теряла очень много людей в обмене со Средней Азией. Я провел обследования на таджикских стройках и больших промышленных предприятиях (Нурекская ГЭС, Душанбинский текстильный комбинат и др.). Оказалось, что на крупных стройках и предприятиях столицы республики таджиков и узбеков (они тоже считаются здесь местной национальностью) очень мало. Резко преобладают русские и другие национальности европейского происхождения. На строительстве Нурекской ГЭС в 1964 году было 28 процентов таджиков и 52 процента русских, на Душанбинском текстильном комбинате соответственно 15 и 56 процентов; вместе с узбеками людей местного происхождения на стройке было 30 процентов, на комбинате — 25. Да и могло ли быть иначе, если по итогам Всесоюзной переписи населения в 1970 году в Душанбе таджики составляли всего 26 процентов, узбеки — 10, а русские — 42 процента?!

На громадную нурекскую стройку работников направляли со строительства Новосибирской, Братской, Красноярской ГЭС. По окончании строительства в Сибири курсы гидростроителей продолжали готовить из сибирских (главным образом сельских) парней бетонщиков, монтажников, электромонтеров, газо- и электросварщиков. Их направляли на главную стройку трудоизбыточного Таджикистана. Ведомству не было дела до проблем занятости в республике, где сложности с трудообеспечением местного населения были уже видны невооруженным глазом. Конечно, готовить квалифицированных строителей на месте было куда хлопотней, чем привезти уже подготовленных.

(Рассказывали мне, как в Нуреке обучали на электромонтеров полсотни молодых таджиков, собранных из окрестных кишлаков после окончания десятилетки. После полугодового курса ни один из них не смог сдать экзаменов. Стали разбираться в причинах этого чрезвычайного происшествия, и выяснилось, что «учили» их на русском языке, которого они практически не знали.)

А Душанбинский текстильный комбинат был чрезвычайно заинтересован в привлечении «европейских» женщин, поскольку таджички и узбечки, как правило, не работали в третью смену. Да и какой же уважающий себя мусульманин (или бывший мусульманин, или его потомок) может позволить, чтобы ночью работали его жена, сестра, дочь! Дошло до того, что много лет Душанбинский хлопчатобумажный комбинат принимал в полном составе выпускниц Красноярской школы-интерната.

Простая схема: допустим, ткачиха из Ивановской области переедет в Среднюю Азию и поступит на текстильное предприятие Душанбе (Ташкента, Фрунзе...). На ее место придет девушка из текстильного ПТУ, а в ПТУ поступит девочка из недальнего села той же Ивановской области. Это одна сторона медали. А вот другая: заняв рабочее место на фабрике в Средней Азии, ивановская ткачиха преградит путь на текстильное предприятие Душанбе местной сельской женщине. Вот так в принципе и связаны между собой обезлюдение села Российского Нечерноземья и бурный рост сельского населения в Средней Азии. По такой же схеме шли перемещения и в других отраслях народного хозяйства.

За пять лет после переписи

1959 года чистый миграционный прирост населения Средней Азии составил 319 тысяч человек, а чистые миграционные потери Центрального района — 501 тысячу.

В шестидесятые годы страна, как известно, пережила глубокий демографический провал. В 1960 году в СССР родилось 5 миллионов 341 тысяча детей, а в 1967-м — всего 4 миллиона 93 тысячи. В Средней Азии никакого провала не было. В Узбекистане в 1960 году родилась 341 тысяча детей, а в 1967-м — 360 тысяч, в Таджикистане соответственно 70 и 94 тысячи и т. д. А в Российской Федерации падение было громадным — с 2 миллионов 782 тысяч до 1 миллиона 851 тысячи, то есть на 33,5 процента, на целую треть! Через два десятилетия это сказалось на состоянии трудовых ресурсов: в России их численность стала уменьшаться, а в Средней Азии стремительно росла.

По переписи населения 1979 года на каждые 100 жителей России в возрасте от 50 до 55 лет пришлось всего 98 человек в возрасте от 10 до 15 лет (я сравниваю именно эти возрасты потому, что, когда первая группа выходит за пределы рабочего возраста, вторая входит в него; процесс этого замещения пришелся на вторую половину 80-х годов). А в Узбекистане на 100 старших пришлось 346 (!) младших, в Таджикистане — даже 362!

В 70-е годы произошел перелом в перераспределении населения между союзными республиками и экономическими районами страны — сальдо миграции для России стало положительным, для Средней Азии — отрицательным. За 10 лет между переписями 1979 и 1989 годов Россия получила чистый миграционный прирост в размере 1 миллиона 767 тысяч человек, а Средняя Азия потеряла 850 тысяч. Значительные сами по себе, цифры эти по отношению к населению данных республик невелики, они никак не меняют того, что население России в рабочем возрасте уменьшалось, а Средней Азии — стремительно росло.

То, что эти процессы не учитывались, привело к тому, что в одних регионах некому работать, а в других нечего делать.

Сейчас за все экономические и социальные беды модно упрекать науку. В данном случае за наукой греха нет. Научные работники перспективы видели куда как отчетливо; да тут и не надо иметь семи пядей во лбу — состояние трудового баланса, его приходной части однозначно и более точно, чем нужно для практических целей, предопределено на два десятилетия вперед.

Я знал ситуацию в Средней Азии и перспективы ее развития достаточно хорошо. В республиканских академиях наук у меня были аспиранты, часто бывал в Средней Азии и по научным делам, и как корреспондент столичных газет и журналов. По научной линии я регулярно публиковал соответствующую информацию. (Разумеется, в той мере, в какой это разрешалось жесткими цензурными правилами.) Для разного рода научных и руководящих инстанций более полная и более «резкая» информация шла под грифами «секретно», «для служебного пользования». А вот что касается «общей» печати — тут было куда труднее. Дает тебе союзная газета командировку, примет статью и... не печатает ее, как говорится, «не по вине автора».

Я не случайно говорю о крайнем дефиците общедоступной информации. Часто, к сожалению, приходится сталкиваться с разно-

го рода мифами, густо клубящимися вокруг Средней Азии. Вдруг услышишь, что Средняя Азия слишком роскошно живет, и, разумеется, за счет других республик... (В Средней Азии, в свою очередь, теперь можно услышать, что ее якобы эксплуатируют другие республики.)

На самом-то деле в Средней Азии наиболее низкий из всех союзных республик уровень жизни; Средняя Азия получает значительные и все растущие дотации из союзного бюджета...

Как-то в середине 70-х годов сидел я в кабинете председателя Госплана одной из среднеазиатских республик. Хозяин кабинета обстоятельно и детально рассказывал мне, какая предвидится ситуация с занятостью в ближайшей пятилетке. Замечательно все знал и рассказать умел хорошо. Суть же была вот в чем: число людей, которых надо было занять, росло стремительно, а число рабочих мест — едва-едва. Закончив рассказ, он понизил голос до шепота:

— Но об этом в газете — ни-ни...

Если бы не это «ни-ни», то, очень вероятно, до нынешней «дико растущей» и обостряющейся безработицы в Средней Азии мы бы не дошли.

Стоит специально оговорить, что это не та безработица, которая, как считают многие, включая и специалистов, может возникнуть при переходе к хозяйству рыночного типа. **Это безработица, возросшая при административно-командной системе на экстенсивном пути экономического развития.** Новая, связанная с экономической реформой безработица может добавиться к старой, наложиться на нее — тогда положение Средней Азии станет поистине трагическим.

Два десятилетия я наблюдаю, как заходит в тупик Средняя Азия, и давно утверждаю: **единственная возможность эффективного социально-экономического развития Средней Азии — ускоренная ее индустриализация и ускоренная же на этой основе урбанизация.**

Другими словами, в Средней Азии надо возможно скорее создать сотни тысяч (а может быть, и миллионы) новых рабочих мест в промышленности. И именно в промышленности занять значительную часть сельской молодежи. Это будет означать реконструкцию народнохозяйственной структуры Средней Азии: доля промышленности в ней сильно возрастет, а сельского хозяйства соответственно снизится.

Эту концепцию я многократно развивал перед экономистами Средней Азии и серьезных возражений ни разу не слышал. Соглашались? Не знаю. В реальной жизни ничего не менялось, но это скорее всего зависело не от экономистов.

В мае 1989 года мне удалось изложить свою концепцию и перед руководителями республик Средней Азии, которых собрал за «круглый стол» журнал «Коммунист». Присутствовали заместители Председателей Совминов, руководители Госпланов, секретари республиканских ЦК партии, местные академики, крупные руководители промышленности и сельского хозяйства — всего человек семьдесят. Открывал «круглый стол» тогдашний первый секретарь ЦК КП Узбекистана Рафик Нишанович Нишанов. Разговор шел о путях выхода из того острокризисного состояния, в котором находится Средняя Азия. Надо сказать, что соображения видных научных работников из столичных академических институтов хозяевами были приняты прохладно.

(«У нас есть свои представления, что нужно делать», «Мы разработали свои концепции социально-экономического развития Средней Азии».) Когда москвичи попросили изложить суть этих концепций, услышали: «Посевы хлопка надо сократить», «В кишлаках надо создать филиалы городских промышленных предприятий». И это — все! Разумные предложения, никто против них не возражает. Но дело в том, что такие меры совершенно несоразмерны масштабам среднеазиатских проблем, в том числе и острейшей проблеме занятости. Когда же москвичи предложили обсудить проблему занятости (или безработицы) — предложение, что называется, было «пропущено мимо ушей». Между тем в комплексе острейших взаимопереплетенных и взаимообусловленных среднеазиатских кризисных явлений (экономических, демографических, экологических, социальных) эта — самая болезненная, и чревата она социальными взрывами. Когда я говорил некоторым участникам беседы, что, по моему мнению, в Средней Азии усиливается социальное напряжение, в ответ слышал, что я «ошибаюсь», «все хорошо». Ну что ж, думал, местным людям виднее, все-таки взгляд со стороны не может сравниться с ощущениями тех, кто сам варится в этом котле.

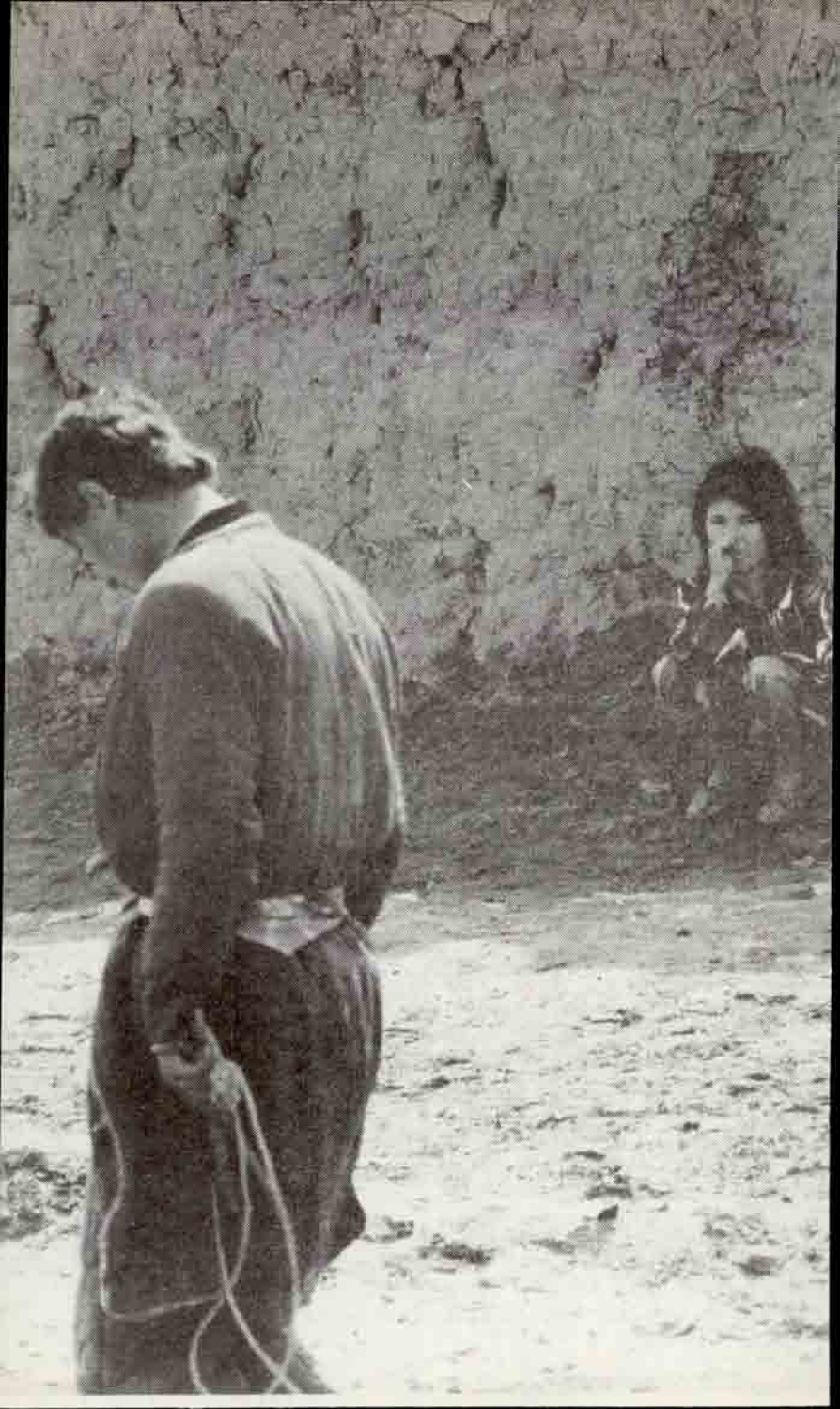
К сожалению, мой печальный прогноз подтвердился. 20 мая мы улетели из Ташкента, а 22-го началась резня в Фергане.

Читатель помнит, как Р. Н. Нишанов пытался объяснить на первом Съезде народных депутатов, что ферганские события — результат спора на базаре из-за цены на клубнику. Но когда социальные отношения накалены, поводом к столкновению, к взрыву может быть любое случайное, незначительное событие. Так, трагедия в Душанбе была вызвана прибытием из Баку нескольких десятков армян, что при нормальной ситуации было бы для 600-тысячного города явлением незаметным. Крайне низкий уровень жизни (половина населения Средней Азии находится за чертой бедности) и безработица — вот что лежит в основе нынешней ситуации в Средней Азии.

Затормозить, приостановить рост безработицы, «рассосать» ее — все это возможно только при ускоренном росте промышленности, создании в Средней Азии большого числа новых промышленных рабочих мест. Сегодня никакой альтернативы этому нет. В недавнем прошлом такой альтернативой некоторые считали орошение больших массивов новых земель водой сибирских рек. Фактически путь этот, будь он экономически и экологически выгоден, только оттягивал бы решение проблемы занятости, увеличивая ее размеры. При современной производительности труда в передовых государствах такого числа людей, занятых сельским хозяйством, как в нашей Средней Азии, было бы достаточно для всей огромной страны с ее почти трехсотмиллионным населением.

Кроме легкой и пищевой промышленности, которые пока развиты тоже крайне слабо, нужно, думаю, размещать здесь предприятия электро- и радиотехнической, электронной, приборостроительной промышленности, разнообразные предприятия, производящие товары широкого потребления...

До сих пор промышленность в Средней Азии развивалась иначе. Возводились громадные дорогостоящие сырьевые предприятия, занимавшие малое число работни-





ков. Характерный пример — Южно-Таджикский территориально-производственный комплекс: это уникальная Нурекская ГЭС, Таджикский алюминиевый и Яванский электрохимический заводы. Кстати, заводы эти нельзя было ставить в тесных, плотно населенных и плохо проветриваемых долинах по экологическим соображениям. Однако и с точки зрения занятости решение очень сомнительное — работает на этих предприятиях всего-то около 15 тысяч человек, в то время как при таких затратах можно было создать многие десятки тысяч рабочих мест.

Ускоренная урбанизация Средней Азии требует, конечно, больших капитальных затрат. Где взять их в условиях нынешнего бедственного положения государственного бюджета — вопрос сложный. Несомненно, что сами среднеазиатские республики финансировать полностью свою индустриализацию (полагаю, неизбежную) не смогут. Где взять для нее средства — забота финансистов, не будем отнимать у них хлеб; думаю, что источники необходимого финансирования есть.

Продолжение тенденций последнего времени абсолютно невозможно. Покажу это на примере Таджикистана, хотя в некоторых областях Узбекистана положение еще хуже.

По данным официальных статистических ежегодников «Народное хозяйство Таджикской ССР», в последнее время в самой маленькой республике Средней Азии совершеннолетия достигают стотысячные годичные когорты: в 1971 году родилось 112 тысяч детей, в 1974-м — 124 тысячи. К концу столетия годичные когорты молодежи станут полуторастатысячными. Куда идет сегодня молодежь после школы?

На дневные отделения высших и средних специальных учебных заведений в 1987 году принята 21 тысяча человек, в СПТУ — 29 тысяч учащихся. В сумме это менее половины годичной когорты молодежи. Если добавить к ним вечерников и заочников — чуть больше половины. С учетом неизбежного отсева профессиональную подготовку всех уровней получат около половины от общего числа молодежи. Остальные останутся профессионально не обученными или полуобученными, неквалифицированными и полуквалифицированными.

Пойдем дальше. В 1987 году в народном хозяйстве Таджикистана были заняты 1 миллион 399 тысяч человек, что на 60 тысяч больше, чем в 1985 году. За те же два года численность населения республики выросла на 320 тысяч. Прирост числа занятых составил менее 19 процентов от прироста населения. Это свидетельствует о том, что безработица быстро возрастает. Ведь во всем населении республики доля занятых составляет все же 28,6 процента. И сильнее всего эти трудности сказываются, естественно, на вчерашних школьниках. Если число занятых в народном хозяйстве составляет 71,7 процента от числа населения в возрасте от 20 до 60 лет, **то среди неучащейся молодежи в возрасте от 16 до 30 лет доля занятых — всего 62—63 процента. Не имеет работы по меньшей мере каждый третий.**

Главная причина — крайне отсталая отраслевая структура народного хозяйства республики. В 1987 году в промышленности и строительстве Таджикистана было занято всего 22 процента работников народного хозяйства — столько же, сколько и в 1970-м. Никакого сдвига за 17 лет — вот уж поистине застой! Куда же в таком случае деваться выпускникам

сельских общеобразовательных школ? За исключением малой доли, уходящей в учебные заведения всех уровней — от ПТУ до университета,— они остаются в кишлаках, идут в сельское хозяйство, давно перенасыщенное ресурсами. Таджикистан — самая «деревенская» республика страны, причем крайне малоземельная. Производительность труда в сельском хозяйстве республики крайне низка и заметно падает.

В конечном счете все это определяет чрезвычайно низкий жизненный уровень населения. По всем показателям благосостояния населения Таджикистан занимает среди союзных республик последнее место. Да и может ли быть иначе, если по стране в целом на одного работника приходится один иждивенец, а здесь — более двух!

...Большинство сельских жителей питается в основном лепешками с чаем, и им не дают клочка земли под сад и огород! Вырастает сын, женится, строит дом на участке отца, потом — другой сын, третий. Три-четыре многодетные семьи на одном — в двенадцать — пятнадцать соток — участке — явление обычное. Поистине «куренка некуда выпустить», как говорили толстовские мужики. Средняя сельская семья — больше семи человек; средний участок даже у колхозной семьи — всего семь соток!

В 1987 году на одного жителя республики приходилась одна сотка всех сельскохозяйственных угодий в личном пользовании колхозников, рабочих и служащих и 0,7 сотки пашни. Если всю эту землю отнести только к сельским жителям, то «душевой надел» повышается до полутора соток всех сельскохозяйственных угодий и до сотки пашни. Попробуй с этого «поместья» накормить свою семью да еще и город. В последние годы цены на городских рынках стремительно рвутся вверх. Фрукты уже осенью стоят примерно столько же, сколько несколько лет назад стоили весной.

— А почему бы не добавить сельским людям земли под сады и огороды? — спрашивал я прошлой осенью ответственных работников республиканских Госплана и Госагропрома.

Мне отвечали: «У нас нет земли», «Нельзя землю разбазаривать».

Земли, конечно, не много. Но ведь вся «личная» пашня — это всего-навсего 4,3 процента пашни республики. Что случится, если в личном пользовании окажется 10 или даже 15 процентов пашни? Резко возрастет производство пищевой продукции и особенно ее товарной части, которая пойдет горожанам самой республики и других районов страны, и изумительный виноград на том же душанбинском рынке будет осенью стоить прежние 50—70 копеек, а не нынешние 3 рубля за килограмм. Ведь «своя» земля в Средней Азии, как и в других местах, дает много больше, чем колхозно-совхозная. Да Средняя Азия может обеспечить круглогодовой «зеленый конвейер» почти всему населению нашей страны! А сегодня в магазинах среднеазиатских городов — консервы из Болгарии, Венгрии...

После ферганских событий в Узбекистане населению раздают 250 тысяч гектаров земли. Надо ли было ждать, чтобы «гром грянул» и в Душанбе?

Что же все-таки предлагает автор в нынешней неприглядной ситуации?

Прежде всего нужно сделать три простые в принципе вещи:

— учесть безработных;

— организовать их профессиональное обучение, переобучение и трудоустройство;

— тем, кому общество не может предоставить работу, платить пособие по безработице, как это делается во всем цивилизованном мире.

Если в Средней Азии произойдет переход к новым, более производительным формам организации труда в сельском хозяйстве — аренде, фермерству, сельскохозяйственной кооперации,— в кишлаках не окажется места миллионам нынешних сельских жителей.

На первом этапе хорошо бы достичь прекращения роста сельского населения Средней Азии, чтобы миграционный отток полностью поглощал естественный прирост сельского населения. Для этого чистый отток из кишлаков нужно увеличить многократно. Уходить должна, естественно, молодежь. И главным образом в города. Новые рабочие места — совершенно необходимое условие такого массового перехода. Но нужно не только это. Нужно еще и многократно поднять мобильность сельской молодежи Средней Азии, ее способность менять место жительства, социальное положение, профессию, квалификацию.

Для этого необходимы разработка и реализация целой системы мер, в которую должны, в частности, входить:

— резкое повышение уровня общеобразовательной подготовки выпускников сельских школ;

— ориентация школьников на городские профессии, городские ценности, городской образ жизни;

— обучение сельских подростков городским профессиям непосредственно в кишлаках;

— экономическая и организационная помощь в переселении из кишлаков в города.

Пока ничего подобного не делается, необходимость этого мало кем осознана, сплошь и рядом встречаешься с людьми, которые даже гордятся тем, что молодежь не уходит из кишлаков. Спросишь руководителя районного или областного уровня о том, куда пошли выпускники сельской школы, и слышишь: «У нас с этим все хорошо — почти все остались в кишлаках».

Поразительна сила шаблонов. Что хорошо для Российского Нечерноземья, то почему-то считается прекрасным и для Средней Азии.

В конечном счете жизнь крушит любые предрассудки. Часто, к сожалению, с большим опозданием. Вот деталь. Несколько лет назад из Таджикистана стали направлять в ПТУ России и Украины выпускников сельских школ. По шесть тысяч в год. Мыслилось: молодые люди получат хорошую профессиональную подготовку, часть их останется в России и на Украине, а возвратившиеся будут поднимать профессиональный уровень рабочих республики и т. д. Замысел был хорош, исполнение — много хуже. Оказалось, в частности, что выпускники сельских школ плохо владеют русским языком; ребят обманывают: при наборе обещают «самые престижные специальности», а фактически ими «затыкают дыры», возвратившихся в республику не могут трудоустроить по полученным ими специальностям и т. д.

Исследовавшие проблему работники АН Таджикистана пришли к выводу, что в таком виде направление сельской молодежи в ПТУ других республик нецелесообразно. А Госплан республики с этим не согласен, и некоторые его работники полагают, что число направляемых ребят надо сильно увеличить.

Но как бы там ни было, пода-

вляющую массу нынешнего и будущего трудоспособного населения Средней Азии следует обеспечить трудом и заработком в самой Средней Азии. Нет оснований рассчитывать на большую миграцию коренного населения за ее пределы ни сейчас, ни в близком будущем. Реальный выход один: ускоренная индустриализация и ускоренная урбанизация Средней Азии. Другого пути нет. И как бы ни был сложен и труден этот путь, пройти его придется.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Не со всеми суждениями и выводами В. Переведенцева можно согласиться. Их спорность, а порой категоричность, на наш взгляд, способны вызвать ответную реакцию как специалистов, так и «рядовых» читателей «Смены». Мы надеемся, что разнообразие мнений по затронутым в статье вопросам если и не решит всех проблем, то наверняка заставит всерьез задуматься о них.



— Как строилась Ваша карьера? Какое влияние на нее оказал Ваш отец — композитор Кирилл Молчанов? Кто Вам помогал?

— Я рад, что родился в семье, которая связана корнями и традициями с русской культурой. Я рос прежде всего в атмосфере МХАТа; у нас в доме бывали великолепные художники, музыканты. Первый муж мамы — известнейший театральный художник Владимир Владимирович Дмитриев. Он умер рано, и мою сестру с восьми лет воспитывал уже мой отец. Художники, мхатовские актеры — отец писал очень много музыки к спектаклям — мои первые детские воспоминания. Актеры того времени были неизмеримо выше, образованней, чем современные. Помогали мне родители? А чем мог помочь композитор, не самый известный и не самый гениальный в 60-е годы? Отец не имел тогда никаких постов. Правда,

Владимир Молчанов:

«ЖИЗНЬ, ПО КОТОРОЙ ТОСКУЮ»

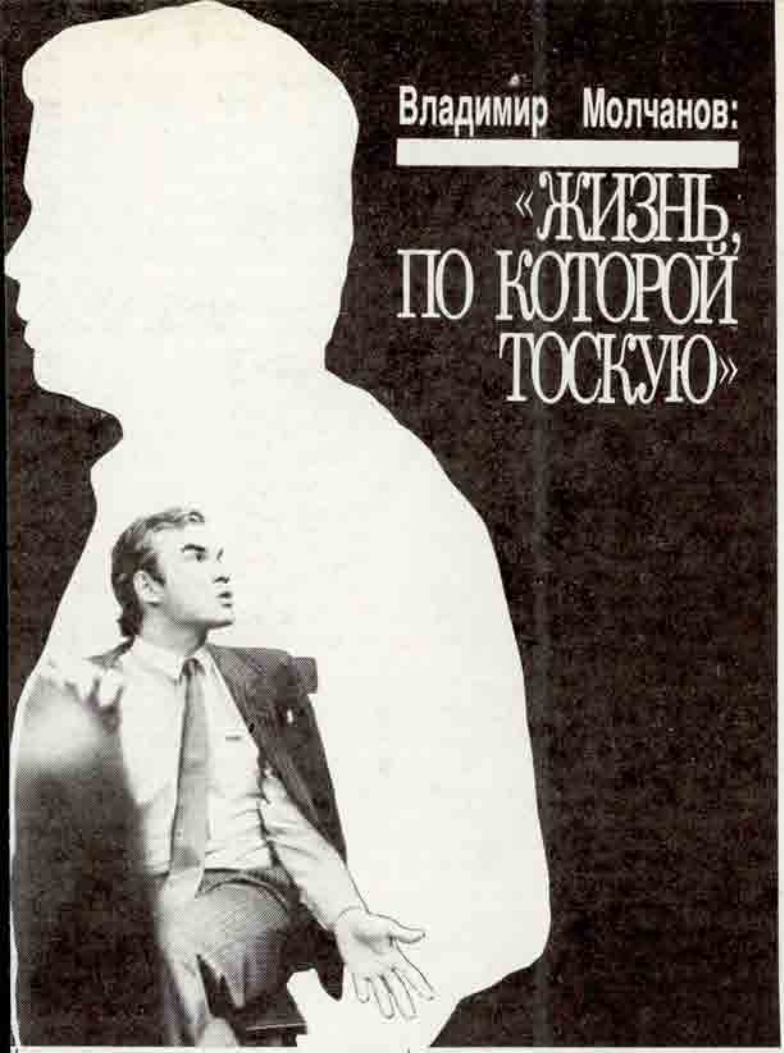


Фото Владимира Чейшвили

в 1973 году его назначили директором Большого театра. Я, окончив университет, уже работал в АПН, а моя сестра Анна Дмитриева — сейчас она спортивный комментатор на ТВ — с огромным трудом после тренерской работы осваивалась на радио... Отца после одного из спектаклей в Большом театре пригласил Косыгин. Они мило пообщались, а в конце беседы Косыгин сказал: «У вас есть дочь, сын, может быть, нужна моя помощь?» Отец ответил: «Спасибо большое, у них все в порядке». Мне никто не помогал делать карьеру, но я и не считаю сделанное карьерой.

— У нас несколько извращенное понятие о карьере. Честная карьера — это замечательно!..

— Согласен. Но есть карьера грязная, где идут по трупам. Как правило, это карьера политика.

— Скажите, только откровенно, Ваша программа «До и после

полуночи» была придумана для самоутверждения или для самовыражения?

— Придумывалось все элементарно. Проработав тринадцать лет пишущим журналистом, я был приглашен на ЦТ человеком, делавшим перестройку на ТВ. Это Леонид Петрович Кравченко, сейчас он генеральный директор ТАСС, а тогда — первый заместитель председателя Гостелерадио СССР. Был приглашен делать утреннее шоу. К тому времени я устал от того, что ничего путного не творил в АПН. У меня была хорошая школа, много ездил за границу, правда, непонятно для чего. Написал две книжки, не могу сказать, что это литература,— обычная документалистика. И понял, что ТВ — единственный выход накопившегося во мне плюс возможность хоть какого-то творчества. Утренняя программа не получилась, но мы столько готовились, что решили попробовать сделать из нее ночную, ведь телевизионное вещание прекращалось около 23 часов. А сколько людей в стране, которые страдают бессонницей, неудачливы в жизни, несчастны, одиноки и тоже хотят с кем-то общаться. Сделали — и пошло. Потом программа стала, конечно, и самовыражением.

— Тщеславие и честолюбие — не последние слагаемые в Вашем характере. В каких они количествах?

— Думаю, я совершенно не тщеславен, но достаточно честолюбив. Нельзя быть не честолюбивым. Это — хорошее качество. А тщеславие, как правило, от надутости.

— Ваши комментарии в программе «Время» более сдержанны, чем в коронной передаче. Скажите, где Вы, а где маска — плод Вашей фантазии? Телевизионный имидж и Вы — это одно или все-таки есть какая-то разница?

— Как правило, люди, которые со мной общаются, узнают во мне ведущего «До и после полуночи». Программу «Время» я не люблю, и вряд ли кто-нибудь ее любит. Самая «смотрительная» передача новостей, но она холодная, протокольная, официозная. Я «выхожу» с голой информацией, но стараюсь излагать ее более или менее человеческим языком.

— «До и после полуночи» становится традиционной в плохом смысле. Очень легко предугадать многие приемы, сюжеты и комментарии. Маловато контрапунктов, непредсказуемостей, алогизма и, конечно, режиссерской изобретательности...

— Согласен с Вами, но, может быть, уже притерпелось? В марте программе исполнилось три года. Начиналась-то она как раз на контрапунктах и алогизмах. Но спустя пять-шесть, может быть, семь передач к ней привыкли и заранее знают, что после чего будет. Скажем, после «провинциальных новостей из Урюпинска» пойдет «Видеоканал для полуночников». После какого-нибудь рассуждения о сегодняшней жизни — страница «До Октября». Действительно, она уже стала традиционной, и это меня огорчает. Ведь телевидение тем и прекрасно, что, работая здесь, ты можешь за несколько недель, за месяц создать нечто совершенно новое. Просто нужна динамика, мобильность. Нужны новые люди с новыми идеями.

— Вы почти всегда что-то недоговариваете в своих комментариях в «До и после». Насколько Вы свободны?

— Я свободен на сто процентов, потому у меня и неприятности практически после каждого эфира. «Как можно было сказать то, как можно было сказать это». По большому же счету не свобо-

ден, ибо я — плод журналистики времен Брежнева, когда идеологией руководил Суслов. Цензора из меня уже не выветрить. Страх будет сопутствовать, наверное, до конца жизни.

— Такой грустный вопрос. Если завтра придется расстаться с телевидением, чем Вы можете заняться? Что Вы еще умеете делать?

— В общем, единственное, что я делал в своей жизни,— писал и занимался журналистикой...

— А если лишат и журналистики?

— Ну что ж, придется стать нормальным, настоящим мужчиной и подумать о том, что у тебя есть семья, ты должен ее защищать, поддерживать и взяться за любую работу. У нас в стране столько непрофессионалов, ну, будет одним больше.

— А что, Ваша семья нуждается в защите?

— Любая семья, особенно сегодня, нуждается в защите. Любой ребенок. Я очень боюсь за свою восьмилетнюю дочь, поэтому провожаю ее в школу и встречаю.

— А если Вас назначат председателем Гостелерадио СССР?

— Никогда бы не согласился. Это не для меня. Не умею руководить людьми, могу лишь заниматься творчеством (с небольшой группой); с махиной, насчитывающей, по-моему, тысяч 80 по стране, мне неинтересно. С удовольствием был бы руководителем одной программы или маленькой редакции, выпускающей одну-две программы, где участвовал бы не только как руководитель, но и как журналист.

— А если бы все-таки пришлось стать руководителем, какие крутые перемены Вы совершили бы на нашем пуританском ТВ?

— Во-первых, постарался бы сразу же организовать альтернативное телевидение. В моем представлении это не оппозиционное телевидение, а конкурентное, которое бы предоставляло возможность выбора программ. Во-вторых, изменил бы корпус журналистов, позвал людей с новыми, незастывшими идеями. В основном ориентировался бы на молодых журналистов. В-третьих, мне очень не нравится режиссура на ТВ. Сам, к сожалению, не имею режиссерского образования. Есть пара приемов — сверху, снизу, микшер — вот и все. Надо звать молодых, талантливых ребят из ВГИКа. Они ведь часто сидят без работы. Пусть пробуют себя, делают режиссерское телевидение. Я всегда хотел работать вслед за режиссером, делать не авторскую программу, а режиссерскую, как было у Любимова на Таганке, с ансамблем талантливых артистов. У меня идеи скорее творческие, нежели кадровые, хозяйственные, хотя их тоже надо решать, и быстрее. Посмотрите, как живет Главная редакция информации. Работаем по 24 часа в сутки, как на конвейере. Спим здесь же на полу, под каким-то солдатским одеялом, мне негде побриться, принять душ перед эфиром. Это не жизнь, а ужас.

— Сколько времени тратите на дорогу до дома?

— На машине полчаса. Но иногда не могу себе этого позволить. Едва кончается «Орбита», должен сразу приступать к монтажу первой программы.

— Вы бывали в Голландии, жили там. У Вас есть свой счет в банке?

— Нет. За что мне могли платить? Я работал корреспондентом АПН ровно год. Помимо этого, около полусотни раз ездил в короткие командировки — недельные, двухнедельные, имея при

себе суточные советского командировочного. Их в банк не положишь.

— А затраченные Вами силы, энергия, эмоции соответствуют оплате на советском ТВ?

— Я человек материально непритязательный. У меня русская психология. Советская. Она ограничивается достаточно уютной двухкомнатной квартирой, которую я имею. Много денег мы тратим на книги. При нынешней, достаточно большой по советским понятиям зарплате могу позволить покупать для себя и для своей дочери свежее мясо, которое нынче по 15 рублей на рынке. Что еще мне надо? Всегда мечтал иметь за городом маленькую дачу или маленькую квартиру. Ее я сейчас строю...

— Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы обеспечить семью? Я хотел бы услышать конкретную цифру.

— Я просто не знаю. Когда я учился в университете, то ходил с женой раз в неделю в кафе «Националь». Мы заказывали по «киевской» котлете и по чашке кофе — безумно наслаждались этим, а сегодня за то же самое мы должны, наверное, заплатить рублей 12, поэтому трудно понять, какие у тебя потребности. Как минимум, тысячу рублей.

— Вы зарабатываете столько?

— Да, около тысячи, иногда чуть меньше — восемьсот. Только не путайте — получать и зарабатывать. Получает зарплату чиновник за то, что сидит и подписывает приказы, дает указания. А я все время работаю. Бесконечно бегаю куда-то, езжу, снимаю, упрашиваю, уговариваю, ругаюсь.

— Что беспокоит Вас в нашей действительности?

— С большой грустью, например, думаю о проблеме человеческого рода, потому что продолжительность жизни у нас самая короткая. Всегда удивляло, что люди, прошедшие тяжелейшие сталинские лагеря, по 15—20 лет отсидевшие в этом ужасе и чудом выжившие, живут, по нашим понятиям, очень долго. Они воспитывались на естественном воздухе, продуктах. Я живу на Садовом кольце, где во много раз превышена норма всяческих выбросов, и с грустью смотрю на будущее своей дочери, которая уже изначально в общем-то нездоровый человек. Дальше. Меня беспокоит будущее интеллигенции. Интеллигент в нашей стране вымирает. Был уничтожен генофонд и лучшие умы нации. Откуда теперь их взять? Для восстановления нужны не десятилетия, а века.

— Скажите, а кого бы Вы хотели увидеть вновь из тех, кого уже нет среди нас?

— О! Я хотел бы сделать целую программу с этими людьми. Недавно мы с сестрой как раз думали об этом. Если б я пришел на ТВ, предположим, в 73-м году, когда еще жили многие из тех, кого я любил, кого из них пригласил бы в программу? Очень многих! Пригласил бы моего кумира, бывшего главного хирурга института Склифосовского Бориса Александровича Петрова, одного из создателей искусственного пищевода. Истинный русский интеллигент, блестяще образованный человек, великолепный хирург, спасший за свою жизнь десятки тысяч людей. Его я бы пригласил в первую очередь. Пригласил бы мхатовских стариков, кого уже нет.

Обязательно тех, кто приходил в моем детстве в наш дом: Иосифа Моисеевича Раевского, Павла Александровича Маркова, Станицына, Ливанова, Массальского.

— Вы как-то по-особенному тоскуете по ним?

— Да, тоскую. Тоскую по той атмосфере, в которой рос с детства. В последнее время во сне стал видеть ушедших, тех, кого знал. Говорят, если они зовут к себе, это опасно. Меня это немножко даже пугает.

— За что Вас могут ненавидеть люди?

— Ненавидеть? Я могу прочитать письма, которые наполнены ненавистью, но ведь это не ко мне. Это к тем людям, которые появились благодаря тому, что начал делать Горбачев. Меня обвиняют в антисоветизме, в том, что я делаю антисоциалистические передачи. Обвиняют, что я, Невзоров и еще некоторые ребята — причина идеологического разложения. Вот у меня лежит одно письмо — я могу назвать его политическим доносом. Человек пишет, что корень всех бед в нашей стране — идеологическое разложение. Это же тяжелобольные люди, которые относятся ко мне, и не только ко мне, с антипатией. Мне их жалко. Есть такое редчайшее заболевание в медицине, когда отключается одно полушарие, а второе работает, как у собачки Павлова: что вложили, то и выдает. Вот так вкладывали начиная с 20-х годов в наши мозги, и не у одного человека, а у целого общества сформировалось однополушарное мышление. От моей мамы, которая намучилась в своей жизни — когда деда расстреливали, когда бабушку в ссылку отправляли, когда ее из театрального училища исключили, как дочь врага народа,— я ни разу не слышал, что она ненавидит Сталина. Потому что страх ее — вечный, никогда не проходящий. Она мне каждый раз и до передачи, и после говорит: «Будь осторожен, тебя арестуют, тебя посадят». Она не верит, что в нашей стране может быть свобода. И я ее понимаю — изломанная психика.

— Сегодня нет никаких гарантий. Неизвестно, завтра будет лучше или хуже...

— Конечно, неизвестно...

— Это крушение или становление?

— Начало становления, но при этом идет очень жестокая борьба. И я считаю, что вот тут-то не могу уходить в сторону, ведь мне скоро 40 лет, и лучшие годы уже позади. Раньше я молчал, не хотел компрометировать себя играми в развитой социализм. Считаю, что задача журналиста сейчас успеть что-то сказать.

— Согласен. И дай Вам Бог. Давайте перейдем на лирику. Что Вас лично восхищает в женщине?

— Когда-то в детстве любил французского артиста Жерара Филипа. Чуть позже прочитал его книгу. На вопрос: «Что вы цените больше всего в женщине?» — он ответил: «Нежность, ясность ума и благородство». Вот эти три вещи действительно отвечают тому, что я ценю в женщине. Могу добавить, что люблю красивые фигуры.

— А что огорчает в женщине, живущей в нашей стране?

— Огорчает то, что у нее нет времени быть женщиной — ухаживать за собой, поддерживать красоту, жить нормальной жизнью, а не тащить картошку или капусту. Ведь это убого. Она не может позволить себе красиво одеваться.

— Вам не бывает стыдно за свои сюжеты в программе, за какие-то Вами сделанные работы?

— Я понял Ваш вопрос. Нет. Надеюсь, в 33 выпусках «До и после полуночи», которые сделали, мы не лгали. Может быть, в чем-то ошибались.

— Вы уже нащупали свой... «потолок»?

— Не знаю. В АПН у меня была нормальная жизнь, а телевиде-

ние — вещь жестокая. Я мог бы стать обычным редактором или плохим репортером. Но что-то получилось... Получилась интересная, на мой взгляд, передача. Способен ли на большее — не знаю.

— И последний вопрос. Вы работаете на полную катушку?

— У меня нет времени, чтобы заняться еще чем-то. Хочу попробовать снять документальное кино. И только черно-белое. Эти краски мне говорят больше, нежели цветные. Есть судьбы людей, которые я не могу показать в 8—10 минутах своей программы. И еще. Очень хочу поехать в какую-нибудь маленькую русскую деревеньку, где стоит церковь и живет священник. Там идет жизнь, по которой я постоянно тоскую.

Беседу вел АКИМ САЛБИЕВ.

ФОТОСССР

'89

Из работ, представленных на Всесоюзной фотовыставке



А. ФУРСОВ. «Годы, годы...»



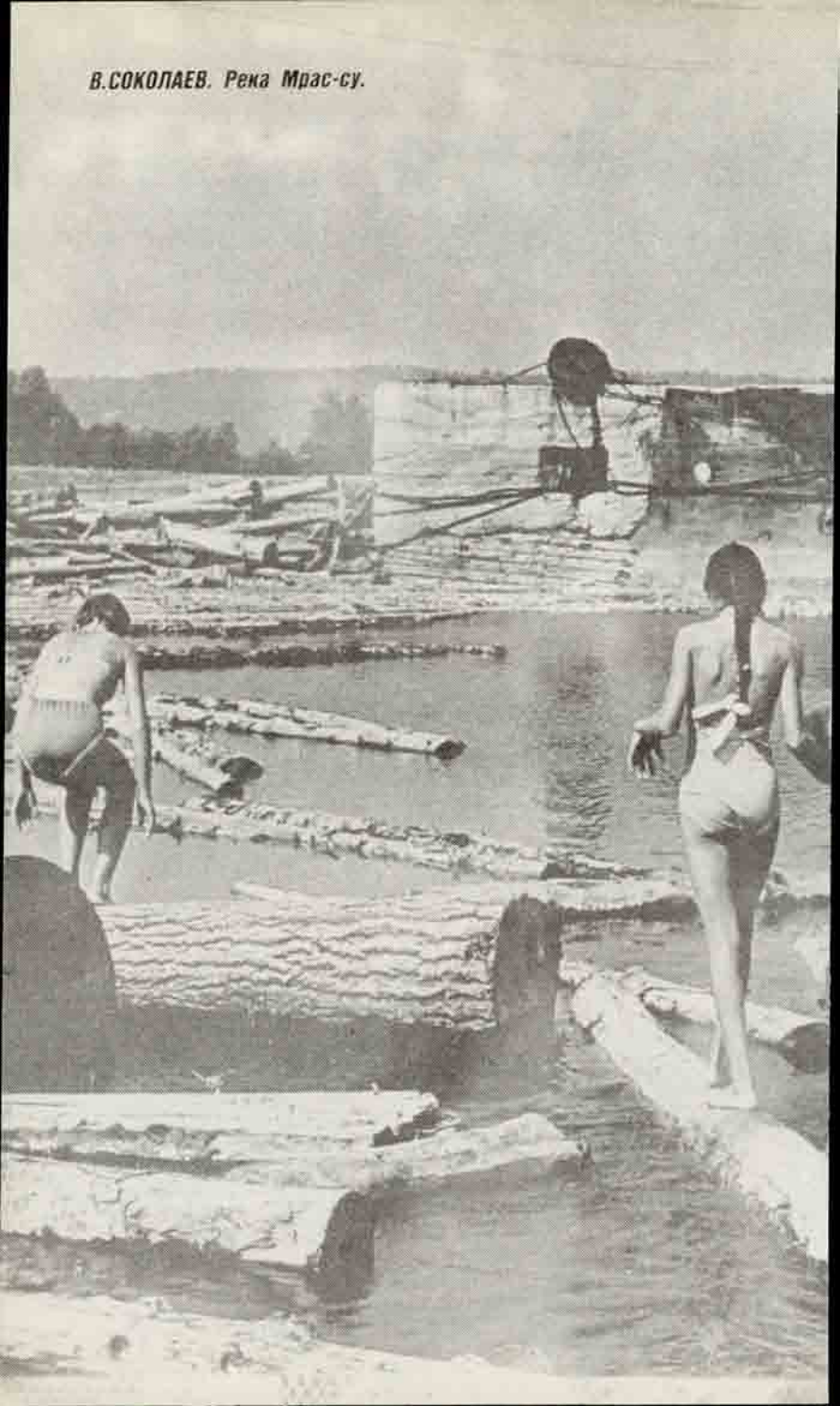
П. КАССИН.
Колхоз «Заветы Ильича».



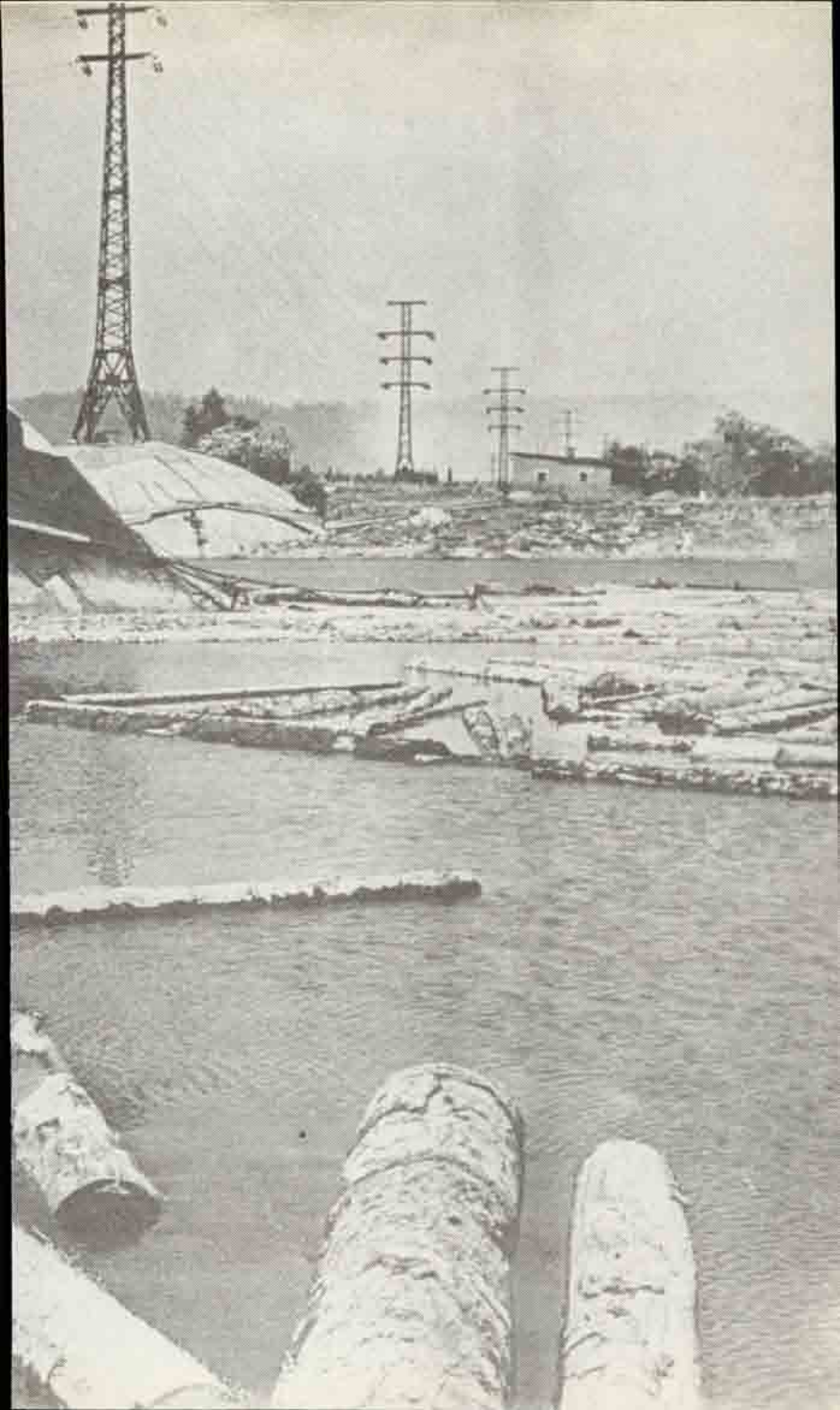

А. ФУРСОВ. Бабушкины внучки.



И.ТЕРЕХОВ. Происшествие.



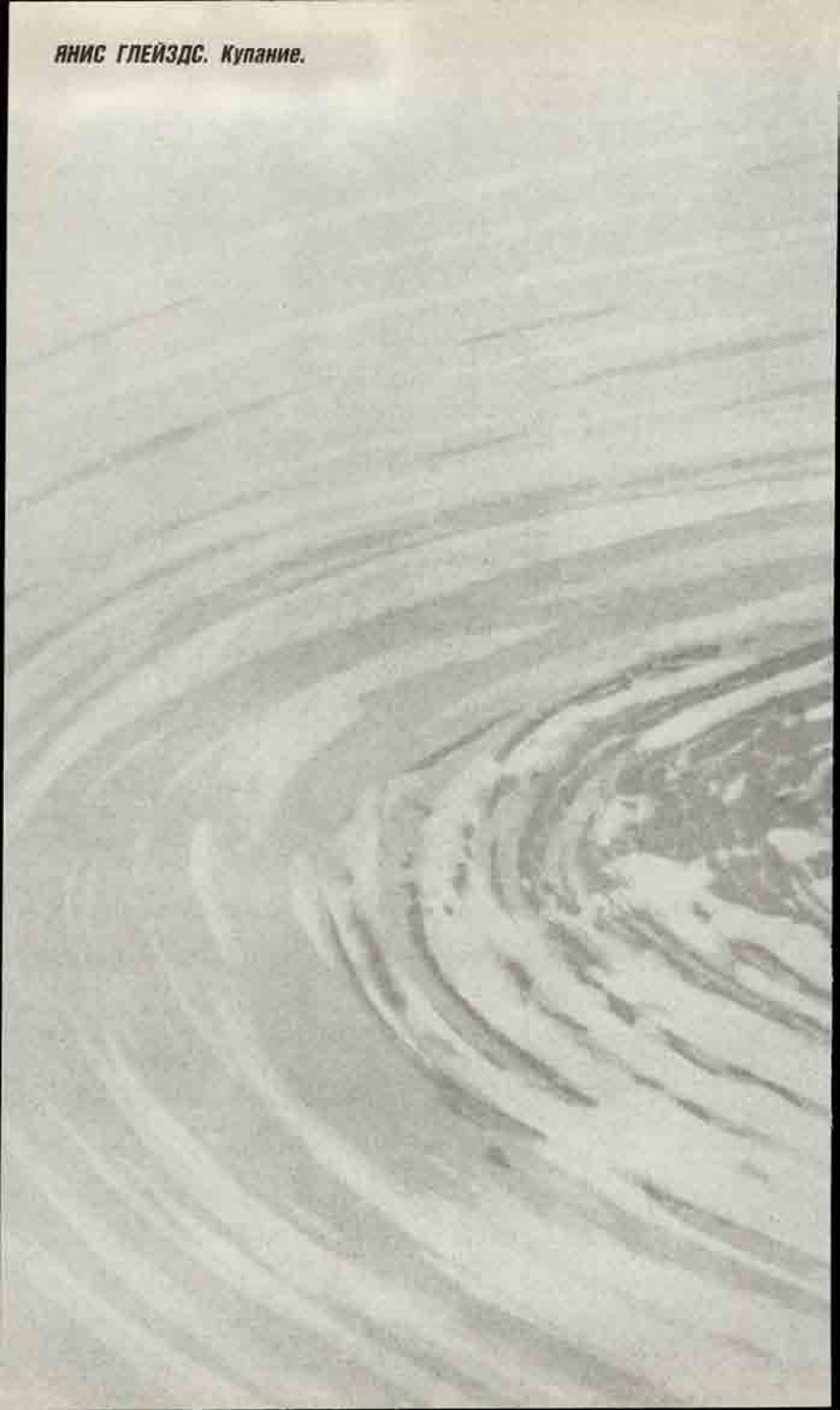
В.СОКОЛАЕВ. Река Мрас-су.





В. СОКОЛАЕВ.
Торжественная регистрация новорожденного.

ЯНИС ГЛЕЙЗДС. Купание.





ЧИТАТЕЛЬ•«СМЕНА»•ЧИТАТЕЛЬ

По счету милосердия
Жилье — только передовикам?

Активистов Московской городской организации Общества Красного Креста тронул материал «Бесплатный суп» («Смена» № 22, 1989 г.).

Выражаем большую благодарность за эту публикацию, за возможность информирования широкого круга читателей, в том числе молодежи, о благородных и милосердных делах Люблинского районного комитета Общества.

В настоящее время в городе уже развернуто тридцать благотворительных столовых при непосредственном участии большинства райкомов Общества, активной помощи органов социального обеспечения, учреждений общественного питания и других организаций.

Оплата обедов, отпускаемых малообеспеченным гражданам, проводится за счет средств, поступающих в качестве пожертвований от трудовых коллективов, отдельных москвичей.

Всем, кто хочет помочь нуждающимся, поддержать больных и немощных, сообщаем расчетный счет Московского городского комитета Общества: 700705 I ОПЕРУ МГУ ЖИЛСОЦБАНКА.

У городского комитета Общества есть и еще одна проблема. В прошлом году в Москве, как и в целом по стране, по различным причинам резко сократилось количество безвозмездных доноров. Практически сорваны «Дни донора» в студенческих коллективах. Все это нарушило обеспечение стационаров города донорской кровью, осложнило лечение больных.

Стоит ли напоминать, что безвозмездная дача крови — наивысшее проявление милосердия, гуманный, благородный долг гражданина, дарителя крови во имя исцеления болезни, сохранения жизни сограждан.

Л. Г. БУРКОВСКАЯ,
председатель МГК
Общества
Красного Креста

О злодеяниях Сталина и его окружения написано в прессе очень много, но, к сожалению, дальше констатации фактов практических выводов не делается.

Бывший Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин не только был свидетелем сталинских преступлений, но и прямым соучастником. Спасая свою шкуру, он даже не оградил свою собственную жену от сталинского произвола и в общем строю подле-

цов тогдашнего правительства воспевал «гениальность» палача, а жена его, старая революционерка, томилась на каторжных работах в сталинских лагерях. В его адрес шли душераздирающие письма от родственников репрессированных, но, увы, никому он не помог.

Почему до сих пор именем Калинина названы десятки городов, сотни улиц, предприятий, колхозов, совхозов, воинских подразделений? Как же можно уважать и помнить такого человека, чье имя связано с преступным режимом?

Как коммунист, как человек, пострадавший от произвола в 30—40-е годы, считаю, что давно пришла пора переименовать все, что названо именами преступников. Например, Ворошиловград должен быть назван Луганском.

М. Г. СТАРОСТИНА,
Ялта

Прочитала в № 22 «Смены» за 1989 год письмо женщины из Молдавии, где написано о том, что если женщина живет одна с сыном, которому исполнилось девять лет, ей по очереди, конечно, дают двухкомнатную квартиру, а с дочкой девяти лет — однокомнатную. Я живу в Удмуртии, в Ижевске. Работаю на п/о «Механический завод». Моему сыну девятнадцать лет. Разведена с мужем уже пять лет. После размена живу в однокомнатной квартире 16,1 м². В январе 1987 года писала заявление в профком на расширение жилой площади, но на очередь поставлена не была, так как у нас больше 5,5 м² на человека. По существующему на заводе положению меня поставили бы на очередь, будь я передовиком производства, рационализатором, изобретателем и т. д. Но у меня нет таких заслуг.

Я дочь алкоголика и бывшая жена пьяницы. Не секрет, что многое в нашем государстве было построено на «пьяных» деньгах, а следовательно, на наших женских слезах. Отец мой ушел из жизни в шестьдесят четыре года. Не мне его судить, он прошел четыре года фашистского плена и потом заливал свое унижение водкой, хотя не его была вина, что эшелон, в котором его везли на фронт, пришел прямехонько в окружение к фашистам. В детстве видела пьянство отца и слезы матери, затем весь этот кошмар пережила сама. А что я имею сейчас? 16 м² на двоих с взрослым сыном, издерганные нервы, разбитые надежды.

Матерям-одиночкам льготы предоставляются, а о разведенных женщинах у нас почему-то стыдливо молчат.

Г. К. ЮШКОВА,
Ижевск

«...ЭТА БОЛЬ ЧЕРЕСЧУР ГОРЯЧА»

История русской духовной поэзии XX века изобилует именами поэтов, чье становление пришлось на 20—30-е и более поздние годы, когда о публикациях такого рода стихов нельзя было и помыслить.

К этой плеяде по праву можно отнести поэта и переводчика Николая Владимировича Стефановича.

Родился он 24 декабря 1911 года (по ст. стилю) в Варшаве, в семье мирового судьи и преподавателя русского языка и литературы Владимира Митрофановича Стефановича. С началом первой мировой войны русских эвакуировали из Варшавы, и семья переезжает в Москву. В 1928 году Николай успешно сдает экзамены на Высшие литературные курсы, представив при поступлении свою работу о Ф. И. Тютчеве, и зачисляется сразу на 2-й курс.

Работой о Тютчеве заинтересовался известный литературовед и писатель Г. И. Чулков. Он очень тепло отнесся к юному Стефановичу, охотно принимает его у себя, приобщает к литературной среде, где Стефанович знакомится с А. Белым, А. Ахматовой, М. Кузминым.

Некоторое время поэт работает у М. Цявловского над рукописями Пушкина, помогая в подготовке 6-томного собрания сочинений.

Для продолжения образования Стефанович направляется в МГУ, но отсутствие «рабочего происхождения» помешало ему стать студентом университета.

По совету одного из друзей он поступает в театральное училище при театре имени Вахтангова, а после окончания училища выступает на сцене театра. Но главное место в его жизни занимает поэзия.

24 июля 1941 года в Вахтанговский театр, где дежурил Николай Владимирович, попадает немецкая авиабомба. Пролежав четверо суток под развалинами и чудом уцелев, Стефанович на всю жизнь остается инвалидом.

Несколько лет приходится жить на одну инвалидную пенсию. Но в 1946 году его стихи попадают к Б. Слуцкому, который принимает в судьбе поэта самое активное участие. По рекомендации Слуцкого Стефанович начинает работать в переводческой секции Гослитиздата, занимаясь переводами с восточных и восточноевропейских языков. Стихи Тагора, Врхлицкого, Верлена и многих других поэтов в переводах Стефановича напечатаны более чем в 60 сборниках.

К началу 50-х годов относится знакомство поэта с Борисом Пастернаком, который высоко ценил оригинальное творчество Стефановича, называл его и Заболоцкого лучшими «из живущих ныне в России» переводчиками поэзии. Не случайно на одной из своих переводных книг, подаренных Стефановичу, он написал: «Поэту, человеку близкого мне, огромного и чудесного мира». По мнению Пастернака, лишь Стефановичу удалось дать наиболее глубокое и точное определение его поэзии.

При жизни Стефановича стихи его выходили в серьезных изданиях только два раза — в сборниках «День поэзии» в 1970 и 1976 годах. И то лишь благодаря протекции Слуцкого и Наровчатова.

Лирика Николая Стефановича была не ко времени.

Умер поэт 14 апреля 1979 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, от которой неотделимо его творчество и где прошла вся его жизнь.

Литературное наследие Стефановича невелико. Около 250 небольших лирических стихотворений, три поэмы и прозаическая работа «У времени в плену».

Предлагаем читателям подборку ранее не публиковавшихся стихотворений поэта.

ЕВГЕНИЙ ДАНИЛОВ

=

Когда все спит, а месяц бледно-розов,—
Сквозь мрак и ночь, преградам вопреки,
Зовут куда-то дальних паровозов
Просторами промытые гудки.

Внезапный свист как ток прошел по нервам.
Всего, что чувствую, не передашь...
Быть может, этот зов услышал первым
Какой-то древний предок наш?

И в этот миг тоска его слепая
О вечном счастье в сказочном краю,—
Тысячелетья вдруг пересекая,
Сквозь жизнь проносится мою.

=

Во сне не чувствуем, что спим.
Мне снилось тихое предместье,—
С тобой по улицам пустым
Мы шли опять куда-то вместе.

Во сне присутствуешь в былом,
Не сожалея, не печалясь...
И мы беспечно шли вдвоем,
Совсем не ведая о том,
Что мы давно уже расстались.

=

«Вместо него лежала только куча золы».
Н. В. ГОГОЛЬ *(«Вий»)*

Пепел руками трогали —
Где-то в бесовской глуши...
Был, вероятно, у Гоголя
Острый катар души.

Разве такое вылечить
Ладаном, бромом, борьбой?
Эх, Николай Васильевич,—
Бедные мы с тобой...

=

Мы вновь неделимое делим,
И снова, по воле твоей,
Подчеркнуто синим апрелем
Убожество черных ветвей.

Ты светлая вся, ты такая ж,
Как неба вечернего край...
Я сделаю все, что желаешь,
Но ты ничего не желай.

═

Мы с нею шли во мгле весенней
И было странно и смешно,
Что наши чопорные тени
Теперь сливаются в одно.

Я улицы шагами мерил,
Когда, взволнованно светла,
Она была уже за дверью,
Уже со мною не была.

Опять углы, опять заборы,
Синеет ночь со всех сторон,—
Как хорошо вещам, которым
Не надо собственных имен.

Как хорошо, что нежен воздух,
Что неба светятся края,
Что спят сады, мерцают звезды
И я, как прежде, только я...

═

Если слово становится термином,
Значит, некуда ниже упасть,
Значит, в даме, увиденной Германном,
Обнаружится черная масть.

Пустота, ни травинки, ни кустика,—
Все под корень, на плаху, на слом,
И какая-то в сердце акустика,
Как в холодном углу нежилом...

═

Старику сидеть у склада,
Охраняя вход,
А ему домой бы надо,
Ведь хозяйка ждет.
Бесконечнее столетий
Бег таких минут...
Почему нигде на свете
Лишь меня не ждут?
Остается выть, оскалясь,
В мутной мгле, в снегу...
Дед, ступай, тебя заждались,—
Я постерегу.

Сработали загадочные гены,
Взъерошились молекулы белка —
И в памяти проносятся мгновенно,
Затерянные где-то во вселенной
Далекие дремучие века.

Ты вечной стать, душа, не захотела,
Ты лишь вела своим утратам счет,
А бренный прах, а немощное тело,
Не ведая ни края, ни предела,
Свое бессмертье вдруг осознает.

Мы не люди давно, мы — товарищи
По несчастью, по лжи, по цепям.
Страшен взор, подозрительный, шарящий,
Что за нами скользит по пятам.

Нас не голодом душат, не жаждою,
Но какой-то кромешной тоской,—
Все трудней нам с минутою каждою...
Что случилось,— собратья, сограждане,
Как дошли мы до жизни такой?

Когда обрушатся привычные понятья
И оборвется вдруг связующая нить,—
О если бы тогда ни с кем не объясняться
По поводу того, что трудно объяснить.
О если бы тогда не думать о спасеньи,
А вдруг почувствовать сквозь хаос и развал,
Что я неотделим от мошек и растений,
От карканья ворон, от сырости весенней,
И что я это все уже переживал.

Все разбито, растоптано, распято,
А весна вдруг забила ключем,
Но по чувствам, точнее, по паспорту,
Ты навек из весны исключен.
Прорван фронт, опрокинуто воинство,
Все равно не сдавайся, держись:
И проигрывать надо с достоинством,
Даже если проиграна жизнь...

Забыть бы об удушливой тоске,
Что в жизнь мою сквозь все проникла щели,

О том, что на ученом языке
Зовется пустотою Торричелли.

И даже вечность бросив на весы,
В итоге встретишь пустоту такую ж...
Не лучше ли остановить часы,
Раз все равно уже не существуешь?

=

На подступах к весне бурлим, хлопочем:
Длиннее день, и сократилась ночь.
Но вскоре замечаем, между прочим,
Что дни опять становятся короче,—
Весна не ждет, она умчится прочь.

И вот уже умчалась, убежала,
И снова мир потонет в снежной мгле,
И снова гололед, и ветер шалый,
И робкая надежда, что, пожалуй,
Еще перезимую на земле.

=

Соблюдаю законы и чту
И при входе в метро и при выходе,
Но становится невмоготу
Жить в оковах и с тряпкой во рту
Ради чьей-то бессмысленной прихоти.

Обращаюсь, от боли крича,
К тем, что совесть еще не утратили,
Эта боль чересчур горяча,—
Нет, не «Скорую», нет, не врача:
Собеседника, друга, читателей...

=

О, Россия, как Иов по Библии,
Обнажилась ты вся до костей,
И бездонная пропасть погибели
В каждой луже синеет твоей.

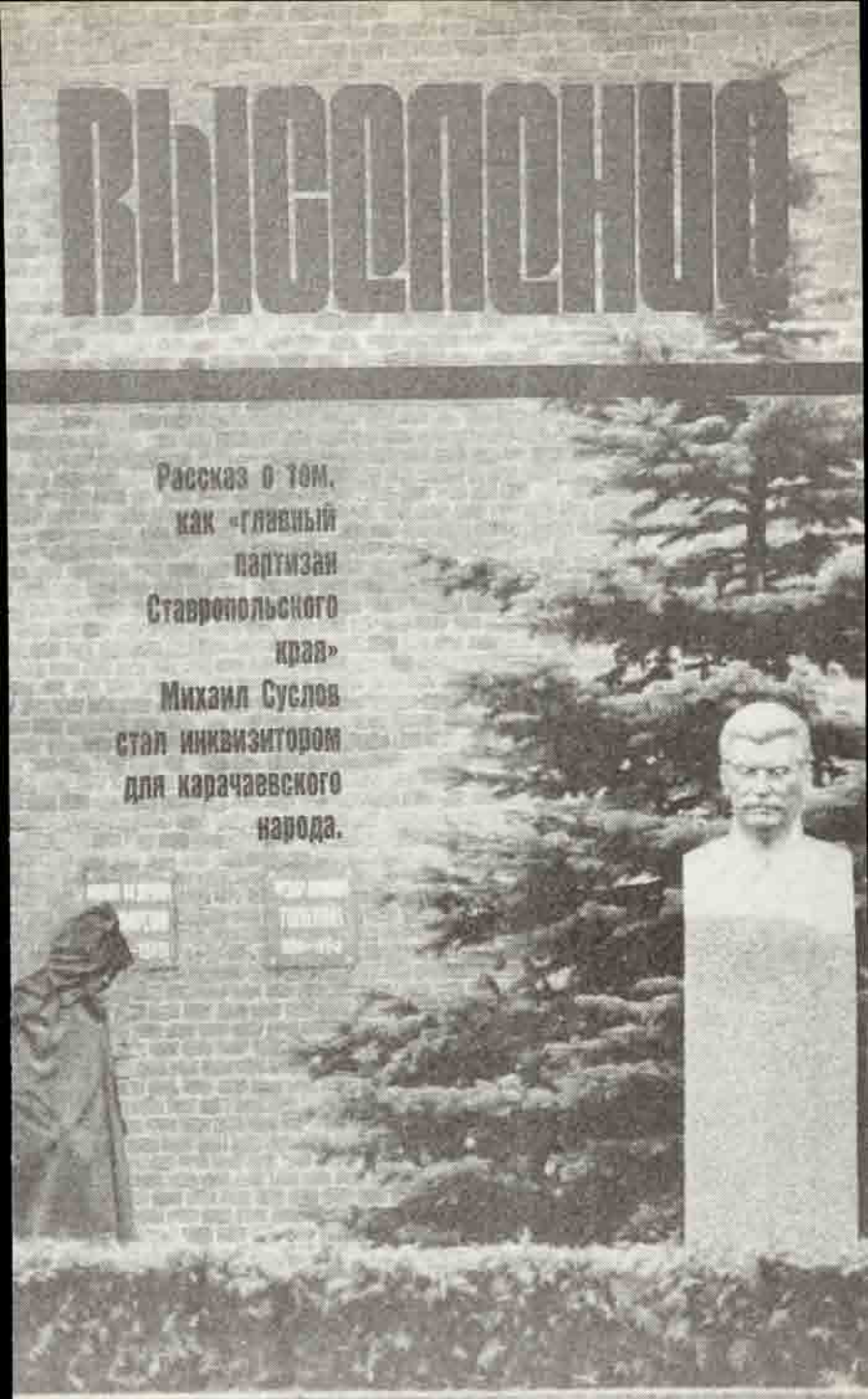
Изменили и люди, и ангелы,
Оскверняют и бьют по лицу...
Вот таким, если верить Евангелью,
Блудный сын возвращался к отцу *.

* В переработанном виде стихотворение вошло в поэму «Во мрак и в пустоту».


РАШИД ХАТУЕВ

ВЫСЕЛЕНИЕ

Рассказ о том, как «главный партизан Ставропольского края» Михаил Суслов стал инквизитором для карачаевского народа.



Еще совсем недавно о нем говорили, что он был первым, будучи вторым. Здесь он тоже первый — в гранитной шеренге за Мавзолеем. Знакомая всему миру челка, упавшая на лоб. Холодные, колючие глаза за линзами очков... Только после смерти он открыто шагнул сюда, по правую руку прищурившегося Кобы, словно бы сам указывая место, которое предназначалось ему в истории нашего Отечества...

Этот худощавый человек с иезуитским лицом по-своему «близок» мне: он вошел в жизнь моей семьи, десятков тысяч таких же семей. Вошел в жизнь моего народа. Как один из его палачей.

В ту пору продвижение молодых людей в высшие органы партии и государства не было редкостью, и то, что в 1931 году двадцатидевятилетнего Михаила Суслова приняли на работу в аппарат ЦКК—РКИ, не стало исключением.

Прошло всего двенадцать лет с того момента, когда он навсегда оставил родное село Шаховское, что ныне в Павловском районе Ульяновской области, где и начал свою политическую жизнь с комсомольской ячейки. Его командировали в Москву на учебу. Учился с усердием: окончил рабфак, потом Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова и Экономический институт Красной профессуры. Короткое время преподавал в Промакадемии и МГУ. Однако научно-преподавательская деятельность его не прельщала. Ему было уготовано иное поприще...

Страницы служебной биографии Суслова в органах инспекции и контроля мало известны, да и не там снискал он свои лавры. В 1939 году, когда отхлынула самая кровавая волна репрессий, его перебросили из Ростовской области (где он пробыл всего два года) в соседний Орджоникидзевский (ныне Ставропольский) край, партийной организацией которого и предстояло руководить ему целую пятилетку. Край при новом руководстве, судя по статистике того времени, продолжал развиваться. Однако взлет политической карьеры Суслова приходится на период войны.

В сорок первом году Суслов становится членом ЦК партии, а вскоре, когда гитлеровские войска, захватив Ростов-на-Дону, хлынули на Северный Кавказ, его утверждают членом Военного Совета северной группы войск Закавказского фронта, начальником штаба партизанских отрядов Ставрополья. Его деятельность на этих постах нуждается в отдельном рассмотрении, что, к сожалению, ныне затруднено из-за недоступности многих архивных материалов. Однако известные факты наводят на весьма серьезные размышления.

Во время оккупации края, в том числе и входившей в его состав Карачаевской автономной области, советские люди оказывали сопротивление захватчикам, партизанские отряды вели в лесах и горах борьбу с врагом. Что же касается Ставрополья в эти годы, то о подпольном крайкоме говорить приходится очень условно.

Ставку свою Суслов расположил в двухэтажном особняке в дагестанском городе Кизляре (короткое время она находилась в Моздоке — в Северной Осетии). Партизанские же отряды в основном действовали на юге — в горных и лесистых районах Карачая и Черкесии. Таким образом, от района боевых действий партизанских отрядов до руководящего штаба было около 400—500 километров. Если учесть, что в 1941 году одно время даже Ставка Верховного Главнокоман-

дующего располагалась в 40—50 километрах от линии фронта, то подобная мера по обеспечению личной безопасности со стороны «главного партизана края» выглядит более чем странно.

Партизанам приходилось добираться для связи со своим штабом в чрезвычайно тяжелых условиях по оккупированной врагом территории, преодолевать сотни километров, порой окольным путем, через Закавказье. В этих условиях говорить об умелом руководстве партизанским движением в крае весьма сложно. Налаженной связи практически не было, как и координации между отрядами, что, естественно, не могло не сказаться в конечном счете на судьбе движения.

К концу 1942 года большинство партизанских отрядов на юге Ставрополья было разгромлено, лишь часть их избежала этого, перейдя через перевалы в Закавказье и соединившись с полками Советской Армии.

Еще в самом начале фашистской оккупации развалился штаб партизанских отрядов в Карачаевской области. Областной штаб оказался застигнутым врасплох гитлеровцами и фактически разбежался, оставив турбазу «Домбай», где он располагался с оружием и провиантом. В сентябре 1942 года в Тбилиси об этом подробно рассказал один из членов штаба, Коротченко, бывший зав. отделом агитации и пропаганды обкома ВКП(б), Х. Т. Тохчукову, который до войны был редактором областной газеты. Этот факт Тохчуков изложил в письме в ЦК партии, которое было опубликовано только в прошлом году.

Естественно, такое положение, когда краевой штаб потерял управление, а областной развалился, сыграло роль в успехах гитлеровцев в районе перевалов, ведущих в Закавказье. Логично, что львиная доля ответственности за это ложилась на плечи члена ЦК ВКП(б), первого секретаря крайкома партии, начальника штаба партизанских отрядов и члена Военного Совета северной группы войск Закавказского фронта Михаила Суслова. Представителем Ставки и ГКО в это время на этом же самом фронте был не кто иной, как Лаврентий Берия. Задача, которую он здесь выполнял, заключалась в том, чтобы не допустить прорыва вражеских частей через перевалы в Закавказье. Для этого он предпринимал жесточайшие меры вплоть до расстрелов высших офицеров, а командующему Закавказским фронтом генералу Тюленеву пообещал «переломить хребет».

Достижения «главного краевого партизана» могли стоить ему всех занимаемых им постов. В начале 1943 года, вскоре после изгнания врага, стали подводить итоги, анализировать причины неудач, и возник вопрос о виновниках происшедшего. Суслов брать на себя ответственность, естественно, не стал. Вот тогда-то и появился миф о «бандформированиях», которыми якобы кишели леса и горы Карачая. После быстрого «подсчета» их оказалось в одном только Карачае, а точнее, в одном его горном районе — Учкуланском — шестьдесят пять! Это при общей численности населения района в 64 тысячи человек, из которых мужчины составляли 18 процентов!

В своем письме, переданном летом 1989 года в Верховный Совет СССР, бывший первый секретарь Карачаевского обкома ВКП(б) С.-У. Б. Токаев указывает: «В начале 1943 года на территории КАО действовали две банды и несколько мелких шаек. Наиболее крупная банда, состоящая из лиц раз-

личных национальностей, действовала в Учкуланском районе под командованием Ислама Дудова и Апона Магаяева... Эта банда оказывала сопротивление Красной Армии, препятствовала восстановлению Советской власти в Учкулане почти месяц. Она была ликвидирована в конце февраля 1943 года. Несколько позже была ликвидирована и вторая банда, действовавшая на территории Кабардино-Балкарии в ущелье Кичмалки. В ее составе, кроме кабардинцев, русских, балкарцев, было около двух десятков карачаевцев».

Вот так. Вместо двух-трех банд было доложено о шестидесяти пяти. Чем не веские аргументы для оправдания отнюдь не блистательной деятельности в период оккупации? Для подкрепления своих «аргументов» Суслов добивался посылки в Учкуланский район целой дивизии. Еще тогда недоумение по этому поводу высказывалось самому Суслову. Так, на пленуме крайкома партии в 1943 году бывший командир разведгруппы партизанского отряда М. К. Батчаев заявил ему: «Михаил Андреевич, в феврале 1943 года я был против посылки войск в Учкулан. Я вам сказал, что мы сами уладим все, восстановим Советскую власть мирным путем, а вы оторвали от фронта и послали против кучки бандитов целую дивизию». Вскоре по личному указанию первого секретаря крайкома Батчаев был арестован и осужден на десять лет.

В довершение вопроса о бандформированиях появился еще один «факт» — неблагонадежность целого народа. Подтверждение? Пожалуйста! Кровавое преступление — уничтожение детей из тебердинских санаториев гитлеровцы, оказывается, совершали не одни, а непременно с карачаевцами. По этому поводу в августе 1943 года были арестованы двенадцать жителей одного аула, которых пытками заставили «признаться» в злодеяниях. Однако позже, после дорасследования, в 1946 году арестованных оправдали ввиду отсутствия состава преступления. Оправдательные же приговоры, как известно, в то время составляли исключение из правил.

Но оправдали-то в сорок шестом, а в сорок третьем дело было сделано и послужило одним из главных доводов для выселения. На месте гибели детей установили памятник, надписи на котором менялись три раза, но суть их оставалась одна — она отражала (и по сей день отражает) сусловскую версию преступления.

Один из этих чудом спасшихся детей, ленинградский писатель Юрий Логинов, в своем обращении на имя первого секретаря Карачаево-Черкесского обкома КПСС пишет: «Считаю незаконное установление этого памятника преступно спланированной идеологической диверсией». В своем очерке, опубликованном в газете «Социалистическая индустрия» 14 июля 1989 года, он рассказал о том, как карачаевские женщины и мужчины под угрозой смерти прятали детей из тебердинских санаториев и спасли его самого. «Давно пора,— пишет Логинов,— рассказать правду о судьбе тебердинских санаториев и о судьбе народа, который в моих глазах является народом героев и мучеников... И мы, советские люди, обязаны донести до всех полную правду, которая бы смыла с репутации народа последние пятна берия-сусловского режима клеветы и произвола».

Но тогда, в сорок третьем, обвинение было предъявлено, приговор оглашен. Обвинение пало на

целый народ, зато Суслов сохранил свою голову. Берия его не тронул. Более того. «Освободившуюся» землю можно было присоединить к соседней Грузии — подобный вариант не мог не понравиться сталинскому проконсулу на Кавказе. Это наверняка усладило бы и сердце «отца народов».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 года территория Большого Карачая была присоединена к Грузинской ССР в качестве Клухорского района, а центр области — город Микоян-Шахар переименован в Клухори. Однако еще в 1942 году в «Почвенной карте северных склонов Кавказа» (под редакцией Б. Полынова) центр области уже был отмечен как город Клухори. Вероятно, уже тогда вынашивался план этого приращения.

Край, которым руководил Суслов, получил «компенсацию» за счет земель упраздненной Калмыцкой АССР. Стало быть, не обидели Суслова. Знал ли он об этом плане до того, как начался сбор «компромата» на Карачай? Однако свою роль в этом сыграл великолепно.

Здесь нужно вспомнить два примечательных факта.

Первый. «Секретарю Малокарачаевского райкома ВКП(б) Хаджиеву. Передайте колхозникам и трудящимся Малокарачаевского района, собравшим один миллион рублей на строительство боевых самолетов «Колхозник Карачая», братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

Факт второй. «Горячо приветствуем всех партизан Карачая и Черкесии. Мы знаем о тех трудностях, которые приходилось переносить вам, и очень беспокоились за вашу судьбу. Мы уверены, что на предстоящий праздник, который будет на нашей улице, партизаны Карачая и Черкесии тоже придут с крупными достижениями. Искренне, от души желаем вам больших успехов и выражаем горячее пожелание о быстрейшей нашей встрече в нашем крае, освобожденном от гитлеровских мерзавцев... М. Суслов».

Первое приветствие опубликовано 17 мая 1943 года в газете «Красный Карачай», второе датировано 22 декабря 1942 года.

А Указ, напомню, был издан 12 октября 1943 года. Получается, не было никаких подозрений в отношении карачаевцев не только за год до выселения с родных земель, но даже и за несколько месяцев до него.

В декабре 1942 года Михаил Суслов слал горячий привет партизанам Карачая и Черкесии (почти истребленным к этому времени), а в мае 1943 года пришел «братский привет» Карачаю от Иосифа Сталина. Ему вообще были свойственны теплые обращения. «Дорогие мои земляки!» — это нередко можно встретить в текстах телеграмм, адресованных к юбилейным датам кавказских автономий.

Один «брат и земляк» объявил предателем народ, веками живший бок о бок с его собственным народом, другой — подыскал под это «преступление» неопровержимые «факты». Конечно, не обошлось еще без одного моего земляка — Лаврентия Берии...

Вечером 2 ноября 1943 года заместитель наркома внутренних дел СССР генерал армии Серов собрал актив Карачаевской автономной области и сообщил, что по решению правительства назавтра в четыре часа утра определено осуществить переселение карачаевского народа в отдаленные районы страны. Шестьдесят четыре тысячи человек были посажены в грузовики, вывезены на желез-

нодорожные станции и в «телячьих» вагонах отправлены в Среднюю Азию и Казахстан.

Сорок две тысячи, по официальным данным, погибли в первые же два года от голода, холода и болезней (около двадцати двух тысяч из них — дети).

Так был объявлен изменником народ, каждый пятый из которого воевал на фронте. Народ, именем отважного сына которого — Османа Касаева — белорусы украсили улицу своей столицы. Если до этого существовали лишь «враги народа», то отныне появились «народы-враги».

Двадцати двум карачаевцам было отказано в присвоении звания Героя Советского Союза из-за их национальной принадлежности, один по той же причине лишен этого звания; полковник Х. Богатырев получил Героя лишь потому, что его представили под другой национальностью, а отважный партизан О. Касаев посмертно удостоился этой награды уже после смерти Сталина.

В 1944 году бывшего «главного партизана» переводят в Москву (уж не в знак ли благодарности?), где он становится Председателем бюро ЦК ВКП(б) по Литве, которое было наделено чрезвычайными полномочиями, фактически стояло выше всех госпарторганов республики.

В те годы, как и везде, не все бывшие приспешники оккупантов смогли уйти вместе со своими хозяевами; случались здесь убийства представителей власти, террористические акты по отношению к мирным жителям. Понятно, что с этим надо было бороться, и борьба велась. Однако и здесь начали применять практику выселения без суда и следствия десятков тысяч людей.

В 1945—1949 годах из Эстонии выселили 195 тысяч, из Литвы — 81 тысячу, из Латвии — 32,3 тысячи. Таким же проводником сталинской политики в Прибалтике, какими были Жданов и Деканозов, стал и эмиссар «отца народов» в Литве Михаил Суслов.

Его деятельность в этом регионе подробно не исследована по сей день, но если учесть, что уже в 1947 году он становится секретарем ЦК ВКП(б) наряду с Ждановым, Хрущевым, Маленковым, то нетрудно догадаться: Сталин был вполне доволен его работой в Литве. Ведь именно ему уже в январе следующего года доверена честь сделать доклад на торжественном заседании по случаю 24-й годовщины со дня смерти В. И. Ленина. В 1949 году в Будапеште в Совещании Информбюро коммунистических партий он представлял ЦК ВКП(б) и в своем докладе бичевал нового «врага» — Югославию. К этому времени, помимо обязанностей секретаря ЦК, он одновременно еще и заведует отделом агитации и пропаганды ЦК и редактирует «Правду».

Наконец, в октябре 1952 года его избирают членом Президиума ЦК ВКП(б), откуда он выбывает после кончины вождя на короткое время и куда вновь возвращается в 1955 году. На этот раз уже навсегда.

А секретарем ЦК ему предстояло быть ни много ни мало — тридцать пять лет.

Двадцатый съезд партии. После расстрела Берии, Абакумова, Деканозова и других нити хрущевских разоблачений потянулись дальше. В июне 1957 года была предпринята попытка свергнуть реформатора...

О Суслове того времени свидетельствует бывший член ЦК КПСС, второй секретарь Компартии Грузии П. А. Родионов: «На каждом крутом повороте истории он вдруг оказывался «на коне».

Во многом разделяя взгляды Молотова и его союзников, он не спешил взять их сторону, опасаясь, видимо, что может лишиться своего положения в верхних эшелонах власти. Когда же он узнал о том, что «двадцатка» категорически предложила созвать Пленум и требование... было удовлетворено, позиция Суслова определилась четко. И именно ему было поручено выступить на созванном 22 июня в Свердловском зале Кремля Пленуме ЦК с сообщением «Об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича».

Итак, он встал рядом с Хрущевым в деле ниспровержения ближайших соратников покойного диктатора. Пройдет чуть больше восьми лет, и человек, восклицавший: «Не дадим в обиду нашего дорогого Никиту Сергеевича!», прочтет на другом Пленуме приговор «дорогому Никите Сергеевичу».

Конечно, допустимо, что за это время могли измениться взгляды,— с кем не бывает, тем более у реформатора появились серьезные просчеты. Но в отношении Суслова такая мысль допустима лишь теоретически.

Бесхребетнейший из бесхребетных, искренне он не поддерживал никого. Так, за год до Пленума, где Суслов яростно защищал Хрущева, в Москву из Средней Азии и Казахстана приехала карачаевская делегация. Люди обратились к Суслову, своему бывшему руководителю, с просьбой посодействовать в возвращении на родину. Они не знали слов, брошенных Сусловым еще в сорок третьем: «Мы выжили карачаевцев из горных ущелий, теперь надо выжить оттуда их дух!» (сказано это было на пленуме Черкесского обкома ВКП(б) и на встрече с представителями средств массовой информации области). Карачаевцы не знали этих слов, и потому их просьба была наивной.

Суслов даже не принял делегацию, а предложил по телефону «не заниматься иллюзиями» и вернуться по домам. Вот здесь-то ему впервые изменил политический нюх, что само по себе с ним случалось крайне редко. Дело в том, что приехавшая вскоре вторая делегация добилась встречи с Хрущевым и в почти часовой беседе изложила свою просьбу. Результатом было, как известно, возвращение этого народа на родину.

Могло ли хрущевское решение удовлетворить Суслова? Ведь реабилитация народа — это обвинение лично ему, Суслову. Напомню, эти события происходили за год до Пленума, где Суслов «встал грудью» за Хрущева. Поэтому-то и допустима лишь теоретически мысль о том, что он вначале искренне поддержал Хрущева, а потом разуверился в нем. Со второй половины шестидесятых годов он начнет активно доказывать обратное на практике, будучи одним из авторов реабилитации Сталина.

И при Хрущеве, который был все же далек от истинной демократичности, особенно в конце своего правления, Суслову, как опытному человеку в делах карательных, поручались задачи весьма сомнительного характера. Причем как за пределами страны, так и внутри. Доклад 1949 года против «фашистско-титовской» Югославии. В 1956 году вместе с Микояном и Жуковым он участвует в Венгрии в подавлении известных выступлений. Не забывает и дом родной: в 1962 году с Микояном же в Новочеркасске проводит меры по ликвидации демонстраций и забастовок, где было применено оружие...

После 1957 года разоблачения сталинщины продолжались. Вскрывались новые и новые факты, всплывали новые имена. Могла ли быть у Суслова уверенность в том, что он останется в стороне? Неспокойно жилось и тем, чье «рыльце было в пушку», и тем, за кем больших грехов не водилось. Известна судьба Н. Игнатова, Е. Фурцевой, которые наиболее активно поддержали Хрущева в 1957 году, но все же попали в опалу. Пожалуй, мы никогда не узнаем причин, побудивших Суслова вступить в заговор против Хрущева в 1964 году. Однако о главных мотивах этого можно догадаться.

Так или иначе курс реформатора на дальнейшее разоблачение преступлений Сталина и его подручных не устраивал людей, свергнувших мертвого тирана. Это и было главным, что побудило Суслова встать в тайную оппозицию. Что же касается ошибок Хрущева, то у Сталина они были куда похлестче, но он устраивал ИХ.

1964 год был годом самого настоящего заговора. Об этом прямо сказал четверть века спустя бывший председатель КГБ СССР В. Е. Семичастный, выступая перед аудиторией ВКШ при ЦК ВЛКСМ. На мой вопрос, как он оценивает роль Суслова, Семичастный воскликнул: «Отвратительно! Отрицательно!» и добавил: «Он был серым кардиналом».

На октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС с докладом «О ненормальном положении, сложившемся в Президиуме ЦК в связи с неправильными действиями Хрущева» выступил Суслов. «Великий инквизитор» еще раз вышел на авансцену, чтобы, сделав свое дело, вновь удалиться в тень.

Со второй половины шестидесятых годов понемногу критика эпохи сталинизма пошла на убыль. Из биографических справок деятелей партии и государства, военных и хозяйственных руководителей, погибших в те годы, исчезают ставшие уже привычными слова: «Незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно». Из сознания целого поколения начинают вытравливать историю его Отечества. Слова начальника ГлавПУРа генерала Епишева «Зачем нам правда, если она не нужна?» становятся знаменем двух десятилетий.

«Главный идеолог» страны возглавляет «охоту на ведьм», жертвами которой становятся ученые, поэты, живописцы. Его правая рука С. Трапезников разгонит целое направление в исторической науке. Протест будет глохнуть в стенах психиатрического ГУЛАГа.

Рой Медведев писал, что в отношениях Суслова с Брежневым были периоды спада и подъема. «Уже на XXIII съезде чувствовалось, что дирижерская палочка находится в руках у Суслова. Именно к нему обращались в конце 60-х годов работники аппарата для разрешения спорных вопросов. И Брежнев не предпринимал никаких инициатив, не согласовав их прежде всего с Сусловым. Это обстоятельство раздражало окружение Брежнева, которое в основном состояло из его старых друзей, соратников по Днепропетровску и Молдавии».

В конце концов генсек «показал зубы» на декабрьском (1969 г.) Пленуме ЦК КПСС, где он крайне резко покритиковал органы хозяйственного управления. Эта необычная самостоятельность обеспокоила многих членов Политбюро, и прежде всего Суслова, который, не решившись выступить в одиночку, вместе с А. Шелепиным и К. Мазуровым подготовил

записку для членов Политбюро с критикой доклада Брежнева на Пленуме как политически ошибочного. Этот вопрос планировали рассмотреть на мартовском (1970 г.) Пленуме ЦК. Однако, как пишет Рой Медведев, Брежнев отложил Пленум и выехал на большие маневры, проводившиеся тогда в Белоруссии под руководством министра обороны А. Гречко. Столь очевидная демонстрация силы и уверенности подействовала на «тройку», тут же отозвавшую свою записку. А как только Брежнев вернулся в Москву, Суслов поспешил первым выразить ему лояльность. И после этого идеологический аппарат начал кампанию восхваления генсека, с каждым годом набирая обороты.

Да, перепады во взаимоотношениях случаются в политике. Но все же, судя по тому, что в руках Суслова находились нити управления многих сфер партийной и государственной жизни и его мнение играло большую роль в Политбюро, нельзя сказать, что он покорно сложил свою реальную власть у ног генсека. Особенно если учесть, что в 1976 году Брежнев тяжело болел, после чего он так до конца и не оправился. В эти годы честь вручать «выдающемуся борцу за мир» очередную награду нередко отдавалась именно Суслову.

Значение «серого кардинала» в тогдашнем руководстве подтвердила и пышность церемонии его похорон. (Суслов скоропостижно скончался 25 января 1982 года.) Гроб покойного нес и сам Брежнев (точнее сказать, держался за гроб для равновесия). Если вспомнить, что на похороны члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС Ф. Д. Кулакова в 1978 году Брежнев даже не пришел, если к тому же учесть, что Суслова не кремировали, как Кулакова, а похоронили в почетнейшем некрополе — «гранитной шеренге» за Мавзолеем, то многое становится понятным.

Однако вернемся немного назад.

1968 год. Суслов один из самых активных организаторов вмешательства вооруженных сил стран Варшавского Договора в чехословацкие события.

1974—1982 годы. В далекой от Москвы маленькой Карачаево-Черкесии полным ходом идет пересмотр военного периода истории области и края. На пленумах обкома партии в декабре 1974 года и июне 1981-го клевреты «главного идеолога» ревизуют прошлое, и на страницах массовых изданий реанимируют сусловские версии, обосновывающие выселение аргументами 1943 года («бандформирования», «зверства в Теберде»). Это обостряет межнациональные отношения в КЧАО, дело доходит до стычек; в один из районных центров (станция Преградная) вводятся войска. Таким образом взят реванш за 1956 год, когда Хрущев вернул репрессированный Сталиным — Берия — Сусловым народ в родные края.

1979 год, декабрь. Афганистан. Десятки тысяч раненых и покалеченных солдат примет Отечество. Тысячи их лягут костьми вдали от Родины. Решение о вводе войск принималось в узком кругу. И для меня неудивительно, что одним из входивших в этот круг был назван Суслов. Такой финал логичен: начав с преступления против одного маленького народа, он неизбежно должен был закончить преступлением против целой нации.



ЧЕТВЕРГ.

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

I

Глядя в последний раз на слегка заснеженные московские улицы, Вадим даже представить себе не мог, что когда-нибудь он снова может вернуться сюда. Он считал этот свой путь до известной всякому москвичу Троицкой больницы последней в своей жизни дорогой. Отсюда, издалека, печально знаменитая Столбовая виделась ему чем-то вроде склепа, из которого уже не было выхода. «Господи,— мысленно сетовал он,— за что мне все это, за какие такие грехи?!»

Машина вырвалась из загородного шоссе, мимо окон замелькали ловкие дачки-домики Подмосковья, рассеченные вдоль и поперек аккуратными грейдерами. Буйный, связанный по рукам и ногам парень, постепенно очухиваясь от наркотиков, натужно замычал, задергался, на искусанных губах выступила пена, а истерзанные видениями кроличьи глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

Эвакуатор — изжеванный жизнью и частым курением мужичок в изрядно поношенной кожанке — лениво сплюнул себе под ноги и сказал квакающим голосом:

— Ишь ведь, как его выворачивает! Давно такого не важивал. Видно, не жилец, раз в Троицкую.

И еще раз это его восклицание только лишний раз утвердило Вадима в горьком предположении: «Хана тебе, Вадим Викторович, наверняка, хана». Долгой ледяной жутью свело сердце, что-то там внутри него обморочно надломилось, и он скорее почувствовал, чем услышал, себя, свой голос:



ПОЗДНИЙ СВЕТ

— Что, папаша, дрянь мое дело?

— А то как же? — Нет, он, этот жлоб в кожанке, не дал ему, не подарил надежды.— Думай, куда едешь.— И докончил врастяжку, почти с наслаждением: — В Столбовую.

Больше Вадим и не пытался заговаривать. Какой смысл было ему растравливать себя и свой ужас перед будущим. Он только мысленно, как бы вознаграждая себя за минутную слабость, длинно матерно выругался, добавив в конце к этому: «Сука, сука, сука!»

А тому — нет, не сиделось, не молчалось совсем, его прямотаки выламывало сладострастным жлобским желанием мытарить и добивать ближнего:

— Раз лекарства не помогли, значит, туда.— И снова с наслаждением, только теперь с особым: — В Столбовую — я. Там таких навалом. Жрут, пьют, баб потребляют. Живи — не хочу! — В нем, в полом нутре жлоба, все торжествовало, и гнилостный запах его зубов витал по фургону насквозь промороженного «рафика».— А я бы их своим манером. Что им небо коптить без пользы? В наше время техника на этот счет знаешь какая? Закачаешься! Любо-дорого! Один укол — и ваших нет...

Кажется, еще немного, и Вадим бросился бы на него, но в это мгновение тот неожиданно щедрым жестом выбросил вперед себя едва початую пачку сигарет:

— Кури, малый, а то совсем смерзнешь.

— Не курю.— Исступление сразу схлынуло.— Не привыкал.

— Не воевал, видно, молодой еще.— У жлоба в старой кожан-

ке даже жеваное лицо его обмякло.— Бывало, лежишь в окопе, вша озверела, бабу хочется — в коленках ломит, а затянешься раз-другой, вроде ничего — жить можно. Ты в гражданке кем был?

— Артист.

— Смотри! — Кожанка уважительно заскрипела.— Первый раз артиста эвакуирую. Надо полагать, родня сработала.— И хотя Вадим смолчал, тот по одному ему ведомым признакам понял, что угадал, и, радуясь своей догадливости, подобрел до предела.— Видно, на барахло позарились, опеку оформили, гадье.

— Да нет у меня никакого барахла!

— Тогда — интриги,— победно объявил эвакуатор, искоса определяя блудливым взглядом произведенный эффект.— Факт, интриги! Выходит, сидеть тебе, малый, в Троицкой — не пересидеть. Здесь у них, как пить дать, и врачи купленные...

Его явно заводило на речь длинную и не менее жлобскую, чем вначале, но в это время машину сильно тряхнуло и после этого не переставало трясти: асфальт кончился, за окнами потянулся проселок. Дома-дачи сменялись упитанными пятистенниками с телеантеннами над оцинкованной кровлей. Вялая поземка медленно наметала вокруг них пузатенькие сугробы.

Патлатый снова замычал и задергался, изможденное лицо его потекло радужными пятнами, и Вадим, холодея, с отчетливым отчаянием отметил про себя: «С такими попаду, тогда — лучше в петлю».

Эвакуатор, в свою очередь, неожиданно потускнел, заскучал

В пяти минутах ходьбы от Триумфальной арки, которая постоянно оспаривает у Эйфелевой башни право быть символом Парижа, находится узковатая тихая улочка Лористон. Здесь в старом, типично парижском доме уже более пятнадцати лет живет и работает русский писатель Владимир Емельянович Максимов. В его парижской квартире явственно ощущается русский дух. Он и в старомодном уюте комнат, и в неназойливом, но очень искреннем гостеприимстве заботливой хозяйки дома Татьяны Викторовны — дочери известного советского писателя В. В. Полторацкого, и в прелестной, истинно русской скромности двух очаровательных дочерей Татьяны Викторовны и Владимира Емельяновича, родившихся в Париже, родной язык которых, слава Богу и родителям, русский. Хозяин дома «мил и знаменит». На полках в кабинете тесно его книгам, изданным в разных странах...

Мы не виделись около семнадцати лет. Мне поначалу казалось, что общий язык найти будет трудно. А ведь когда-то встречались часто и с удовольствием. Подчеркнуто внимательно поздравляли друг друга с праздниками: Максимов меня с церковными, а я его — с революционными. Такой вот у нас тогда установился «плюрализм», основанный на взаимном уважении и терпимости к убеждениям друг друга.

быстрыми глазами куда-то в окно и неожиданно мастерски стал тихо высвистывать себе под нос «Хотят ли русские войны». И стало сразу видно, что жлобство его скорее от короткого ума и душевной лености, чем по свойству натуры, что человек он давно выпотрошенный жизнью да вдобавок еще и вывернутый после этого наизнанку, оттого и выглядит таким изжеванным и полым.

Жуть под сердцем Вадима притупилась или, вернее, вошла в постоянное, почти неощутимое состояние, и он обрел наконец способность к обычному житейскому размышлению и стал размышлять, и все события последних дней начали выстраиваться перед ним в одну логическую цепь, в один взаимопроницаемый поток.

Еще в ту ночь, когда последний огонек Узловска исчез за срезом оконного проема и сырая ночь вплотную приникла к стеклу, он почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Встреча с родней, как она — эта встреча — рисовалась ему в воображении, должна была разомкнуть ту отчужденность, то душевное одиночество, в которые чуть не с младенческих ногтей заключила его судьба. Он надеялся, что через деда и тетку он войдет в прямое, кровное соприкосновение с внешней средой, соприкосновение, так недоставшее ему все эти годы.

Решаясь объявиться у Петра Васильевича, Вадим заранее предполагал возможность конфуза, мало того — готовился к нему. Оттого и осчастливил он деда, едва держась на ногах, оттого и нервничал, и куражился за столом, что видел, чувствовал — не получается сердечной завязки, и возникшее вдруг

Мы беседуем. Все свободнее и оживленнее. И вдруг меня обжигает мысль: а почему, собственно, мы не виделись семнадцать лет? Почему я не имел возможности читать книги Максимова, журнал, который он редактирует, а он не мог мне позвонить или написать, не рискуя навлечь на меня непоправимые неприятности?.. Ведь он и сегодня не говорит мне ничего такого, чего не говорил двадцать лет назад, только тогда я старался забыть услышанную крамолу, а теперь эти суждения и мнения по радикальности уступают очень многому из того, что произносится с трибун сессий и пленумов. Так кому было нужно, чтобы русский писатель Максимов стал изгнанником? И что удалось таким образом? Продлить застой? Пожалуй. Остановить мысль? Весь ход истории доказал, что это невозможно.

Сколько несправедливого и нелепого, сколько откровенной лжи и беззастенчивых наветов было обрушено в свое время на Солженицына и Некрасова, Галича и Высоцкого, Даниэля и Копелева! Но, пожалуй, больше всего гадостей писали у нас о Максимове. Хорошо помню, как на страницах почтенного официоза о Максимове было сказано: «именующий себя литератором». Это о члене Союза писателей, чья повесть «Жив человек» на страницах того же официоза несколькими годами ранее характеризова-

семейственное его с ним единение — только до порога. Им словно бы выпало существовать по двум противоположным сторонам некоего треугольника, встретившись в верхней точке которого у них уже недоставало ни сил, ни желания сколько-нибудь удерживаться на этой самой точке. Разумеется, можно было сделать еще одну попытку связать несвязуемое, но бессмысленность ее — этой попытки — представлялась ему настолько явной, что одна мысль о ней вызывала в нем болезненное томление и протест.

Почти всю сознательную жизнь Вадима окружали посторонние люди: посторонние друзья, посторонние приятельницы, затем посторонняя жена и ее посторонние родственники. Все они имели к нему какое-то отношение или касательство, и порою самое заинтересованное, но никто из них никогда не стал для него больше чем просто другом, приятелем, женой, жениным родственником. Жизнь их текла сама по себе, никак непосредственно с его жизнью не сопрягалась.

До тридцати лет в суете и возбуждении актерской маеты Вадиму даже и задумываться по этому поводу не приходилось. Но однажды в тусклом номере гостиницы в Казани он, пробужденный тяжким и сумеречным похмельем, вдруг увидел себя со стороны маленьким, затерянным и жалким существом, до которого никому, ну вовсе никому на свете нет дела. И он, сжавшись, как бывало в детдоме, под одеялом в комок, заплакал, вернее даже не заплакал, а заскулил, словно брошенный по ненадобности щенок. Именно страх той казанской ночи и погнал

лась как одно из самых примечательных явлений молодой советской литературы, а автор повести именовался ее надеждой.

Самое поразительное, что Максимов никогда — ни прямо, ни косвенно — не призывал к свержению советского строя. Перечитывая «Семь дней творения», я еще раз со всей очевидностью осознал, что автор страшится любых чреватых кровью и насилием переустройств общества, пусть и предпринимаемых для исправления допущенных несовершенств. Да, герой романа, коммунист Петр Васильевич Лашков, тяжко и горько разочарован тем обществом, которое возникло после революции. А мы не разочарованы? Отчего же тогда перестройка? Я не стану пересказывать содержание сильного и умного романа — он скоро станет достоянием советских читателей. Я лишь подчеркну, что Максимов видит наше общество совсем не так, как видели его наши вчерашние и некоторые сегодняшние идеологи. Да и видели ли? Скорее делали вид, что видят так, и пытались оградить нас от того, что нам видеть, а точнее понимать, не полагалось. Но чего стоят убеждения, основанные на неполном или искаженном знании, стоек ли и надежен ли обманутый или непосвященный? И не потому ли так резка сейчас поляризация в обществе, так горьки разочарования и так беспощадна кри-

Вадима к забытому было уже порогу, где его давным-давно никто не ждал и где он так и не изведал облегчения. А дома в Москве Вадима ждала записка: «Я у мамы. Приедешь — позвони». И если раньше всякая очередная ее ложь вызывала в нем приступ бессильного гнева, то сейчас, мысленно восстановив их — жены и тещи — нехитрую систему взаимовыручки, он только брезгливо поморщился: «Дуры!»

Женился Вадим беззаботно и неожиданно для самого себя. Как-то в пьяном угаре и толкотне по разномастным компаниям перед ним обозначились влажные, миндального цвета и, как ему тогда показалось, единственные для него глаза. Утром, уткнувшись в его плечо, она сквозь судорожный плач умоляла не бросать ее хотя бы одно время, с тем чтобы ей легче было объяснить матери свое первое ночное отсутствие. После недолгого сопротивления он сдался, подумав: «А почему бы и нет?» С тех пор слезы стали ее против него оружием. Слезы помогли ей заставить его зарегистрироваться с ней, слезами замаливала она свои более чем мимолетные измены, в слезах растворяла частые ссоры и обиды. Иногда Вадиму становилось невмоготу, и он, решаясь наконец, прощально складывал в чемодан самые необходимые для холостяцкого быта пожитки. Но стоило ему взяться за ручку двери, как слезная истерика проникала его брезгливой жалостью, вынуждая беспомощно опускать руки и уныло сдаваться.

Вадим не мог ревновать жену, потому что никогда не любил ее. Его бесили только победительные улыбочки их общих прия-

---

тика, что мы не позволяли уму искушать себя книгами Солженицына и Максимова?

У Максимова нет обиды на страну, на народ. Он навсегда неотъемлемо русский и иным быть не может. Ни материальное благополучие, ни комфорт, ни постоянное внимание не могут компенсировать ему отсутствие русскоязычной среды, которое он тяжко ощущает. Он удивительно цепко и точно помнит малейшие детали той, московской, жизни. Помнит хорошее и, разумеется, не забыл и плохого. Но обиды не лелеет и реванша не жаждет. Только вспоминая о неблаговидных поступках некоторых весьма активных сегодня литературных прорабов перестройки, с горестным недоумением спрашивает: «Но почему же не покаяться, не упомянуть хотя бы, что, дескать, был грех? Нельзя же с таким пятном на совести всех поучать и обличать...»

Недавно председатель правления Московской писательской организации Ал. Михайлов, в свое время не голосовавший за исключение Максимова из Союза писателей, сообщил московским писателям, что вопрос об отмене тогдашнего решения уже на очереди. Есть у нас, оказывается, и такая очередь:

за справедливостью.

ЮРИЙ ИДАШКИН

телей и знакомцев, с которыми она флиртовала. Чаще всего — людей пустых и никчемных. И чем ничтожнее оказывался его очередной соперник, тем нещаднее клял Вадим свою слабохарактерность. Но, после происходившего вслед за этим бурного объяснения, все повторялось сначала.

Теперь же, небрежно, ребром ладони отодвинув записку жены в сторону, Вадим даже не затруднился вопросом, когда и с какой целью она — эта записка — здесь оставлена. Все, что стояло или могло стоять за ней — этой запиской,— виделось ему сейчас таким пустячным и малозначительным, что, едва вспомнив посещавшее его в подобных случаях удушливое исступление, он подивился своей столь острой в прошлом чувствительности: «Боже мой, какая, право, блажь все это!»

Сейчас ему казалось, что в сравнении с той головокружительной пустотой, какая заполняла его в эту минуту, с ее тошнотворным жжением и нестерпимостью, все на свете выглядело назойливо многословным и необязательным. Он чувствовал себя человеком, которому с грехом пополам, но удалось дойти по узенькой жердочке до самой середины пропасти, а двинуться дальше у него уже не хватает ни дыхания, ни воли. И поэтому все, что происходило в эту минуту по обеим от него сторонам, его уже не интересовало, не могло интересовать. Для того чтобы погибнуть, ему надо было только посмотреть вниз, то есть в себя. И он не выдержал этого соблазна и посмотрел.

Ах, как они легко, без сопротивления подались, эти чудо-клавиши газового божества!

Вадим лег на тахту, заложил руки под голову и блаженно опустил веки. Падение было не стремительным, а почти парящим. Сначала он почувствовал легкий запах, может быть, чуточку приторный, затем восхитительное головокружение, словно в детстве в Сокольниках на карусели, и, наконец, блаженное забытье, как во хмелю, только гораздо полнее и удивительнее.

Первое, что он почувствовал, определив над собой больничный потолок, был стыд. Обморочный, удушливый, от которого его почти тошнило. Он было рванулся из своих пут, но, накрепко прибинтованный к койке, лишь вскрикнул от унизительного бессилия и уже больше не умолкал. Он кричал беспрерывно целые сутки, кричал, заглушая собственную к себе брезгливость, а когда затих, наконец судьба его была решена: во всех входящих и исходящих он уже значился тяжелобольным.

И вот теперь его везли в санитарном «рафике» в загородную больницу, и желчный эвакуатор в кожанке насвистывал себе под нос «Хотят ли русские войны». Он насвистывал этот мотив с таким остервенением, как будто впрямь хотел убедить кого-то невидимого в том, что нет, не хотят.

Машина медленно взяла подъем, круто развернулась, и сквозь завесу заметно окрепшей метели Вадим увидел приземистое, казарменного вида здание, вокруг которого смутно угадывалось множество флигелей и пристроек. Забранные решетками бельма окон слепо вбирали в себя рассеянный свет вьюжного дня, не испуская обратно в мир ни звука, ни проблеска.

— Дома, малый! — сразу же ожил и засуетился эвакуатор.—

Зылезай. Сдам тебя по документу и ступай себе в палату, заваливайся на боковую. Ешь да спи, вот и вся теперь твоя работа. Ах, завидки берут! — И ясно было — не врал, действительно завидовал, даже раскраснелся слегка от умиления перед такой перспективой.— Нет, ей-Богу! А теперь топай вперед меня. Этого,— он коротко кивнул через плечо,— потом сами возьмут.

В приемном покое эвакуатор во всем выказывал себя своим здесь человеком, по-хозяйски расхаживал из одной комнаты в другую, собственным треугольником открывая и закрывая дверь, шумно со всеми здоровался, а когда получил, наконец, сдаточную расписку, даже расчувствовался перед Вадимом:

— Эх, малый, жизнь наша бекова! Солдат лежит — служба идет. Где ни жить, лишь бы с хлебом. Какие твои годы! — Он снисходительно пожевал дряблыми губами и сыпанул еще от полноты сердца.— Как говорится, от сумы, от тюрьмы! Где наша не пропадала! Век живи, век учись, а помрешь дураком! Кто не был, тот побудет, а кто был, тот хрен забудет! В общем, как в песне поется: «Приди, приди ко мне, свобода золотая, я обогрею тебя ласковой душой!»

Он выхватил было из кармана сигареты, но, видно, вспомнив, что Вадим не курит, сунул их обратно, отчаянным манером махнул рукой, бодренько засеменил к выходу и вышел, и обитая войлоком дверь мягонько зашлепнулась за ним. Последняя ниточка, хоть и призрачно, но связывавшая Вадима с тем миром, оборвалась, и он остался наедине с этим.

Когда Вадима ввели в ординаторскую, врач, занятый изучением его истории, не поворачиваясь к нему, молча кивнул на стул, стоявший чуть поодаль стола, продолжая в то же время заниматься своим делом. Птичий профиль его смуглого лица, четко выделяясь на фоне оконной белизны, только подчеркивал вьюжную бесприютность январского дня.

Чтение чужой жизни, видно, доставляло ему большое удовольствие: просмотрев очередную страницу, он снова и снова возвращался к ней, то и дело поклевывая авторучкой лежащий сбоку от него раскрытый блокнотик, и при этом все похмыкивал, все покашливал задумчиво и со значением. Наконец он захлопнул скоросшиватель, бережно, предварительно погладив, отодвинул дело в сторону и, повернувшись к Вадиму, ласково отрекомендовался:

— Меня зовут Петр Петрович.

— Лашков,— Вадим поперхнулся: уж слишком необыкновенным оказалось у доктора лицо: узкое, усеченное к носу, с широко и косо расставленными глазами, оно позволяло ему, и не поворачиваясь, наблюдать собеседника,— Вадим Викторыч...

— Так, Вадим Викторович, так...— Тот говорил тихо, вкрадчиво, как бы заранее предполагая в пациенте человека тяжелобольного и опасного и тем самым давая понять, что лично он, Петр Петрович, готов к любым неожиданностям.— Весьма рад с вами познакомиться, Вадим Викторович.

Но по мере того как в разговоре выяснялось, что перед ним человеческая особь в твердом уме и ясной памяти, птичье

сердце доктора тускнело, речь обесцвечивалась, движения становились вялыми и машинальными. Резкое лицо его принимало все более обиженное выражение. Он словно бы искренне скорбел за всю московскую психиатрию, которая подсунула ему вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий.

В конце концов, откровенно пренебрегая объяснениями пациента, доктор жалобно отнесся в сторону двери:

— Нюра!

В проеме двери в смежную комнату тотчас выросла высокая костистая старуха в подшитых валенках и, не говоря ни слова, решительно двинулась на Вадима, повелительным кивком подняла его и, открыв своим ключом дверь перед ним, легонько вытолкнула в палату.

II

Только сейчас, после вчерашней приемочной суеты и полугорячечного сна на новом месте, Вадим как следует осмотрелся. Отделение представляло собой широкий коридор, по обеим сторонам которого располагались низкие сводчатые палаты. От коридора их отделяла массивная, квадратной формы колоннада, так что сообщение между ними было полным и постоянным. Одна из палат, приспособленная под столовую, считалась общедоступной, и здесь, в перерывах между едой, шумно колготило нечто вроде клуба: резались во все настольные, обсуждали перспективы на выписку, мимоходом решая вопросы внутреннего и планетарного порядка.

Вадим потолкался было в общем гомоне, но, видно, еще не принятый за своего, не нашел собеседника, а потому уж через минуту повернул к себе, без особого, впрочем, огорчения или обиды. Сосед Вадима по койке — черный, стриженный наголо парень, с резко выдвинутым вперед тяжелым подбородком — поднял на него влажные, цвета сосновой смолы глаза, доброжелательно улыбнувшись ему, и снова уткнулся в клеенчатую тетрадку, которую заполнял быстрым и мелким почерком.

Стоило Вадиму лечь и закрыть глаза, как гулкие видения недавнего прошлого обступали его со всех сторон. То грезилось, будто собирает он бригаду от Якутской филармонии, а Власов отказывает ему в красной строке, то являлась вдруг теща Александра Яковлевна, которая, по своему обыкновению, обвиняла его во всех смертных грехах, кстати и некстати поминая о загубленной жизни дочери, то садился у него в ногах дед Петр и с молчаливой укоризной покачивал головой, глядя на непутевого внука...

— Слушай сюда, паря.— Кто-то бесцеремонно расталкивал его.— Проснись, землячок!..

Размытое сонным пробуждением, перед Вадимом выявилось лицо. Лицо все более и более определялось, а определившись уже совершенно, оказало себя улыбчивым удивлением: что, мол, не узнаешь, брат? Все обличье сидевшего напротив Вадима человека обозначало в нем индивида дотошного и в жизни

весьма и весьма поднаторевшего. Действительно, где бы ты ни встретил такого: на корабельной палубе, у автовокзала или перед случайным пульманом,— сразу и безошибочно определишь принадлежность его к беспокойному и отчаянному племени бродяг. Прежде всего людей, подобных ему, отличает эдакая внутренняя взбудораженность, эдакое порывистое возбуждение, которое сообщает их облику выражение неуверенности и бесшабашия одновременно. Они словно бы катятся с горы, но спуск этот, захватывающий сам по себе, стекает в плотный и всегда обманчивый для них туман, а что там, за этим туманом, не знает даже и сам бес, толкающий их с этой горы. И вот с этим самым вопросом — пан или пропал? — в оголтевших от сомнений глазах они и мечутся у всех, какие только есть, дорóг нашего никем не меренного и не считанного отечества. И куда ни закинь его, в любую тмутаракань, в медвежий угол любой, в пески, где и верблюд считает себя ссыльным, он — наш бедолага — семью кровями-потами изойдет, а все-таки отвоюет себе место под солнцем. Отвоюет и уйдет. Уйдет, потому что им уже властно овладела мысль, что есть места лучше этого, где его, и это наверняка, ждет действительно достойная жизнь. Вот и носит такого до седых волос по свету — из конца в конец долгой страны — в поисках все лучшей доли. А где она — эта его доля,— ведомо, видно, одному Господу Богу.

И сейчас, при взгляде на неожиданного собеседника, в памяти Вадима из-под наслоений множества лиц и голосов стало четко проступать это широкое бровастое лицо, а первые сказанные им слова только закрепили вдруг возникшее воспоминание.

Когда, после часовой толкотни у кассового окошка, Вадим вернулся в общежитие, там уже стоял дым коромыслом: штукатуры и маляры пропивали аванс. Митяй Телегин — щербатый мужик в синей сатиновой рубахе нараспашку,— поигрывая по сторонам свирепыми бровями, с усилием одолевал пьяное разноголосье:

— ...Прихожу, говорю: «Я тебе любой колер наведу. Хочешь — клеевую, хочешь — масляную, хочешь — под дуб разделаю за милую душу. В штукатурке опять же промашки не дам... Оборудую так, что пальчики оближешь. Что же ты, говорю, сукин сын, меня на земляных держишь, распахнуться душе не даешь?» А он мне говорит: «А ты,— говорит,— сто пятьдесят целковых подъемного харчу получил? Получил. Вот и отрабатывай,— говорит,— где поставлен. Эдак вы все,— говорит,— начнете выкобениваться, так я не токмо что план, а по миру пойду».

Он пошарил тоскующими глазами вокруг, ища сочувствия, но, занятые своими разговорами, все слушали его вполуха. Маляр безнадежно махнул рукой — чего, мол, с вами зря и язык чесать? — и пошел между койками к двери, тошно выкрикивая на ходу:

— Вербовщик, гаденыш, золотые горы сулил, а вышло по семь бумаг на рыло и — крышка!.. Поди-ка выкинь шесть кубиков, взвоешь!.. Вот те и заработки!.. А из деревни пишуть: крыша текеть! А чем я ее залатаю? Портками?.. Куда как нехорошо получается...

Митяй, петляя, шел к выходу, а из другого конца барака, где обособилось несколько коек бывших лагерников, вслед ему нестройный хор разухабисто горланил на мотив «Две гитары за стеной жалобно заныли...»:

Дядя Ваня на гармони,
На гармони заиграл.
Заиграл в запретной зоне —
Застрелили наповал.

О покое в ту ночь нечего было и думать. Вадим вышел, постоял у порога, оглядываясь вокруг, а затем решительно двинулся в поле: стройка газового завода с выдвинутыми вперед, наподобие аванпостов, общежитейскими бараками вплотную примыкала к артельным угодьям. Оттуда тянуло улежавшимся сеном и полынью. Запахи еще не тронутой скреперами земли сами оберегали свою неистребимость от асфальтовой гари и известковой горечи стройки.

Уткнувшись головой в первую же копну, Вадим словно окунулся в другой, совсем недавно потерянный им мир. Его, выросшего в раздельной бесприютности башкирского юга, угнетала здешняя скученность дорог, строений, людей, вызывавшая в нем непонятную ему самому раздражительность, даже озлобление. Там, в детдоме, а потом в ФЗО он представлял себе свою будущую самостоятельную жизнь иной, никак не похожей на эту. По рассказам бывалых погодков здешние места рисовались Вадиму землей обетованной, где перед гостем из-за Урала открывается миллион возможностей стряхнуть с себя, как дурной сон, опостылевшее однообразие степи. Но действительность в два счета развеяла его иллюзии. Попав на строительство завода, он оказался среди людей, съехавшихся сюда чуть ли не со всех концов страны и не связанных между собой ничем, кроме желания заработать на обратную дорогу. Профессия в договоре не указывалась — оргнабору это было невыгодно: вербованный мог потребовать работу по специальности — и Вадиму, с его пятым разрядом, едва-едва посчастливилось устроиться подсобным штукатура. Так что при всей его трезвенности ему редко выпадало сводить концы с концами. Но, по правде говоря, его удручало не столько безденежье — разносолами на коротком своем веку он не был избалован,— сколько эта вот ожесточающая душу сутолока, которая день ото дня затягивала его в свой оголтелый круговорот, не давая опомниться и хоть как-то определить себя в окружающем. И сейчас, лежа у копны июльского сена, Вадим со сладостной истомой вспоминал когда-то без сожаления брошенную им зябкую башкирскую степь с ее блеклыми тонами и коротким летом. И то, что раньше казалось ему скучным и постылым — долгие зимние ночи, стылые ветры по осени, безлюдье,— выглядело теперь вещим, мудрым, исполненным значения...

Где-то совсем рядом зашуршала трава.

— Кто тут живой отсыпается? — Не поворачивая головы, Вадим по голосу узнал Телегина.— Принимай в кампанию!.. Никак ты, Вадька.

Вадим не ответил: сейчас ему его одиночество было дороже

телегинского соседства. Но тот все же сел рядом, зажег спичку, затянулся.

— Эх, ведь какая благодать кругом! — Речь его лилась трезво и благостно.— Хлеба хрустят, тварь всякая стрекочет, земля в духу покоится... И середь всего этого пьяный человек навроде дерьма шалается, святое место поганит... Так все в нутрях и переворачивается. Материться и то лень... В деревню бы сейчас. Да по ранней зорьке, кваском опохмелимшись, косу на плечи...

— И очень просто.

— Просто! А в пачпорте кирпичик: завербован. Вот и сунься с этой печаткой к председателю. Мигом в райотдел отправит.

— Не лез бы.— Вадим грубил намеренно, думал, может, отстанет.— Все рубля подлиннее ищете.

— Да мне, друг-человек,— Телегин сразу заерзал на месте,— чтоб половину дырок залатать, рупь с версту нужен. Не напечатали еще такого. А только и дома сидеть никакого резону нет. На трудодень обещанками платят, одна кормежка что с усадьбы. Много ли с нее прокорму? Вот и разбредается мужик хоть малую деньгу зашибить... Да и деньга-то, ведь сказать, стыд один...

— Пьете вы все.

— Ты вот не пьешь, много ль в сберкассе скопил?.. То-то... Пропивая, не пропивая,— все одно в кармане шиш. Так хочь душу повеселить.

— Ничего себе веселье. В прошлую получку троих «скорая помощь» увезла.

— Усталый народ,— примирительно вздохнул Митяй.— Выпьет, злость — наружу. Вот и режутся... С непривычки оно, конечно, в диковинку... Сам-то ты откуда?

— Из Башкирии...

— Ишь ты, в какую даль забрался! Степя там у вас?

— Степя,— в тон ему ответил Вадим и еще раз повторил, уже мягче:— Степя.

— И ночь, говорят, длинная?

— И ночь... И день...

— Скота много... Опять же — нефтя.

— Хватает.

— Чудно!

— Чего ж?

— Уж больно Рассея велика. У нас вот, в Тульской области, зайца встретить — редкость... Рыба и та вышла. Стребили. Всю как есть. Так, дурочка иногда попадается, а чтоб по-настоящему — ни в жисть.

— Соскучился, возьми билет и дуй к нам. Там этого добра пропасть.

— Туда одна дорога во что обойдется, все спусти — не хватит. И опять же от дома далеко... Ребята у меня... Шестеро.— И определил мечтательно:— А ничего бы...

Этим своим «ничего бы» Телегин словно приобщил себя к сегодняшней его тоске, вызвав тем самым в нем чувство ответного сочувствия:

— У нас там широко. Сто километров вроде как здесь один пролет поездом.

— Ишь ты...

— И народ широкий... Добрый народ...

— Смотри-ка...

— И тишина кругом...

— Дела-а...

И сейчас, будто продолжая их тогдашний разговор, Митяй восторженно мотнул сивой головой:

— Дела-а... А я и смотрю, быдто знакомый... Ить сколько годов, а признал! — Он по-ребячьи радовался встрече, возбужденно ерзая по соседской койке, то и дело подталкивая того локтем, стараясь и его приобщить к своему торжеству.— Не всю, значится, память я пропил, осталось чуток!.. Эх, так и текет жизнь без передыху... А меня поваляло-потрепало, да... Как отбился я тогда от деревни, так досё и замеряю Союз подошвой вдоль и поперек... Жена еще до реформы денежной померла, дети попереженились да и поразъехались кто куда, ищи их теперь... Да и ни к чему, все одно забыли... А я из вербовки в вербовку, как из ярма в ярмо... А сюда,— от напряженного смущения у него даже пот на лбу выступил,— я по пьяному делу попал... Зашибил я, понимаешь, хорошую деньгу в Тюмени на нефтях, ну, и гульнул здесь проездом по буфету... Ну, и задел одного ненароком... Слыхал Тюмень-то? — Телегин намеренно переводил разговор в другое русло.— На подсобке и-то по триста гребут...

Года два тому, прельстившись шальным заработком и красной строкой в афише, Вадим мотался со случайной бригадой по заиртышским болотам, озаренным факелами газовых фонтанов. Деревянные коробки поселковых клубов распирало гремучей матерщиной и хмельным перегаром, в грязных и холодных гостиницах круглые сутки стоял дым коромыслом, а дорога всякий раз прокладывалась наново. Так что после, на отдыхе в Крыму, при одном воспоминании об этой гастроли его пронзительно и зябко передергивало. И поэтому теперь, слушая телегинские байки о тамошних кисельных берегах, Вадим про себя безошибочно определил, во что обошлось тому его похмельное ожесточение: «Как он еще там, в аду этом, совсем не озверел, разговаривать не разучился?»

Они проговорили до самого обеда, вернее, говорил один Телегин, а Вадим только слушал, но, слушая, он живо соучаствовал в монологе Митяя, и, наверное, поэтому ему казалось, что и сам он не умолкает ни на минуту.

Когда Телегин ушел, молчавший до сих пор и занятый делом сосед оторвался от своей тетрадки, сунул ее под подушку и, вставая, протянул Вадиму сухую волосатую руку:

— Марк. Крепс. Режиссер. Пошли обедать.

Высказанное соседом с такой веселой краткостью дружелюбие мгновенно обезоружило Вадима, пронизав его к новому знакомцу ответным доверием и приязнью: «Чудак вроде, но славный, светится весь».

III

В преддверии уборной тяжелыми пластами плавал табачный дым, сквозь который едва проглядывали смутные лица. Курить Вадим начал неожиданно для самого себя. Как-то машинально взял протянутую Марком сигарету, неуверенно затянулся, а спохватившись, решил выдержать характер и докурить до конца. С тех пор он стал постоянным обитателем клозетного предбанника. Дымил он почти беспрерывно, с каким-то сладострастным остервенением, словно стремился наверстать все недокуренное за предыдущие тридцать пять лет. Дым сообщал ему чувство горького успокоения, и действительность после каждой затяжки выглядела менее пустой и беспросветной.

Рядом с ним, тихо одуряя себя лежалым «Прибоем», два старика торговали друг у друга пальто. Пальто существовало там, в том мире, и, судя по всему, ни одному из них не суждено было его носить, но, убежденные в скором освобождении, они отстаивали каждый свою выгоду с предельной отдачей.

— Оно у меня на ватине, довоенном еще.— Сизые щеточки бровей над вылинявшими глазами многозначительно сдвигались к переносице.— Еще лет двадцать проносишь. Ты, главное, садись на одиннадцатый номер и прямо до Черкизова, а там Гавриков проезд спросишь. Дом четыре. Во дворе меня всякий знает. Тебе за шестьдесят пять отдам, дешевле грибов. Не прогадаешь.

— Это еще посмотреть надо. Шесть с половиной бумаг — большие деньги! За шесть-то с половиной нынче и новое можно купить любо-дорого. Скажешь тоже, шесть с половиной! Бери шесть и не мерзни. К тебе добираться — не меньше рубля изведешь...

В забеленном до самой фрамуги стекле перед Вадимом неожиданно проявилось тихое лицо Крепса:

— Дымишь?

— Не спится.

За те немногие недели, что Вадим провел здесь, он узнал о Крепсе все или почти все. Из театра, где он безуспешно пытался ставить что ему хотелось и как хотелось, его после очередного выступления в Управлении отправили на экспертизу, откуда он уже обратно не возвратился. И то грустное недоумение, с каким бывший режиссер воспринимал случившееся с ним,— недоумение перед непробиваемой людской глупостью — вызывало у Вадима по отношению к нему чувство бережного покровительства.

— Все думаешь?— засветился он в грустно мерцавшие сквозь дым глаза Крепса.— Химеры одолевают?

— Уж так мы устроены, Вадя.— Крупный профиль Марка четко обозначился на матово блистающем стекле.— Нам нельзя не думать. Мыслящая оболочка нашего мозга очень тонка, а там — под ней — бездна. Стоит человеку хотя бы на мгновение перестать думать, прервать цепь размышлений, пусть самых пустяковых, и сознание устремляется сквозь этот разрыв в бездну. Так начинается сумасшествие. Но такое случается

редко. Спасительный инстинкт самосохранения не позволяет нам прерваться. И мы мыслим. Не важно, о чем. О теории относительности или премиальных. Главное — не прерваться. Спасение — в беспрерывности.

— О чем ты все пишешь, Марк? Если не секрет, конечно...

— О значении врожденного чувства вины в человеке.

— А если яснее?

— Как бы это тебе объяснить, Вадя... Когда в детстве меня в первый раз приняли за еврея, я пришел домой и спросил у отца: «Разве я еврей?» Он ответил: «Да, мой мальчик. Ты еврей». Но я-то знал, знал доподлинно, что отец мой — чистокровный немец, а мать — армянка. И когда через много лет я спросил его, зачем ему это было нужно, он сказал мне примерно следующее: «Ты должен был пройти через это, чтобы стать человеком. Человеком, понимаешь?» И я понял, понял навсегда, что, пока в тебе живо чувство личной вины перед другими, из тебя невозможно сделать поросенка... Вот приблизительно то, чем занимаюсь я в своих записках. Но это — популярно... Попробуем заснуть, Вадя, может быть, получится?..

— Покурю...

— Смотри...

Вадим завидовал Крепсу и таким, как Крепс. Встречаясь с людьми наподобие Марка, он завидовал их внутренней чистоте, их вере в разумность всего происходящего, их вещей целеустремленности, то есть всему тому, чего с некоторых пор стало недоставать самому Вадиму. После хмельной суматохи молодости к нему вдруг пришло возрастное похмелье, и Вадим увидел себя со стороны тем, чем он и был на самом деле: заштатным эстрадником тридцати пяти утяжеленных разгулом лет. Его сокурсники по театральному училищу уже занимали положение в громких труппах, блистали званиями и успехом, а он все еще мотался по стране со случайными бригадами в погоне за шальными деньгами, откладывая серьезную работу на потом. Но теперь-то Вадим определенно знал, что это самое «потом» обошло его стороной, что ему ничего не удастся переиначить в своей судьбе и что, наконец, занимался он до сих пор совсем чужим для себя делом.

— Что, не спится? — Вадим знал, что устойчивая бессонница вконец изводила Крепса, и поэтому всякий раз проникался его мукой.— Покури, может, заснешь.

— Бесполезно...

— Пробовал?

— Не помогает.

— Все хочу спросить,— ровное дружелюбие Марка настраивало на откровенность,— только без трепа

— Попытаюсь.

— Если бы тебе дали театр, ты бы взял меня?

— Хочешь правду?

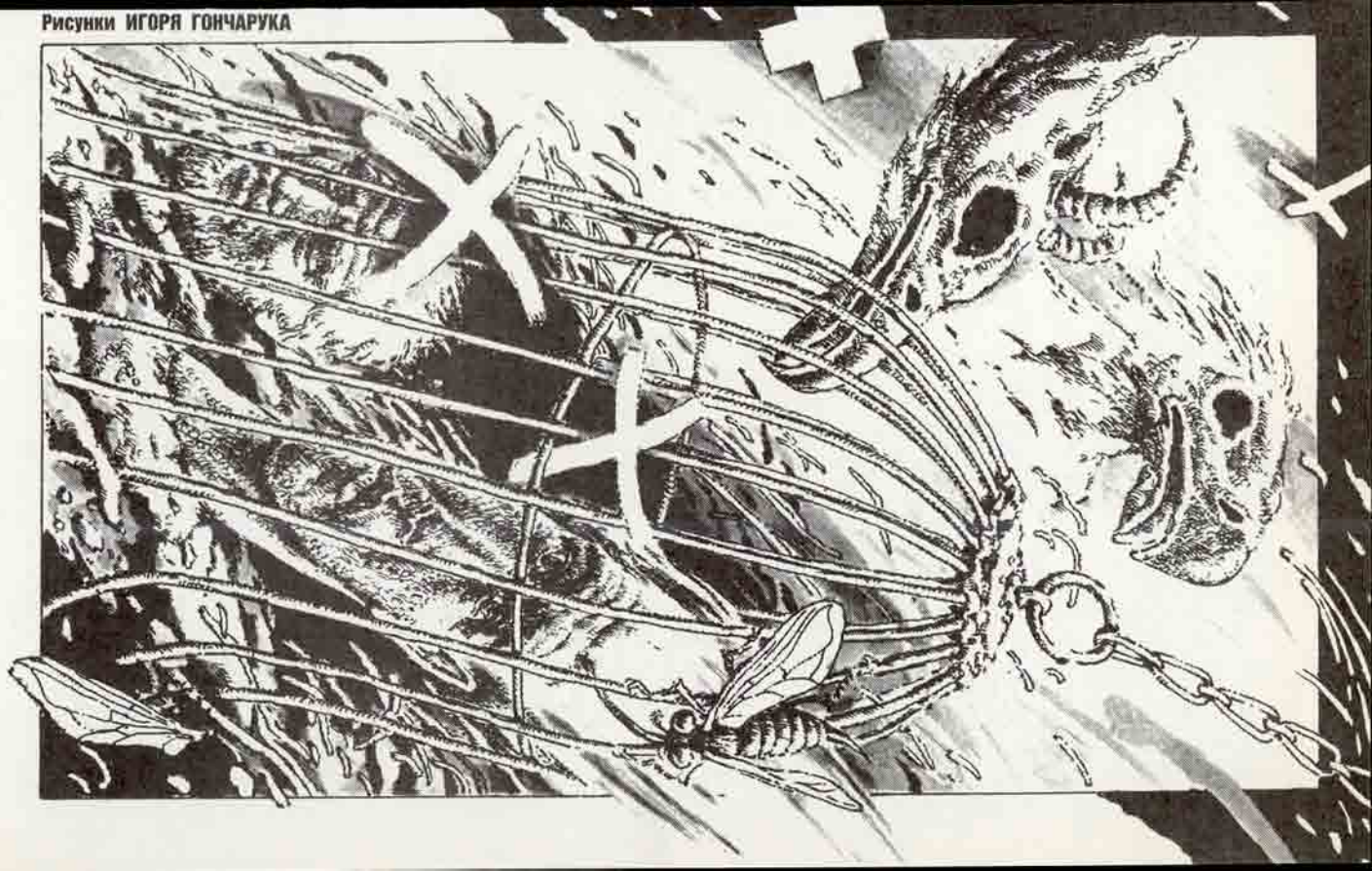
— Валяй.

— Нет, не взял бы.

— Спасибо за откровенность... Вот и договорились.

— Видишь ли,— Крепс легонько кончиками пальцев коснулся

Рисунки ИГОРЯ ГОНЧАРУКА



его плеча, как бы извиняясь за невольную свою откровенность,— ты слишком жалеешь себя. В моем театре,— он со значением выделил это самое «в моем»,— актер должен будет жалеть других, себя же — в последнюю очередь... Скорее даже совсем не будет... Цель искусства, наверное, все-таки самоотдача, а не самоутверждение... Ты, Вадя, наверное, первоклассный актер в общепринятом смысле... Но мне понадобятся не столько актеры, сколько мыслители, даже страдальцы...

— Так научи!

— Этому нельзя научить, это или приходит само по себе, или не приходит вообще.

— Что же нужно сделать для того, чтобы это пришло?

— Нужно успокоиться.

— У меня нет времени.

— Время здесь ни при чем.

— Что же — «при чем»?

— Наверное, сердце.

— Ему тоже некогда.

— Тогда не жалуйся.

— Иди ты к черту...

— За все надо платить, Вадя. Ты хочешь даровых откровений, а за них надо платить, и часто — всем. Одно из двух: или магический кристалл, или счет в сберкассе. Сочетание исключено. Прости, но ты сам...

— Валяй, валяй...

Он великодушно покивал, чувствуя, как снисходительное безразличие уступает в нем место острой, но еще необъяснимой для него горечи...

— Но в тебе есть немалая толика прекрасного самоедства. И это тебя в конце концов спасет.

— Поздно... Мне уже тридцать пять.

— Самоеды, вроде тебя, до старости — дети. Считай, что ты в любую минуту можешь начать все заново.

— И жизнь?

— Разумеется! Можно просуществовать век, в котором не наберется и года жизни, и можно прожить год, который вберет в себя целый век... От суеты только надо отряхнуться, от душевной праздности...

— Как?

— Здесь советовать — пустое дело. Каждый приходит в себя по-разному.

— Вот ты, к примеру?

— Видишь ли, Вадя, есть такая коротенькая притча. Шли двое по лесу. Долго шли. Наконец один не выдержал: «Заблудились»,— кричит. Другой успокаивает: «Пошли дальше. Я дорогу знаю, выведу». Первый поверил и пошел. Шли они шли, но все-таки выбрались. Тогда первый и спрашивает: «Коли ты дорогу знал, что же мы так долго плутали?» А другой ему отвечает: «Важно не дорогу знать, а идти».

— Выходит, и ты не знаешь?

В смущении улыбка Крепса казалась еще более искательной и виноватой:

— Нет, Вадя, не знаю... Иди — вот и все, что я могу тебе посоветовать...

— Из моего леса нет выхода.

— И все-таки лучше иди.

— Было бы куда...

В зеркале окна, размытые тусклым светом коридорного плафона, безмолвно маячили две молчаливые фигуры, затем одна из них растворилась в дыму, и, оставаясь наедине с собой, Вадим с отходчивой горечью заключил про себя: «Некуда мне идти, Маркуша, некуда, да и незачем!»

IV

Суббота — день свиданий. С утра в палатах царило нервное оживление: освобождались от останков прошлых передач сумки, под наблюдением санитаров сбривалась недельная щетина, затасканным пижамам придавался посильный лоск. Каждый, даже из тех, кого никто не навещал, хотел выглядеть в этот день щеголем и весельчаком.

По отделению расхаживала в своих знаменитых, сорок последнего размера валенках старшая сестра Нюра, прозванная здешними старожилами «тетей Падлой», и, вяло ворочая обвислой челюстью, покрикивала:

— Живей, ребята, живей! Чтоб кровати по ниточке! Как в санатории! Из тумбочек все вон! Прогулка, оправка — и шагом марш на свиданку! Разговорчики!

Первое время Вадим еще втайне надеялся, что однажды дежурный санитар выкликнет и его фамилию, но проходила суббота за субботой, а никто из друзей или знакомых не спешил напомнить ему о себе. И он перестал ждать. Жизнь являла ему наглядное доказательство непрочности застольных дружб. Что же касается жены, то его с нею уже ничто не связывало. Отказавшись взять Вадима из больницы, она сама поставила точку в их недолгих и малопонятных и ей, и ему взаимоотношениях.

Поэтому, когда однажды от входных дверей пошла гулко размножаться по палатам его фамилия, у Вадима удушливо засосало под ложечкой: «Кого еще принесла нелегкая? Отстали бы уж наконец совсем!»

Долгими коридорами его вместе с другими провели в полутемное сводчатое помещение, где за квадратными четырехместными столами уже размещались первые посетители.

И не успел Вадим толком оглядеться, как из-за стола в дальнем углу поднялся и, чуть покачиваясь, пошел к нему навстречу давний его приятель и собутыльник Федя Мороз.

— Дедюк,— заячьи глаза его, подернутые хмельной поволокой, любовно увлажнились,— здравствуй! — Он грузно обвис у Вадима на руках.— Как же это ты, Вадя, а? Даже знать не дал. Выходит, и во мне разуверился? Я тебе друг или нет?

И хотя Вадим особо не заблуждался по поводу пьяных Фединых излияний, на сердце у него стало ровнее и мир несколько раздвинулся перед глазами вширь и вдаль: «Не все, значит, забыли, помнят».

С Федором Морозом жизнь столкнула его случайно в театральном училище на вечере встречи с литинститутовцами, где тот в очередь с однокурсниками читал свои стихи. И не то чтобы стихи его очень уж пришлись по душе Вадиму — стихи как стихи, ни хороши, ни дурны, расхожего образца средней руки,— нет, просто было в этом лобастом, стриженном под нулевку парне, в его манере держаться — сжатые кулаки в карманах видавшего виды пиджака, ноги широко расставлены, голова боксерски выдвинута вперед — что-то такое, от чего на душе становилось увереннее и тверже.

Потом они вдвоем бродили всю ночь арбатскими переулками, и Федор вперемешку со стихами поведал Вадиму тогда еще короткую, но пеструю историю своей жизни.

Мальчишкой оставшись без родителей, он определился в мореходное училище, откуда ушел в первую кругосветку. Два года проплавал на морских извозчиках, повидал свет и людей. Еще в детстве «ушибленный» литературой парень в свободные от вахты часы изводил бумагу рублеными виршами под Киплинга и Багрицкого. Почти без надежды на успех послал их вместе с заявлением в литинститут и, неожиданно для самого себя, был принят...

— Вот так,— закончил тогда Федор свою исповедь и скосил в его сторону круглый, блистающий доверчивым озорством глаз,— я и назвался груздем.— И звучно продолжил: «Ураган матросов не пугает. Нет! Они сжимают кулаки. Судно только крысы покидают. Только крысы, но не моряки».

Сначала они встречались от случая к случаю, но каждая следующая встреча все более их сближала, и вскоре им уже трудно было обойтись друг без друга.

Успех к нему пришел скоро и надолго. Его охотно печатали. От предложений, причем самых лестных, не было отбоя. Но чем громче становилась популярность Федора, чем доступнее давались ему публикации, тем резче обсекалось его когда-то круглое добродушное лицо, заметнее темнели глазницы. Все чаще и чаще он стал запивать мертвую, пока наконец это не стало его бедой и болезнью. Дружки и приятели потихоньку от него отпадали. Один за другим отпали все. Федор остался в одиночестве.

Тяжелый, с мертвым лицом, он неделями пластом валялся на раскладушке, поднимаясь только затем, чтобы выпить и снова лечь. Болтал какой-то вздор, но и сквозь этот вздор вдруг блаженно прорывалась порой источавшая его боль.

— Не то, не так, Вадя, слова не те... Кристалла во мне не оказалось... Того самого... Чтобы встать однажды и просто произнесть: «И зло наскучило ему...» Наскучило!.. Каково?.. А!.. Умели поручики высказываться... А, впрочем, бред... Налей, милый, не ругай меня, ведь я не клубный пижон...

Постепенно он сходил на нет, пока не замолчал совсем. Что-то переводил, что-то печатал из старья, прирабатывая потихоньку около эстрады и рекламных бюро. Последние годы они виделись редко, говорить им было уже не о чем, и каждый из них, занятый своими заботами, тотчас забывал о встрече. Оттого,

слушая сейчас гостя, Вадим никак не мог отделаться от ощущения виноватой неловкости перед ним за недавнюю свою отчужденность.

— Понимаешь,— Мороз между тем заметно трезвел и подтягивался,— за что-то мы платимся, Вадя. За тяжкий какой-то грех. Там, внутри нас, пустота. И не залить нам этой пустоты ни спиртом, ни ожесточением. Сами в себе задыхаемся. Потому у нас ничего и не получается. Крик иногда у кого выходит, а настоящего, чтобы на века,— нет. Вот и «сублимируемся» потихоньку, кто как может. Кто бабами, кто, так сказать, общественной суетней, кто доносами...

Воспринимая его вполуха, Вадим время от времени поглядывал в сторону соседнего с ними стола, где рядом с аккуратным — реденький и словно светящийся нимб седой поросли вокруг розовой макушки — старичком, которого ему мельком уже приходилось замечать где-то в лабиринтах соседних палат, сидела девушка лет двадцати — двадцати двух в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета. Девушка держала в своих остреньких ладошках пухлую руку старика, и они ласково и доверительно о чем-то беседовали. У нее было чистое, не отмеченное какой-либо определенной чертою лицо, но едва она начинала улыбаться среди разговора, узкие, близко сдвинутые к переносице глаза ее заполнялись игольчатым мерцанием, и тогда в ней цельным и определенным образом проявлялся характер. Порою девушка, перехватывая взгляд Вадима, на мгновение замирала, потом, упрямо вскидывая подбородок, стряхивала оцепенение и отворачивалась.

Машинально кивая в такт Фединой речи, Вадим почти не слышал друга в ревнивой боязни избыть, растратить в слове трепетное и все нарастающее в нем предчувствие какой-то скорой и праздничной перемены в своей жизни.

— Не оказалось во мне того самого, магического, Вадя, кристалла,— Мороз уже не замечал ничего вокруг, говорил скорее для себя, чем обращаясь к Вадиму,— а зря бумагу оскорблять не хочу. Без меня хватает. Уж лучше репризы разговорникам сочинять, по крайней мере совесть не мучает. Хочешь,— тяжело усмехнулся он в пространство перед собой,— байку тебе выдам? — И, не ожидая ответа, невидяще повел глазами вокруг.— В самый голодный год встретил один большой литначальник старую поэтессу в самом что ни на есть плачевном состоянии. Ну, и отдал ей от широкой души, так сказать, со своего барского плеча особую карточку для потребления в столовке самого первого разряда. На, мол, пользуйся и благословляй меня по гроб. Сам-то он, конечно, другую получил. Прошло время эдак подходящее, снова встречает благодетель старуху. «Что ж ты,— говорит,— Ксюша, ни разу я тебя у нас в столовой не видел?» «Ах,— отвечает,— милый, там такие пошлые потолки!..» Это в сорок втором-то, Вадя, в том самом... Видно, потому-то у нее и получалось... В единстве внутреннем, в гармонии жила старуха. Из света вышла, а мы все — из тьмы... Тьма-то нас собственная и поедает. Да! — Он вдруг ожил и виновато заулыбался.— Что ж я тебя все баснями да басня-

ми! — Ему, видно, доставляло огромное удовольствие выкладывать перед Вадимом свои небогатые дары.— Ты уж, брат, не привередничай, я по этим заведениям не в первый раз хожу. Здесь разносолы ни к чему. Колбаса, сахар, курево и, главное, побольше. А это вот,— он заговорщицки подмигнул Вадиму,— печеньице к чаю. Смотри не урони, разольется.

В коробке из-под печенья, и это Вадим определил сразу, было упаковано не меньше двух бутылок. И по достоинству оценив самоотверженность друга, он удивленно выдохнул:

— Ну, ты даешь!

— Однако живем, Вадя! — Феде манны небесной не надо, только похвали.— В такой собачьей жизни да не выпить, совсем с тоски высохнешь. Эх, Вадя, Вадя, жизнь под гору пошла. Уже не переиначишь.— Он вдруг поднялся и заспешил.— Пойду-ка и я где-нибудь по дороге свои сто пятьдесят сглотну. Покуда, Вадя, будь. Прости, если что не так.

Они легонько для порядка помяли друг друга, и Федя вяло отпал от Вадима, двинулся к выходу, и во всей его сразу ссутулившейся фигуре, в походке, в наклоне головы угадывалось усталое облегчение. Безвольная спина его еще помаячила в коридоре, пока ее не размыло светом впереди, и Вадим, благодарно оттаивая, с сочувственной горечью заключил про себя: «Сдает парень, совсем сдает».

Проходя мимо соседнего стола, Вадим коротко скосил взгляд в сторону девушки, с сильно бьющимся сердцем отметил ее ответное внимание и, уже выйдя следом за санитаром в коридор, все не мог унять вдруг охватившее его жаркое и томительное волнение.

И потом, когда он вместе с Крепсом и Телегиным в простенке между двумя угловыми койками допивал принесенное Федей вино, его при одном воспоминании о ней всякий раз обволакивала радостная задумчивость, сквозь которую в его сознание еще пробивался нетвердый голос захмелевшего Митяя:

— Рази тут мороз? Баловство одно. Вот, скажу я вам, в Игарке мороз — это да! Сорок пять по градуснику да еще с минусом. Душу насквозь просекает. Только я крепок тогда был, выдерживал... А теперя у фортки стыну... Сдает машинка. Долго не протяну... Землица зовет на покой. Обида только: в чужой стороне лягу. Без креста и памяти... Никого нет, ничего нет. Ни конуры, ни привязи... И рупь мой с версту так и остался в тумане. И кому я задолжал столько, что до сих пор не расквитаюсь!.. Ишь, как сердчишко прыгает! Как овечий хвост.— Он сунул руку под рубаху и начал старательно растирать левую сторону груди.— Пойду я, братцы, лягу... Мерси за угощение... Неможется чтой-то.

Уходил Митяй неуверенно, ноги переставлял с трудом, серое лицо его, подернутое сивой щетиной, болезненно заострилось, и по всему было видно, что доживает он свой век через силу и что отсюда предстоит лишь одна дорога — на больничный погост.

— Вот так, Вадя.— Волосатые руки Марка, разливая по кружкам остатки, мелко-мелко тряслись.— Вынули мужику

душу и не предложили ему взамен ничего, кроме выпивки. Вот он, этот мужик, и выгорает изнутри синим пламенем. Все наши российские горе-преобразователи вроде Петра и его марксистских поклонников умерли с чувством выполненного долга, оченно себя уважая, умерли, а прожекты ихние нам боком выходят. Нам, не имеющим к ним даже косвенного отношения. В силу какого такого закона за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация? Века платить! И как! — Хмель почти не сказывался в нем, и только это вот, так не свойственное ему обычно ожесточение, выдавало его.— Притом нас еще и клянут все, кому не лень. Весь свет! Да мир до самого светопреставления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать!

Последние слова Крепса пробились к Вадиму уже сквозь полусонное забытье. И виделась ему девушка в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета, плывущая по утренним снегам ему навстречу. Потом метель размыла ее облик, и голос Телегина стал бередить в нем его собственную затаенную боль: «Никого нет, ничего нет... Без креста и памяти...» И сразу вслед за этим, словно наяву, обозначился перед ним выпуклый, почти без морщин лоб старичка с венчиком белого пуха вокруг розовой макушки, ласково шелестящего у него над ухом: «Думается мне, вы не правы, Марк Францевич, в данном случае...»

Старичок отвердевал, устаивался, пока не определил себя напротив него в яви. Сидя на краешке Крепсовой кровати, он складывал певучие слова в ровную неторопливую речь:

— ...Да, не правы... Спаситель не жалости к Себе у Отца просил, а любви к распинающим Его... Возненавидеть их страшился. Боялся не снести креста искупления до конца.

— Верую я, отец Георгий, верую! — Таким Вадиму Крепса еще видеть не приходилось: белый, с трясущимися губами, он судорожно цеплялся за отвороты старикова халата.— Только почему допустил Создатель одному только народу телом этого самого искупления стать? Сколько же его распинать можно? Терпим мы, терпим. Терпения у нас хватит. Любовь на исходе. Злоба Россию душит. Если выплеснется, кровь дешевле воды станет. Каким же искуплением тогда оплачивать ее придется?

Злые беззвучные слезы закипали в его выпуклых глазах и, собираясь в уголках век, тихо стекались к подбородку. Марк не замечал их, продолжая тискать лацканы халата, накинутого на плечи старичка, пока тот не взял его руки в свои, не заговорил умиротворенно:

— Всякому народу своя доля тяжести. От нас самих зависит достойно ее снести, помочь Спасителю в строительстве Его божественном. Роптать — значит, не идти, а топтаться на одном месте. У вас в руках, Марк Францевич, дело, святое, нужное, угодное Господу дело, оно и спасет вас и многих спасет. Надо только отринуть от себя страх перед мирской мерзостью и не с обстоятельств начинать, а с самих себя, со своего прямого дела...

Словно завороженный его медлительной речью, Марк стихал, светлел обликом, вновь обретал обычную для себя безмятежную ясность. И, окончательно засыпая, Вадим успел мысленно озадачиться по адресу старичка: «Его-то, одуванчика, за что сюда?»

V

Кружение в прогулочном дворе было, по обыкновению, неспешным и молчаливым. Вырвавшись из каменной коробки отделения, где слова служили единственным средством скрасить друг другу скуку существования, каждый старался сполна вобрать в себя свою долю тишины и одиночества.

Небольшого роста, плотный, с крепко и ладно посаженной на широкие плечи головой, Крепс вымеривал территорию двора уверенной и твердой походкой человека, который определенно знает цену каждому своему шагу и вздоху и у которого нет времени для сует и сомнений. Вадим, стараясь попасть ему в ногу, еле поспевал за ним. Снег тихонько поскрипывал под их подошвами. В безветренном морозном воздухе от окрестных деревень тянуло кисловатым дымком прелой соломы. Над головой, в отвердевших ветвях заснеженных тополей, лениво и, как бы передразнивая друг друга, покрикивали тощие галки. Мир в замкнутом кругу прогулочного двора выглядел таким надежным и предельно устойчивым, что можно было подумать, будто никакая сила извне уже не сможет его поколебать.

— Заметь,— не поворачиваясь к Вадиму, сквозь зубы процедил Крепс,— занятный дед.

Они приближались к скамейке, на которой, зябко кутаясь в халат, накинутый поверх жиденькой телогрейки, сидел прямой, тщательно выбритый старик с висячими, пуховой белизны усами. Издалека он походил на замерзающего кондора, вынужденного зимовать под чужим для него небом.

Минуя старика, Крепс уважительно ему поклонился. Вместо ответа тот глазами указал режиссеру место рядом с собой. Марк кивнул Вадиму, они сели, после чего усач, порывшись за пазухой, достал и молча протянул сидевшему около него Крепсу сложенный вчетверо листок глянцевитой бумаги.

Читая, тот держал документ на некотором расстоянии от себя, с тем чтобы и Вадим мог, хотя бы краем глаза, схватить суть написанного. В документе французское посольство уведомляло господина Ткаченко Валериана Семеновича о том, что по ходатайству его супруги, проживающей в Париже, оно готово содействовать выезду вышеозначенного на постоянное место жительства во Францию.

— И как вы решили, Валерьян Семеныч? — Возвращая ему бумагу, Крепс глядел прямо перед собой.— Поедете?

— Наверное, нет.— Смутная полуулыбка обрамила ровный ряд нетронутых временем зубов.— Мне уже восьмой десяток. Каждый день для меня — подарок. Больше половины жизни скитался по чужбине. Теперь я хочу умереть здесь, на родине. Если уж выбирать, то лучше желтый дом в России, чем любая европейская богадельня... Жаль, конечно, Аннет, с ней мы многое перенесли вместе, но она, верно, поймет меня.

— Тогда, может быть, вы все-таки выпишетесь? — Рука Марка легла поверх ладони старика.— Негоже вам, Валерьян Семеныч, больничным приживалой жизнь кончать.

— А куда я пойду, Марк Францевич? — Даже выражение беспомощности не размягчало его скульптурно четкого лица.— У меня там,— он кивнул в сторону забора,— никого нет. Да и что я там буду делать? За сорок-то с лишним лет все переменилось. Не приживусь я теперь на воле. А здесь у меня по крайней мере есть крыша и постоянный хлеб. Нет, уж, Марк Францевич, поздно мне снова начинать.

— Как знаете, Валерьян Семенович, как знаете.— Поднимаясь, Крепс устало поморщился.— Пошли, Вадя.

После разговора со стариком Марк заметно сбавил шаг, поскучнел, шел, то и дело озноблено поводя плечами. В нем явно проступало нетерпение высказаться, но, лишь удалившись на порядочное от усача расстояние, он разразился горячечным шепотом:

— Что же это делается с людьми, Вадя! Полный генерал, первый командующий русской авиацией, кавалер трех Георгиев считает за счастье скоротать последние свои дни в сумасшедшем доме! Мир взбесился! Ты только посмотри на него, ведь он доволен! Доволен! Уж эта мне российская ностальгия! Рабом, побирушкой, бездомным псом — лишь бы на родине. Слышишь, «на родине»! А то, что эта самая «родина» сначала отказалась от него, потом гоняла по всем своим лагерям от Колымы до Потьмы и, наконец, в виде особой милости разрешила перекантоваться до похорон в дурдоме,— это не в счет. А властям на руку. Они даже культивируют такого рода гнусности в людях. Как же — патриотизм! Так ведь патриотизм-то героев должен рождать, а не лакеев! Что с нами будет, Вадя, что будет? На глазах вырождаемся!

— Как он к нам-то попал? — От всего услышанного Вадим слегка растерялся.— Каким образом?

— В сорок пятом, в Югославии взяли. Он там латынь в русской гимназии преподавал.

— А потом?

— Потом? Потом — лагерь. Освободился, идти некуда. Стал хлопотать о выезде — заперли сюда. Теперь, как видишь, сам не хочет. Конечно, за двенадцать лет в эдаком содоме кого хочешь сломает, но все-таки не умещается это у меня в голове.

— Может быть, он прав, Марк. Если уж мы с тобою не смогли приспособиться, то ему ведь еще труднее. Мы хоть родились и выросли в этой выгребной яме.

— Но у него в отличие от нас есть сейчас свобода выбора.

— Там ведь тоже хлеб даром не дают, Маркуша, а ему уже вот сколько накачало.

— И ты туда же!

— Но ведь правда.

Тот лишь рукой махнул, иди ты, мол, к чертовой матери. И направился в отделение. Прежде чем последовать за приятелем, Вадим не выдержал искушения, обернулся. Старик все так же сидел на скамейке, глубоко вобрав голову в плечи, от чего

сходство его с больной, заброшенной птицей казалось еще более разительным.

VI

Едва они успели раздеться, как появился гость из соседней палаты. Сияя во все стороны выпуклыми цементного оттенка глазами и победно поводя вокруг себя кирпичной бороденкой клинышком, он торжественно потрясал развернутой газетой:

— Поздравляю вас, товарищи! — Его прямо-таки распирало от восторга.— Братская ГЭС дала первый ток! Представляете, товарищи, какой удар по нашим злопыхателям из-за рубежа?

Гость этот — фамилия его была Бочкарев — считался здесь коренным старожилом. Помещенный сюда, по его собственному определению, за активную борьбу с религиозными пережитками, выразившуюся в том, что он изъял у своей соседки и ухитрился сжечь на газовой конфорке образ Иоанна Крестителя, Бочкарев и тут остался верен себе и своим убеждениям. Имея право свободного выхода, он с утра отправлялся в село за газетами. Затем с карандашом в руках прочитывал их от корки до корки, старательно подчеркивая наиболее, по его мнению, значительные места, после чего садился писать одобрительные реляции в самые высокие адреса. В своих посланиях Бочкарев «горячо одобрял», «с энтузиазмом поддерживал», «безусловно санкционировал» все последние меры и постановления вышестоящих инстанций. Письма его начинались с обычного «в нашем здоровом коллективе больных» и заканчивались традиционным «коммунистическим приветом». Периодика и почтовые расходы целиком поглощали бочкаревскую пенсию, что лишь воодушевляло его бескорыстную деятельность. Получая вежливые ответы в маркированных конвертах, он поглядывал на окружающих таинственно и горделиво. Казалось, не было такой силы в мире, которая могла бы выбить Бочкарева из его раз и навсегда взятой им колеи.

— Но это еще не все, товарищи.— Его праздничное сияние становилось почти нестерпимым.— В Тюменской области забил новый мощный фонтан нефти! Ученые утверждают, что запасы черного золота в этом районе практически неисчерпаемы!

Для Крепса это было слишком. У него даже кровь отлила от лица и белые губы вытянулись в змеящуюся ниточку:

— Слушай, ты, поросенок,— цепляясь за край койки, он весь, словно стреноженный конь, яростно подрагивал,— если ты сию минуту не спинаешь отсюда, я буду делать из тебя клоуна. Ну!

Бочкарева уговаривать не приходилось. Полтора десятка лет, проведенных в отделении для социально опасных, научили его спасительной осторожности. Мгновенно ретировавшись, он все-таки не утерпел, помитинговал в коридоре:

— Теряете классовое чутье, товарищ Крепс! Не радуетесь успехам своего государства! Скатываетесь в болото ревизионизма! Льете воду на мельницу!.. И потом у меня поручение к товарищу Лашкову! Его просил зайти товарищ Телегин! Товарищ Телегин серьезно болен!

Известие о болезни Митяя лишний раз напомнило Вадиму,

что в последнее время тот, обычно шумный и общительный, не появлялся ни в столовой, ни на прогулке. «Друг, называется,— укорял он себя, устремляясь в телегинскую палату,— совесть иметь надо».

Митяй истощался на глазах. И без того худое лицо Телегина заострилось, сквозь недельную щетину отечно поблескивала кожа, сухое и короткое тело его под одеялом, натянутым до самого подбородка, время от времени судорожно дергалось. Рядом с койкой, сложив тяжелые руки на коленях, сидела старшая сестра, и не было в ней сейчас ничего от той тети Падлы, одно появление которой в палате нагоняло на окружающих тоску и оторопь. В нескладном ее облике сейчас явственно проступало горе, неуловимо сообщавшее ее унылым чертам подобие доброты и женственности.

— Ты посиди с ним, милок, пока не заснет.— Вставая, она старалась не глядеть в его сторону.— Сделаю дела, приду сменю.

Грузные шаги Нюры затихли в коридоре, и Вадим, опускаясь на еще теплый после нее табурет, мысленно озадачился: «Поди угадай, кого клясть, на кого молиться!»

— Переживает.— Часто и прерывисто дыша, Митяй болезненно усмехался из-под полуопущенных век.— Баба — она баба и есть. Хлебом не корми, пожалеть дай... А что пришел, спасибочка... Совсем разворошило меня, прямо страсть... Пропил машинку свою дочиста... Не тянет...

— Пить тебе не надо, Дмитрий Палыч.— У Вадима тягостно засосало под ложечкой.— Совсем не надо.

— Видать, не надо,— миролюбиво согласился тот.— Слякотно на душе, Вадюха, а выпьешь, вроде глаза прорезаются: птахи поют, в листках запах разный, жить хочется! — От возбуждения он даже приподнялся на локтях.— Так бы и не протрезвлялся совсем.

— Лежи, Палыч, лежи, не раскрывайся.

— Боюсь я, Вадюха, смерти боюсь.— Перегнувшись через кровать, Митяй уткнул ему взлохмаченную голову в колени.— Как одна секунда, вроде и не жил еще... Спину холодит — так страшно... Завязать было хотел бродяжничество свое. С Нюркой вот договорился: выйду — сойдусь. По закону сойдусь, а не как сейчас... Неужто не выберусь, Вадюха? Обида-то какая!

Неожиданно резко Телегин откинулся на спину, мгновенно обессилел и затих. Спасительный сон снизошел к нему, и он тревожно заснул, но и у спящего у него нетерпеливо шевелились губы, будто в последнюю минуту он не успел досказать Вадиму чего-то самого главного, самого обязательного.

VII

Среди ночи Вадима разбудил Бочкарев:

— Товарищ Лашков, товарищ Лашков,— шепотно шелестел он над ухом,— вас зовет товарищ Телегин.— В полутьме едва освещенной палаты желтые зрачки Бочкарева мерцали вещей торжественностью...— Только, пожалуйста, поскорее. Ему, кажется, очень плохо...

Когда он с гулко бьющимся сердцем очутился у кровати

Митяя, тому было уже ни до кого. Отвисшая челюсть его безжизненно касалась плеча, жиденькая фигурка под одеялом вытянулась и отвердела, в холодных пальцах остывала скомканная простыня.

Так близко, так непосредственно Вадим видел смерть во второй раз в жизни, но снова, как и в тот день, когда ему пришлось столкнуться с нею впервые, она не столько испугала, сколько заворожила его своим немотным умиротворением. Казалось, человек, перейдя смертную черту, приобщился там — за этой чертой — к чему-то такому, что наконец примиряло его со всем и со всеми.

Перезимовав тогда на Хантайской перевалочной базе в качестве полурабочего, полусчетовода, Вадим ранней весной решил на свой страх и риск пешком добраться до Игарки. Предупреждения о том, что этим временем года даже бывалые охотники остерегаются выбираться в тайгу, не остановили его, и он, побросав в рюкзак кое-что из еды и бельишка, двинулся по прибрежной хляби лесотундры в сторону Енисея. Многочисленные ручейки, из тех что летом просто перешагивают, в эту пору разбухали до размеров речек средней руки, и каждую из них приходилось преодолевать по всем правилам саперного искусства.

Когда, использовав вместо веревок исподнее и единственную запасную рубашку, Вадиму удалось соорудить из двух плывунов нечто вроде плота и с горем пополам переправиться через первый поток, он понял, что поход этот оборачивается для него авантюрой, причем безо всякой надежды на успех. Тусклые облака плыли над головой, почти задевая верхушки ржавых лиственниц. Река еще пестрела кое-где медленно скользящими льдинами. Топь под ногами сочилась и пружинила так, что каждый новый шаг давался все тяжелее и медленней. Но самым мучительным и невыносимым было ощущение собственной затерянности среди всего этого свинцового безмолвия.

Очередной поток Вадиму удалось миновать, поднявшись до его верховья, вброд. Но возвращение отняло у него последние силы, и поэтому, когда перед ним после трех с лишним часов выматывающего душу хода возникла, как наваждение, новая водная полоса, он уже утратил способность к сопротивлению. И он упал плашмя, вниз лицом на береговой галечник и заплакал, завыл в голос от своего бессилия перед этой — всего какихнибудь десяти-двенадцатиметровой в ширину — лентой тягучемутной речонки. Но вдруг, уже чуть ли не в полубреду, им властно овладело ощущение близости жилья. А некое подсознательное постижение яви, когда в человеке предельно обостряется вся его жизнеспособность, укрепило в нем эту спасительную уверенность...

И тогда Вадим последним, почти нечеловеческим усилием воли заставил себя подняться и дойти до самой кромки потока. И здесь со вздохом веры и облегчения он увидел слева от себя, метрах в пятидесяти выше по течению, огромную льдину, выброшенную, видно, сюда ранним половодьем и перегородившую собой весенний сток. По ней, как по мосту, он и перешел на

другой берег, откуда на гребне ближнего распадка перед ним возникло, судя по усадебному запустению, безлюдное зимовье.

Но стоило ему лишь потянуть на себя дверь, как тотчас вялый, с болезненной хрипотцой бас заполнил едва освещенное крошечным оконцем логово:

— Закривай бистро... Холодно... Вьетер...

Еще и не обвыкнув в царившем здесь сумраке, Вадим по знакомому всему хантайскому побережью акценту узнал Каспара Силиса — промысловика из латышей-спецпереселенцев. Высланный в эти края в сорок пятом, Каспар, с его цепкой крестьянской хваткой, быстро обжился в новых и неласковых для себя местах, и вскоре аборигены только руками разводили, сравнивая Каспаровы заработки со своими. На зависть удачливо промышлял он рыбой и дичью, в песцовый же сезон, там, где матерые старожилы считали десяток шкурок в неделю за счастливый фарт, Силис в один только суточный обход брал, как правило, до пяти штук, не менее. И сколько Вадим ни пытался выследить хитрого латыша, чтобы засечь его систему секретов, тот без особого труда, как бы даже играючи, неизменно ускользал от слежки. А потом, с богатой добычей заворачивая на базу передохнуть и обогреться, только посмеивался в сторону Вадима:

— Не добить тебе писець, Вадя. Не идьет в твой капкан... Мой хочьет... Мой ему лутче...

Теперь же Каспар лежал перед Вадимом на старом своем овчинном полушубке весь в крупной испарине, и распоротый от самого носка вдоль голенища пим валялся у его ног. Правая ступня была наспех закутана случайным тряпьем.

— Зажигай печка, Вадья, гриеться будьем.— Лихорадочная воспаленность не погасила привычной усмешки в его глазах, скорее наоборот, только обострила ее и сделала еще более вызывающей.— Пьесець капкан ловиль, тьеперь сам капкан попаль...

Когда в давно не топленной печке весело и гулко вспыхнул огонь и Вадим, буквально содрав с ноги Каспара скоробившийся от засохшей крови носок, осмотрел его раздробленную зубцами волчьего капкана ступню, он полностью осознал всю безнадежность ситуации, в которой тот оказался. Жухлая, в чешуйчатой коросте кожа уже исходила темно-бурыми, расплывчатой формы пятнами. Не надо было быть большим спецом, чтобы безошибочно определить все признаки газовой гангрены. От ближайшего ненецкого спецпоселения Плахино их отделяло не менее сорока километров, густо пересеченных осатаневшими из-за такого напора ручьями. И если в одиночку Вадим едва-едва осилил чуть больше половины этого расстояния, то, чтобы двинуться дальше вдвоем с обессилевшим Каспаром, нечего было и думать.

Оставалось одно: сидеть и ждать. Ждать, когда смерть довершит свое дело. И от того, что он обречен быть свидетелем ее медленной, но неотвратимой работы, Вадиму становилось не по себе.

— Грейся, Вадья,— Каспар, наверное, угадывал страх Вадима, колючая насмешливость в нем оттаивала снисходительным добродушием,— вода дольго будет... Риба есть, пшенка есть,

сидьи грейся... Менья погаит уже не можно... Плохо не Латвия... Ты биль Латвия, Вадья? Ай-ай-ай, Вадья, Латвия не биль!.. Аурумциес деревнья... Рибеки все... Морье окно видно...

Пять нескончаемо долгих суток, то впадая в бредовое забытье, то снова приходя в себя, выдубленный горем и стужами могучий организм Силиса отвоевывал свою жизнь у подползающей к его сердцу гибельной порчи. На шестой день, когда незаходящее июньское солнце, едва коснувшись горизонта, медленно потянулось к зениту и зимовье залило его ровным багровым отсветом, заострившееся, в бурой щетине лицо Каспара вдруг просветленно обмякло, и он с прежним своим озорством взглянул в сторону Вадима:

— На лижня, на лижня виставляй капкан, Вадья... Пьисець бегает на снег... Бьегает. Снег мягки... Лижня твьердый... Пьисець бежаль на лижня... Тьвердо хорошо... Бежать бистро, бистро можьет... Не уйдет с лижня... Ставь капкан на лижня, Вадья. Много-много пьисець тебе будьет... Денег много будьет, Латвия поедьешь... Аурумциес глядеть будьешь... Морье...

Еще какое-то время запекшиеся губы Силиса беззвучно шевелились, но грузное тело его уже облегченно вытягивалось, и наконец он окончательно затих, и солнечный блик из окошка, коснувшийся в этот момент Каспарова лба, только с недвусмысленной резкостью обозначил его безжизненную сухость. Перед Вадимом, тяжело распростершись на овчинном своем полушубке, лежал старый латыш, выброшенный с родной земли, но даже смерть не могла стереть со всего его облика выражение покойной уверенности человека, достойно прожившего свою жизнь...

И сейчас, в оцепенении глядя на остывшую плоть Митяя, на его вялые, раскинутые в стороны руки, он впервые в жизни проникся пронзительным отчаянием: «Неужели и мне вот так придется? Вот так?»

VIII

Крепс метался из угла в угол опустевшей курилки, и дымок его сигареты голубым шлейфом кружил следом за ним. В последнее время бессонница частенько сводила их здесь по ночам, и бывший режиссер убивал время, развивая перед Вадимом свое видение мирового репертуара. В эту ночь его одолевало Гамлетом:

— Видишь ли, у всех датчанин обвиняет, у меня он будет обвинять тоже, но обвинять, сознавая, что, будучи духовно выше окружающих, он не вправе с них спрашивать, а тем более опускаться до мщения. Гамлет как бы существо инопланетное. И чем тоньше организован звездный пришелец, тем осторожнее должен вмешиваться он в земной правопорядок. А уж коли вмешался, то будь добр платить собственной пыткой — жалостью... Отсюда и ключ мой не в «быть или не быть», а в «из жалости я должен быть суровым». Пусть он прощения просит за свою нетерпимость и заранее знает, что кровь, пролитая во имя справедливости, не приносит в мир ничего, кроме крови. Его не враги, его собственная совесть распинает... Вот смотри...

Легким взмахом руки он перекинул халат через плечо и замер посреди курилки: «Один. Наконец-то...» И случилось чудо. Перед Вадимом на цементном полу больничной уборной погибал, плача от гнева и жалости, истинный сын своего века в затасканном халате из дешевой байки. И не принц датский шепотом вопрошал у темноты за окном: «Быть или не быть?» И не наследник королевского престола, устало опираясь о косяк обшарпанной двери, взывал к миру, но более всего к себе: «Достойно ль?» Это заживо хоронил себя сосед Вадима по койке, стране, земному шару. Но вот он, словно сдаваясь на милость победителя, поднимал до самого уровня плеч руки и так — ладони вперед — двигался к нему из глубины уборной. «Вот два изображения: вот и вот». И волшебство сопереживания начинало колотить Вадима мелкой дрожью. А когда принц, почти обугливщийся от сострадания, раненно простонал, сползая к ногам матери-отравительницы: «Из жалости я должен быть суровым». Вадим, сглатывая судорожные спазмы, только и смог мысленно заключить: «Черт бы тебя побрал, Крепс!» Начиная с «Прости тебя Господь», где Гамлет уже чувствует приближение скорого конца, Крепс провел всю сцену финала, держась за воображаемые настенные мечи. Так и умер распятой птицей — между дверью и ближайшим к выходу унитазом.

— Ну как? — Марк сел и сразу же возбужденно заблистал желтым оком в его сторону.— Годится?

— Годится! — Вадим боднул его головой в плечо.— Высший класс.

— Знаешь,— тот с пристальным вниманием оглядел его,— теперь я бы тебя взял.

— Что так вдруг? У меня другая школа.

— В тебе появилось что-то такое, чего я жду от актера. Ты стал слышать.

— Поздно, Марк, я хочу завязать с этим делом.

— И давно это ты?

— Давно. Воли только не хватало.

— Знаешь,— в пристальном его внимании сквозила откровенная зависть,— а ты больше, чем я думал.

— Спасибо...

Еще в день приезда, прежде чем отправиться домой, он завернул в управление с твердым намерением окончательно рассчитаться с эстрадой. Решение тогда еще только вызревало в нем, только набирало силу, но предчувствие близкой и крутой перемены в жизни уже властно захватило его, и он, формируя события, двинулся прямо в орготдел.

После крикливой сутолоки коридоров кабинет Вилкова мог показаться непосвященному обителью тишины и безмятежности. Но кто-кто, а Вадим-то определенно знал, что не у высокого начальства, а именно здесь сходятся все хитросплетения самого на первый взгляд безалаберного учреждения в стране. С педантичностью счетной машины Илья Николаевич Вилков сортировал свои кадры по бригадам, которые затем колесили по всему Союзу, забираясь подчас в самые медвежьи его уголки. Хозяин

кабинета держал в лысеющей своей голове сотни фамилий и полную меру того, что стояло за каждой из них. Людям же «с красной строки», к разряду которых принадлежал и Вадим Лашков, он вел особый, не предусмотренный никакими инструкциями учет. Поэтому, когда тот молча положил перед ним заявление об уходе, Вилков лишь брезгливо поморщился и, не читая, отодвинул бумагу в сторону:

— Прибалтику хочешь?
— Нет.
— Закавказье?
— Тоже — нет.
— Как у тебя с жильем?
— Порядок.
— Баланс?
— Полная норма.

Холодноватый взгляд выпуклых, немного навыкате глаз Вилкова тронула удивленная заинтересованность:

— Так чего же ты хочешь?
— Уйти.
— В театр?
— Не, совсем.
— Как это совсем?
— Сменить профессию.
— Не смешно.
— Мне тоже.
— А если конкретнее?
— Считаю, что занимаюсь не своим делом.
— Ну знаешь, если бы каждый так рассуждал...
— Надо же кому-то начать.
— Послушай, Лашков, я тебе не враг...
— Я себе тоже.
— Давай серьезно.
— Я без шуток.
— Чего это ты вдруг?
— Хочу начать сначала.
— Что начать-то?
— Жить.
— Тебе тридцать пять.
— Начать никогда не поздно.

— А ты представляешь себе,— обычно невозмутимое, выбритое до синевы лицо его вдруг утратило начальственную медлительность, упругие плечи обмякли и ссутулились,— представляешь, что значит сначала?

История Вилкова была известна Вадиму, как, впрочем, и большинству эстрадников. Работая в одной высокой организации, тот в свое время отказался свидетельствовать против друга военной молодости. Суд был неправым, но коротким. Генеральскую форму Вилкову пришлось сменить на куда более скромное одеяние. Много лет прошло, прежде чем бывшего генерала вернули из мест не столь отдаленных и, памятуя о том, что по характеру возглавлявшегося им ведомства он и раньше соприкасался с областью культуры, вручили ему концертные кадры

для укомплектования и руководства. Вадим недолюбливал Вилкова, как и всех подчеркнуто аккуратных людей вообще, считал его сухарем и педантом и потому обращался к нему только в случае крайней необходимости.

— Чтобы представить, наверное, нужно начать.— Вадим спешил прекратить и без того затянувшийся разговор.— Я ведь не школьник.

— Дали мне тогда Рязань для местожительства.— Отрешенно глядя в окно, тот словно раздумывал вслух.— Пойти не к кому. Родня у меня еще до войны вымерла. Жена, сам понимаешь, уже давно замужем. Да я и не виню, не было у нее другого выхода. Друзей подводить своим визитом не смел... Так и приехал, в чем есть, то есть в старой форме своей, только окантовку спорол... Снял я там уголок у старушки, «божьего одуванчика», и с утра пошел наниматься в товарную контору. Был я тогда еще мужик крепкий. Взяли. Грузчиком. Пришел, помню, первый раз со смены, живого места нет, ломит всего с непривычки. Зато уж и сон был, как у новорожденного. И хлеб ел утренний со щами вчерашними — за уши не оттащишь. Думал, снова жизнь начинаю... Да друзья не дали. Разыскали, восстановили, вознесли... И пошел я опять по кабинетам, как по рукам.— Он сожалеюще вздохнул и вопросительно оборотился к Вадиму.— И куда же?

— Еще не знаю.

— Не раздумаешь?

— Нет.

— Так.— Вилков тронул пуговичку звонка. Мгновенно у порога возникло услужливое диво во всеоружии своего косметического сияния.— Оформляй Лашкову «собственное желание». И скажи там: сегодня уже никого не приму.— Та бесшумно растворилась за дверью.— Чаю хочешь?

— Не потребляю.

— Знаю, знаю... Ты у меня в этом смысле давно на заметке. Были сигналы. Меру, Вадим Викторович, меру надо знать... А впрочем, это твое личное хозяйство. Умный проспится... На-ка вот, взгляни.— Он вынул из-под настольного стекла и протянул Вадиму фотографию.— Это мои теперешние...

Две русоволосые девчушки, со смешливой доверчивостью глядели оттуда в мир, еще не подозревая, что самим своим существованием они делают жизнь вокруг себя осмысленной и надежной. И, поддаваясь вдруг проникшей его откровенности, Вадим спросил:

— Значит, можно сначала?

— Можно, но трудно.

— Тогда попробую.

— В добрый час.

За окном тихим золотом опадали сентябрьские тополя, сквозь которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезилось, что там, за нагромождением этих многооконных коробок уже стоит в ожидании его — Вадима, нетерпеливо подразнивая его белоснежными боками, вытянутый носом к морю теплоход. И мимо-

летное видение это с такой внезапностью все в нем стронуло, воспламенило, что он не выдержал, заторопился:

— Пойду, пожалуй.

Тот, против ожидания, не обиделся бесцеремонной торопливостью гостя: встал, вытянулся во весь свой почти двухметровый рост — снова по-спортивному подтянутый и прямой,— вышел из-за стола, порывисто полуобнял Вадима и тут же легонько оттолкнул от себя:

— Разговор наш между нами. Так что, если не осилишь, возвращайся... Будь.

Тем памятным для него разговором Вадим как бы подвел тогда черту под всей своей предыдущей жизнью и поэтому сейчас, откровенничая с Крепсом в ночной курилке, он лишь укреплялся в своем решении:

— Понимаешь,— Вадима неожиданно для самого себя прорвало,— не мое это дело. Все не то, не так. Чего-то во мне главного не хватает. Не хуже, конечно, чем у других, но и не лучше. Так себе, расхожая серединка. Хочу все заново, с чистого, как говорится, листа попробовать. Обратно мне теперь дороги нет. Сам свою суть отыскать хочу. В чем она, не знаю, но отыщу, или нету мне жизни...

На последнем слове Вадим испуганно осекся. В проеме двери внезапно, будто в кино следом за резким монтажным стыком, оказалась фигура заведующего отделением.

— Ты мне нужен, Марк.— Близко сдвинутые к переносице веки его тревожно вспорхнули в сторону Вадима.— Дело касается лично тебя.

Странное появление Петра Петровича ночью, да еще и в курилке, и это его приятельское «ты» по отношению к Марку несколько обескуражили Вадима, хотя, уже догадываясь о многом, он уступчиво повернул к выходу, но Крепс резко остановил его:

— Не уходи, Вадя.— У него даже щеки ввалились от волнения.— При нем можно. Говори.

— Есть предписание,— не отводя взгляда от Крепса, доктор складывал слова с видимым усилием,— отправить тебя в Казань.

— Меня одного?

— И попа тоже.

— Не попа, Петя, а священника.

— А,— устало махнул рукой тот.— Какая разница!

— Большая, Петр Петрович,— бешено взвился Крепс,— очень большая, Петя! Неужели ты до сих пор так ничего и не понял? Мне казалось, что после того... после тех венгерских мальчишек, которых мы с тобою расстреливали, в тебе что-то проснулось... Или тебе мало всего, что творится вокруг тебя? Разуй же наконец глаза, Петя! Ни я, ни тем более Егор Николаевич не писали подпольных протестов, не демонстрировали на Красной площади, не пытались решить больных вопросов в легальных журнальчиках на потребу интеллигентному нашему обывателю, а в Казань все-таки гонят нас. Нас, а не титулован-

ных либеральных борцов, состоящих на жалованье у государства! А ведь мы лишь несем Свет и Слово Божье. Мы для них страшнее. Во много раз страшнее фрондирующих физиков и полуподпольных лириков. Потому что человека, воспринявшего этот Свет и Слово, уже невозможно купить или сломать. Только зря стараются! Мы ведь и в Казани останемся теми же. С нашим миром нас уже не разъять. И в Казани люди, а значит, и благодать Создателя.

О Казанской тюремного типа больнице Вадиму уже приходилось слышать немало. Туда отправляли неизлечимых убийц и всех тех, о ком в высоких сферах считалось полезным забыть. Обратной дороги оттуда не было. Менялись вожди и правительства, гремели войны и совершались тихие переговоры, и только законы Казанского специзолятора оставались неизменными: человек, раз перешагнувший его порог, исчезал, стирался в людской памяти. Поэтому, едва услышав о Казани, Вадим понял, что Крепсу уже нечего терять.

— Ты успокойся, Марк.— Острые скулы доктора напряглись до предела,— если хочешь, ты можешь уйти.

— Каким образом?

— В чем есть. Остальное меня не интересует.

— Но это интересует меня.

— Я поплачусь дипломом. И только. Больше ничего, честное слово.

— Значит, побег. Без паспорта и средств к существованию. То есть рано или поздно опять-таки Казань, но уже без твоего участия? Нет, Петя, не посодействую я твоему душевному комфорту. Будь добр, за свое плати сам. Может быть, когда-нибудь тебе это надоест и ты очнешься. К тому же ни за какие коврижки я не оставлю старика. Так что считай, что ты мне ничего не предлагал, а я ничем не жертвовал. И мы ничего друг другу не должны. Спи спокойно, дорогой товарищ.

— И это все, что ты мне можешь сказать?

— Все. И ни копейки больше.

— Дело твое.

Он еще постоял, этот доктор, покачался с носков на пятки в своих тупоносых лодочках, будто в беспамятстве закрыв глаза и судорожно двигая скулами. Потом бесшумно развернулся и пропал, словно его и не было здесь вовсе.

— Ну что же, Вадя,— после недолгого молчания с веселым отчаянием оборотился к нему Крепс,— вот и пришла моя очередь.

— Я бы ушел.

— Куда, Вадя?

— Все равно куда, я ушел бы.

— Это не по мне, дорогой,— Крепс пристроился сбоку и положил ему руку на плечо.— Я долго не выдержу такой жизни. Да, кстати, я и не умею ничего делать, кроме той бессмысленной ерунды, которой меня обучили в институте... Запомни, Вадя, если это вздумаешь предпринять ты, они будут тебя старательно, очень старательно искать. И найдут. Обязательно найдут. Причем уже совсем не потому, что ты опасен сам по себе. Нет!

Просто ты теперь узнал немножко больше, чем полагается простому смертному. Так что прежде хорошенько подумай.— И, помогая Вадиму уяснить себе смысл только что происшедшего тут, он насмешливо покосился в сторону двери.— Мы с ним суворовское вместе кончали, а потом служили вместе... Себе на уме... Из нынешних.

В эту ночь они не сказали друг другу больше ни слова. Слова были бессильны сейчас вобрать в себя всю обнаженность мысли и чувства, какая объединяла друзей в их красноречивом молчании. Сквозь подернутое стужей стекло фрамуги в сумрак курилки заглядывала одинокая звезда, окрашивая это молчаливое бдение своим вещим мерцанием.

IX

Уж кого Вадим не ожидал теперь увидеть, так это деда. После той последней узловской встречи он и предположить не мог, что они когда-нибудь еще увидятся. Слушая старика, Вадим не в состоянии был отделаться от чувства вины перед ним и поэтому всякое его слово воспринимал как упрек и напоминание.

— Опеки мне над тобой не дают. Стар, считают, уже очень. Но я еще постучусь, Вадя, похожу. Ты только потерпи, не бесись.

Дед говорил, не глядя на Вадима, куда-то в пространство перед собой, и пергаментные, в старческих веснушках кулаки его на столе по привычке были выдвинуты далеко вперед. Таким дед и помнился Вадиму все годы его скитаний с того самого дня, когда известное в Узловске своей монолитностью лашковское семейство дало первую, но уже непоправимую трещину. А ведь казалось, им — Лашковым — век сносу не будет.

Не забыть Вадиму того, почти неправдоподобно прозрачного утра в Узловске, когда в распахнутый настежь пятистенник деда Петра съехались все его сыновья и дочери вместе со своими благоприобретенными половинами и первой порослью.

Сам дед Петр, в новой сатиновой косоворотке с щегольски отстегнутым воротом, сидел во главе стола и с горделивым довольством оглядывал свой клан, среди которого особо выделялся осанкой и статью первенец его, Виктор.

А тот — и это у Вадима четко запечатлелось — явно чувствовал всеобщее к себе внимание и, чтобы скрыть смущение, все посмеивался, все посмеивался, оглаживая одной рукой стриженую голову сына, а ребром другой рубил воздух, как бы подсекал каждую произнесенную фразу:

— Ну, рабочий уже наелся, даже, как видите,— тыльной стороной ладони он поддел и небрежно вскинул вверх конец своего галстука,— бантик прицепил к шелковой рубашке. А дальше что? Согнали лучшую часть крестьянства с земли, отправили за Урал, а сами в частушки ударились, чтобы уши от мирового шума законопатить: «Вдоль деревни, от избы и до избы...» А что в колхозах творится, до того нам вроде и дела нет? Что, папаня, посмурнел? Неувязка выходит с вашей генеральной линией?

И не успел враз потемневший дед рта открыть, как из-за стола встал муж Варвары Анатолий Тихонович — сухощавый интендант со шпалой в петлице, и, едва разжимая и без того тонкие губы, тихо выцедил в сторону отца:

— Рано пташечка запела...

— Уж не ты ли кошечка? — насмешливо перебил его тот.— Не коротки ли коготки?

— Мы с такими на Хасане,— острые скулы капитана пошли пятнами,— много не разговаривали.

— А что ты там делал, на Хасане? — уже открыто издевался над ним отец.— Сухари в обозе пересчитывал?

Растерянность, наступившая было вначале, сменилась всеобщим, особенно среди женской половины, криком:

— В кои-то веки собрались.

— Нашли время!

— Хлебом их — мужиков — не корми: как соберутся, так все про политику.

— Нет посидеть по-людски.

Все говорили разом, каждый старался оставить последнее слово за собой, отчего накал разговора постепенно возрастал, грозовые нотки нет-нет да и прорывались уже то в одном, то в другом конце застолья, и неизвестно, чем бы все это кончилось, а кончилось бы все это скорее всего дракой, если бы дед Петр не встал и не стукнул кулаком по столу:

— Что ж, спасибо и на этом, Витек. Откровенность твою ценю и уважаю. Тем же рублем и ты получай. Хоть и сын ты мне единокровный, но помни: не дрогнет у меня рука, коли надобность для партии в том будет. А теперь собирай-ка ты свои манатки и вот тебе порог...

Внезапно возникшую тишину мерно отсчитывали ходики над комодом. Младший из братьев, хрупкий и застенчивый, словно девушка, Митек, жалобно пошарив по лицам близорукими глазами, умоляюще воззвал было:

— Ну что вы, мужики, ей-богу... Так все было по-хорошему...

Но мать Вадима, непримиримая ко всяким поползновениям на авторитет своего законного мужа, тем более со стороны такого прямого противника их супружества, как ее свекор, подсекла деверевы излияния в самом истоке:

— Вот что, папанечка,— серые, калмыцкого сечения глаза ее светились нескрываемой яростью,— спасибочки тебе за хлеб, за соль, только хвост тебе поднимать против моего Витьки кишка тонка. Кто ты есть такой, Лашков? Полжизни наганом промахал, а теперь: «Ваши билетики, граждане!» А Витька мой мастер-лекальщик первой руки, не тебе, папаня, чета. Языком вы много понапороли, только сами-то ничего делать не умеете. Все за народ орете, а вы бы лучше специальность какую путевую заимели бы да и работали. Вот тогда и было бы «за народ». Много вас нынче командиров развелось, работать только некому... А вас,— она обернулась к свояку, и скуластое лицо ее презрительно отвердело и вытянулось,— Полыниных, я вот с этих годков знаю. Брательник твой раскулачивал нас. После нашего же хлеба раскулачивал. Где он теперь, брательник-то

твой? Думал на чужом горбу в рай въехать. От своих же и награду получил — десять лет. А я с двенадцати годков с зарей вставала, со звездой ложилась, и все семейство наше так. А вы — Полынины — из кабака от Мокеича не вылезали, а теперь нас — в грязь, а сами — в князь. Так вот я вам что скажу напоследок: нас переведете, дети останутся. Детей изничтожите, внуки вырастут. Но переживем мы вас, хлебоедов, переживем. Не такое терпели, перетерпим и вас. Только так думаю, что вы раньше сами друг дружку перегрызете... Поехали, Виктор... Собирай парня...

— Вот она, сущность кулацкая, себя и показывает! — кричал Полынин, отрывая от себя молча виснувшую на нем Варвару.— Говорил я вам, Петр Васильевич, предупреждал... Где же чутье ваше классовое, партийная зоркость, наконец, где? Спасли змею от выселения, пригрели, а она жалит нас, где только возможно.

— Это у тебя-то, интендант, классовое чутье! Бога побойся. Ты хоть одну мозоль за жизнь свою сволочную нажил? Женька,— отнесся отец к брату,— ты не молчи, не отворачивайся, ты же мастеровой, скажи свое слово!

Но тот, уткнув голову в локоть сестре Федосье, тихо плакал и лишь бормотал в горячечном беспамятстве:

— И за что только нас... И за что только нас обидели так... В родне же и то не сойдемся...

Федосья легонько оглаживала его голову и смотрела на всех недоумевающими, полными слез глазами.

Никто бы так и не заметил в общей суматохе бессловесно жавшуюся к печи бабку Марию, если бы она как раз в тот момент, когда отец подхватил Вадима на руки и, сопровождаемый женой, двинулся к выходу, не выступила вперед и не опустилась перед ним на колени:

— Витенька... Прости ты их всех ради Господа нашего Спасителя.— Голос бабки звучал тихо и ясно, и худое, уже отмеченное гибелью лицо ее было высвечено каким-то заветным знанием, что доступно лишь новорожденным и почившим.— Не видать ведь мне тебя больше, отжила я. Не держи сердца, останься. Тебе это зачтется, сынок...

И впервые увидел тогда Вадим, как в полурыдании задрожали отцовские губы:

— Что вы, маманя, что вы... Так это мы... по-братски... Поцапались малость... Сошло уже...

Жиденькое бабкино тело утонуло в его руках, и он понес ее через расступившуюся по обе стороны родню в смежную половину, и сложил ее там на прадедовском еще сундуке, и бережно укрыл старую праздничным своим пиджаком, и остался сидеть с ней, и они о чем-то долго и доверительно там перешептывались.

Но если временное облегчение и коснулось кого, то лишь не деда Петра. Выдвинув вперед себя кулаки на столе и откинувшись на высокую спинку плетеного стула, дед сидел прямой и безучастный ко всему, без кровинки в лице, и по одному его виду явствовало, что все, кроме того, что было сказано им самим, он не считал сейчас хоть сколько-нибудь заслуживающим внимания, а потому и существенным. Таким он и остался

в памяти у Вадима вплоть до недавней и болезненно памятной встречи.

Внешне дед оставался тем же властным, жестким, уверенным в своей правоте стариком. Но от глаз Вадима не могло укрыться и то, как подрагивают его ослабевшие кулаки, и то, как временами срывается, словно на выбоинах, когда-то чистого металла басок, и то, наконец, как несвойственная ему раньше усталость сквозит во всяком движении и слове старика. И сердце Вадима переполнялось любовью и жалостью к этому самому близкому для него на земле человеку.

— Да ты не беспокой себя понапрасну,— у него сорвалось дыхание,— не век же меня здесь держать будут.

— Век не век,— тот впервые взглянул на него прямо и настороженно,— а скоро не отпустят.

— Думаешь?

— Знаю.

Дед не умел говорить лишнего. И Вадим понял, что дела его обстоят хуже, чем он предполагал. Сглатывая удушливый комок в горле, он невольно скосил взгляд в тот угол, где особняком от других устроился отец Георгий, о чем-то тихо и ласково перешептываясь с дочерью. Та бережно оглаживала ему запястье, глядя на него преданно и самозабвенно. Нетрудно было догадаться, о чем они говорили. Она уже обо всем знала. Именно поэтому, слушая отца, девушка вся как бы заострялась изнутри, словно каждым своим словом и жестом он вбирал ее в себя, чтобы уже никому и никогда не вернуть. Исподтишка наблюдая за ними, Вадим привлек к ним и внимание деда:

— Кто такие?

— Священник один... С дочерью,— и добавил неожиданно для себя самого: — Наташей зовут...

— Наталья? — Дед не отличался деликатностью.— Хорошее имя. И лицо хорошее. Без вранья! Не твоей кукле чета.

— Хоть бы не напоминал!

Из угла их внимание было замечено: девушка густо покраснела, а старик, приподнявшись с места, улыбчиво поклонился. Дед так же церемонно ответил: знакомство состоялось. Поэтому, когда все подались к выходу, старики нашли, о чем перекинуться друг с другом, оставив молодых лицом к лицу.

— Меня Вадимом зовут.— Слабея дыханием, он еле выговаривал слова.— Здравствуйте.

— Здравствуйте.— В ее смущении было что-то беззащитное.— А меня — Наташа.

— Я знаю.

— Вы с папой дружите?

— Почти.

— Что так?

— Я здесь недавно. Не привык еще.

— И не надо.

— Что не надо?

— Привыкать.

— Не буду...

Возникшее между ними сразу вслед за этим трепетное молча-

ние прерывалось только неспешным разговором стариков у них за спиной.

— Да, да, это так.— Голос отца Георгия звучал почти страдальчески.— И все-таки с такими решениями не следует спешить... Впрочем, во всем Промысел Божий... Я сам на старости отрекся от всего, чему поклонялся... Но вам труднее, вы атеист. У вас нет духовного убежища. Вы идете против своей природы. Мне много легче, у меня нельзя отнять того, что есть во мне и со мной... Самое прискорбное для меня — это то, что я не сумел их убедить...

— В чем?

— Я пытался доказать им, что мистика Церкви, имеющая сама по себе огромное для верующего значение, пуста и бессмысленна, если она не подкрепляется активным деянием пастыря в обыденной жизни. Люди устали от слов, они жаждут примера. Русскую Церковь подорвала не власть, а собственная опустошенность, засилье мирской праздности и суесловия. Меня обвинили в гордыне... И вот я здесь...

— Попугать хотят?

— Едва ли.

— Чего же еще?

— Избыть.

— Как это?

— Насовсем избыть. Из мира.

— А права какие? — Дед явно начинал кипятиться, его болезненное чувство к несправедливости, как всегда, искало выхода в гневе.— Какие такие права есть?

— Понятие классового правосознания должно быть близко вашему сердцу.— Сказано это было безо всякой язвительности, скорее даже с сочувствием к собеседнику.— Перед вами наглядный его объект. Так что уж какие там у меня могут быть возражения!

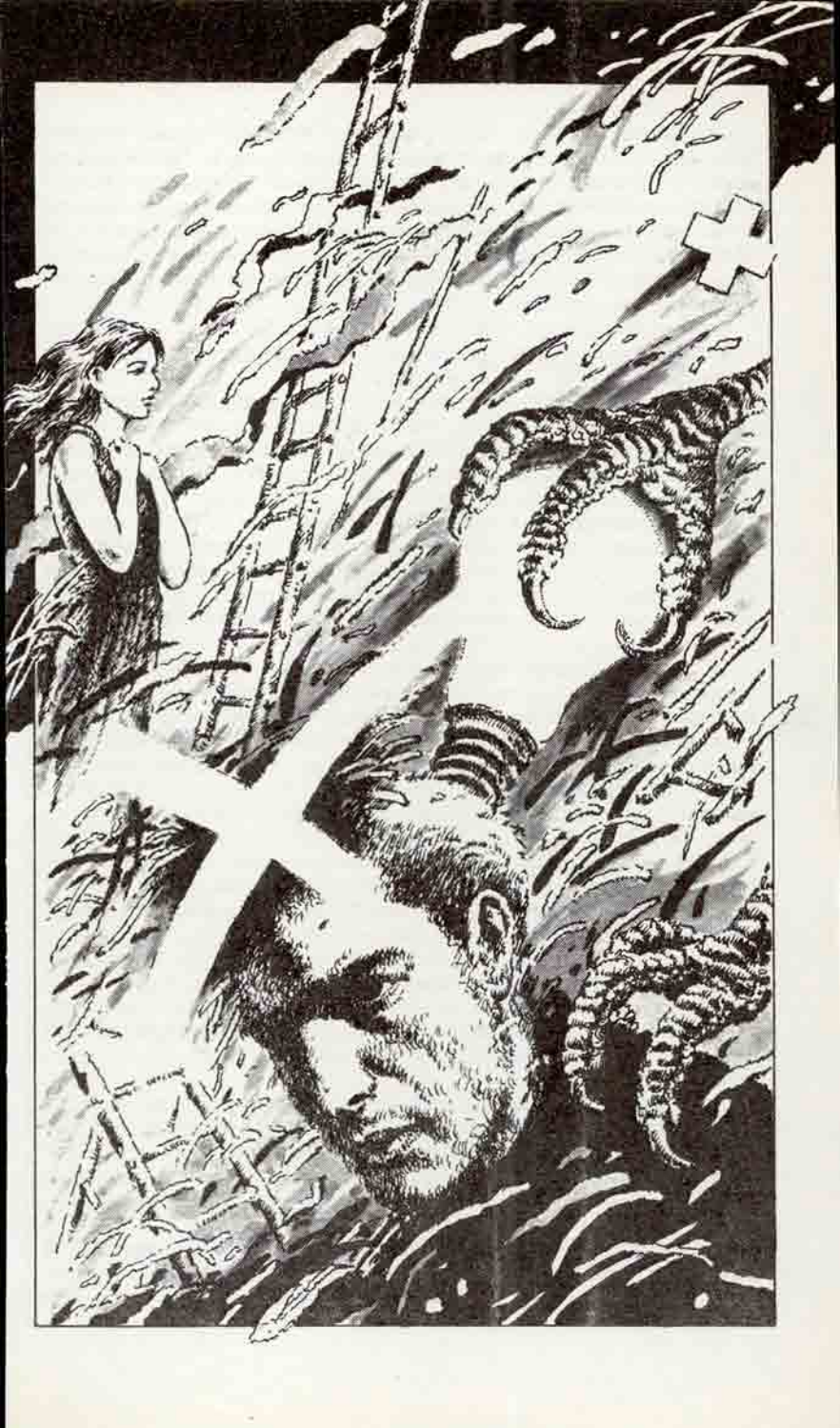
В коридоре людской поток растекался надвое: одни — к выходу, другие, в сопровождении санитаров, в сторону внутренних помещений. Прежде чем разойтись с девушкой, Вадим бережно коснулся ее пальцев, и она не отстранилась, только коротко и вопросительно взглянула на него и быстро-быстро, не оглядываясь, пошла вперед. И тут же грузная фигура деда окончательно заслонила ее от него.

— Ты тут не раскисай.— Он складывал слова, явно думая о чем-то совсем другом, какая-то новая тревога вошла ему в душу, и он уже весь источался в ней, в этой тревоге.— Не так уж я стар, чтобы с первого раза отступиться. Достучусь.

Дед легонько помял Вадима за плечи, затем не столько оттолкнул, сколько сам от него оттолкнулся, и, круто развернувшись, двинулся к выходу. Его большая сутулая фигура долго еще маячила в глубине коридора, и, если бы Вадим не знал своего деда, он мог бы подумать, что тот пьян.

Пристраиваясь к Вадиму, отец Георгий как бы невзначай обронил в сторону удаляющегося Лашкова-старшего:

— Не снесет себя этот человек, коли не поверует. Только вера его и спасет.



X

Это было первое за зиму солнечное утро. Осиянные пронзительным светом палаты ожили и заволновались. Кружение по коридору стало многолюднее и бойче. Что-то стронулось в отделении, сошло с места. В самых темных его углах вдруг возникли новые лица, о существовании которых раньше как-то даже и не подозревалось. В палату к Вадиму заглянул бывший учитель Горемыкин и, мигая подслеповатыми глазами в окно, удовлетворенно потер ладони:

— Представляете, Вадим Викторович, что сейчас в Англии-то, а? В графстве Кент, к примеру! Сплошная весна и цветение вереска.

Он даже засмеялся от радости за графство Кент. Когда-то, года три еще тому, Горемыкин преподавал английский в одной из подмосковных школ. Влюбленный в предмет педагог так досконально изучил все, что касалось Англии, что мог, наверное, с закрытыми глазами вывести любого англичанина кратчайшим путем от порта до Британского музея. Но в конце концов, подавая заявление о выезде к дорогим его сердцу берегам, он не учел небольшой разницы в законодательствах двух знакомых ему государств и прямо из приемной союзного МИДа угодил в Троицкую безо всякой уже надежды когда-нибудь отсюда выбраться.

— Знаете, Вадим Викторович,— продолжал он улыбаться и потирать руки,— весна в большой степени очищает воздух над Лондоном. А то, знаете ли, этот смог прямо-таки бич...

Молча лежавший до сих пор с натянутым до самого подбородка одеялом Крепс неожиданно напрягся, и влажные глаза его затравленно скользнули куда-то за спину Горемыкина. Мгновенно проследив его взгляд, Вадим увидел заворачивающего в палату из коридора Петра Петровича. Тот легонько, кончиками пальцев отстранил со своего пути бывшего учителя и, вплотную приблизившись к койке Марка, почти шепотом уронил:

— Сегодня, Марк.— И, уходя от искательной муки того, перешел и совсем уже на шепот: — Сейчас.

Дорого бы дал Вадим, чтобы не видеть в это мгновение истлевающих ужасом глаз Крепса. Но это длилось только мгновение. Сразу же вслед за этим губы Марка упрямо отвердели, подбородок еще резче выдвинулся вперед, он пружинисто вскинул свое крепкое тело, сел, опустил ноги на пол:

— Пошли.

Уже отходя, он глазами позвал Вадима за собою и, более не оглядываясь, шагнул в коридор. Петр Петрович последовал за ним, птичьим оком своим упреждающе покосившись в сторону Лашкова. Но того уже не могла удержать никакая сила: он пойдет за Крепсом до последнего, до той самой дверной черты, которая навсегда разделит их.

Отец Георгий уже сидел в предбаннике уборной около двух узлов с вещами под присмотром мокрогубого санитара из приемного покоя. Марк вошел, старик поднялся ему навстречу, они молча обнялись и некоторое время стояли так, молча обняв-

шись. Потом, все так же не говоря ни слова, перекрестили друг друга и принялись за узлы.

Каждый из них одевался согласно своему характеру. Отец Георгий, уже отбывавший до того срок где-то в районе Потьмы, оборудовал себя со вдумчивой тщательностью, всякую вещь устраивал на себе долго и внушительно, валенок и тот натягивал, будто действо творил. Оттого, когда он наконец собрался, любой бы мог не раздумывая сказать, что человеку этому предстоит дальняя и многотрудная дорога. Крепс же — в случайной одежонке: цветастая рубашонка, поверх курточка фланелевая, брюки в обтяжку да импортный плащичок до колен,— выглядел рядом со стариком, будто залетная пичужка рядом с матерой и основательной птицей. Шапки у него тоже не оказалось, и тетя Падла выдала ему на свой страх и риск больничную. Надо очень не любить людей, для которых шьешь шапки, чтобы шить именно такие: вислоухие, неопределенного цвета, с болтающимся, как собачий язык, козырьком. В них человека можно было принять и за пилигрима, и за беглого одновременно.

Когда со сборами было покончено, Крепс обвел кольцо любопытных вокруг себя нездешним взглядом и, дойдя до Вадима, чуть помедлил, потом сказал тихо, но внятно:

— Жить будем, Вадя.— Руки он не подал. Ему, видно, хотелось остаться в друге не движением — словом.— Везде жить будем. Надо жить.

Отец же Георгий потянулся к нему, поцеловал трижды, перекрестил:

— Храни вас Бог!.. К вам от меня придут, не удивляйтесь...

Их никто не торопил. Даже санитар из приемного покоя. Видно, все если и не понимали, то чувствовали, что сейчас здесь происходит что-то такое, чему нельзя, да и невозможно, помешать. Они двинулись к выходу сами и, как-то не сговариваясь, разом. И в этом опять-таки проявилась их пусть мимолетная, но власть над окружающим.

Дежурный санитар дядя Вася — мосластый, бритый наголо мужик из местных,— пряча глаза, прямо-таки с почтением распахнул перед ними дверь. И они вышли, и людской полукруг медленно сомкнулся около выхода.

Но едва дядя Вася потянул дверь на себя, чтобы захлопнуть ее, как снаружи в отделение, сияя улыбкой, которой только уши мешали раздвинуться шире, рыжим бесом скользнул Бочкарев. Размахивая над головой пачкой свежих газет, злополучный богоборец упоенно возопил:

— Потрясающая новость, товарищи! Труженики Кореновского района Кубани на три дня раньше срока завершили весенний сев зерновых!..

Полукруг молчаливо обтек его со всех сторон, и он, постигая непоправимое, осекся и затравленным глазом повел в сторону дяди Васи. Тот, побагровев, отвернулся, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из круга не выступил старожил отделения, хронический алкоголик Пал Палыч Шутов и не разрядил в слове готовую взорваться злобу:

— Сука ты сука, Бочкарев, и другого названия тебе нету. И как только земля тебя по себе носит, Бочкарев? Каких людей на золу переводят, а ты коптишь, другим свет застишь. Поимей совесть, сойди сам с земли, хоть одно дело людское сделаешь... Тьфу!..

Плевок у Пал Палыча получился смачный, мастерский. Сразу было видно, что человек всю свою жизнь закуску считал баловством. Затем он в сердцах махнул рукой и двинулся к себе, в дальний угол четвертой палаты. Остальные тоже стронулись с места, и каждый пошел в свою сторону. И в этот день уже никакое солнце не могло вытянуть людей из-под их одеял.

XI

В тот же день к вечеру тетя Падла привела в палату нового для Вадима соседа.

— Вот,— хмуро подтолкнула она того вперед себя,— лучше не нашла. Ума невеликого, зато тихий. И работящий опять же. Принимай. Горшков — фамилия. Остальное сам обскажет.

Мужик был худ, сед, встрепан, но все в нем — выпуклые глаза, расплывчатые морщины на лице, кое-как высеянная по лицу мягонькая растительность — было отмечено располагающим к нему дружелюбием. Застилая койку, он певуче гудел себе под нос:

— Ново место, как невеста: не уластишь, не согреет. По суседству со мной муха и та зимы не знает. Закон моря: твое — мое и мое — мое, заживем, лучше некуда. А уж мастер я — на все остер. Из ветоши сапоги валяю, в баранках дырки гвоздем долблю. Только держись.

Действовал Горшков с деловитой твердостью человека, привыкшего в любой работе находить особое, одному ему понятное удовольствие. Приятно было смотреть, как упруго, без единой морщинки, вытягивается под его рукой простыня, облегает вдоль матраца, по всем правилам казарменной выучки, одеяло, взбухает белым лебедем жесткая больничная подушка. Вадим не утерпел в конце концов, съязвил добродушно:

— Подумать можно, ты всю жизнь этим и занимался.

— Оно так и есть, браток,— словоохотливо оборотился к нему тот.— С тридцатого года, почитай, как с земли согнали, по вербовкам пошел. Опосля война — опять на нарах. А в пленту,— он так и произносил: «пленту»,— само собой, в бараке. В свой лагерь попал, сам знаешь, там во всем порядок начальство требоват. Теперечи вот, по больницам восьмой годок. Коечка — мать родная, ты только оборудуй ее соответственно.

Затем он стремительно исчез и снова появился вскоре, но уже со шваброй в руках, так что через несколько минут линолеумовый пол палаты солнечно дымился, высыхая в сквозняке полуоткрытых фрамуг. Стоило ему взяться за колченогую тумбочку между кроватями, которую только и оставалось, что выбросить, как она вскоре приобрела устойчивость и вполне сносную оснастку, и все это с байкой, с прибауткой, будто бы каждое движе-

ние его требовало выхода в звуке, в слове, иначе оно — это движение — теряло для Горшкова свой смысл и законченность:

— Эх, мать моя, мамочка, бросила бы ты меня камушком во чисто полюшко, не было бы горюшка... Как у нас на фронту старшой говаривал: «Магазин не чищен, в канале ствола копоть, отсюда и вша...» Чистота — залог здоровья... Эх, ручки мерзнуть, ножки зябнуть!..

«Что держит таких людей? — следя за деятельным мельтешением Горшкова, думал Вадим.— Как они ухитряются не сломаться после всего пережитого? Ведь это трехжильным надо быть, чтобы такое выдержать!»

В этом таился какой-то непостижимый еще для него секрет, какая-то за семью печатями загадка, постичь которые ему только предстояло. Но об одном он мог уже и сейчас судить определенно: пройди Горшков еще три раза по стольку, все его останется при нем, и никакая сила в мире не способна сломать его человеческой сути.

В палату снова заглянула тетя Падла, удовлетворенно хмыкнула:

— Говорила, довольны будете. Он у вас здесь за трех санитаров работает. К его бы рукам да еще и голову!

— Не скажи, кума,— весело огрызнулся тот,— голова голове — рознь. Одна голова для умственного соображения, а другая для дела. Вот и прикидывай, что — к чему.

— Мели, Емеля! — Она лишь беззлобно рукой махнула в его сторону и оборотилась к Вадиму: — К Петру Петровичу вас. Зовет.— И уже строже: — Со мной и пойдемте.

Вызовы такого рода случались здесь редко, чаще всего по делам, отлагательства не терпящим, а потому Вадима дважды уговаривать не пришлось. В следующую минуту он уже чуть не бегом несся по коридору к двери с заветной табличкой. Предположения, причем самые фантастические, одно за другим сменялись в его голове: «Деду разрешили опеку? Или, может, жена смилостивилась? А вдруг...» Об этом «вдруг» даже думать не хотелось, до того жутким и невероятным оно ему показалось.

Тетя Падла нагнала его по дороге, тяжело задышала у плеча:

— Вы с ним поосторожнее нынче... Не в себе он малость... Он у нас всякий бывает... Попадет вожжа под хвост, не удержишь... Ну,— она отперла дверь, впустив его,— с Богом!

Доктор даже головы не повернул к нему навстречу, а лишь неопределенно махнул рукой, что, наверное, должно было означать нечто вроде приглашения садиться. Известный всему отделению блокнотик лежал сбоку от него нераскрытым. Наглухо завинченная щегольская авторучка сиротливо красовалась в карандашном стакане. Признаки это все были недобрые, и, опускаясь на стул около двери, Вадим приготовился к худшему.

— Послушайте,— все так же не поворачивая к нему лица, заговорил заведующий,— вы, как видно, тоже считаете меня мерзавцем?.. Вполне возможно... Но, может быть,— он резко, всем корпусом вывернулся в сторону гостя, и лишь тут до Вадима дошло, что доктор глухо и матеро пьян,— вы мне скажете, уважаемый Вадим Викторович, что я мог сделать для

него?.. Я не баррикадный боец, увольте! В Пеште, кстати сказать, мы вместе с ним сметали эти самые баррикады с лица земли... Тогда его не мучила совесть и он не вспоминал о Спасителе... Раненых добивали на месте... Мальчишек добивали... Им по пятнадцати-то едва ли было... А теперь один я кругом сволочь... А он — агнец с терновым венцом вокруг макушки... Аскезу принял, а мирского суда боится... Хочет на казенных харчах крест нести, да еще и не в одиночку, а скопом, со всеми вместе... Комфортабельного мученичества жаждет! Ладно.— Он рывком взял на себя ящик стола, достал оттуда папку и, беспорядочно перелистав ее, высвободил из нее пачку документов.— Вот здесь все ваше: паспорт, военный билет, трудовая книжка, удостоверение личности... С завтрашнего дня я записываю вам в журнал свободный выход для свиданий... Куда и когда вы уйдете, меня не интересует... Хочу только предупредить: искать вас будут. И основательно искать...

— А вы как?

— А это не ваша забота, Вадим Викторович.— В совиных глазах его на мгновение засквозила колючая трезвость.— О себе я позабочусь сам.— Он ладонью придвинул документы на самый край стола.— Берите свои цацки... Или, может быть, вы тоже по святости стосковались?

— Дело не в этом, но, согласитесь, покупать свободу за чужой счет...

— Ох уж эти мне творческие особы! Слова в простоте не скажут... Пусть вас не мучит совесть. Или, как выражается Марк Францевич, спите спокойно, дорогой товарищ... Берите...

Угрюмая усмешка на узком лице доктора становилась все более вызывающей. И если еще минуту назад Вадим готов был отказаться, избежать соблазна, то усмешка эта мгновенно изменила его намерения. Будь что будет! Рано сдаваться на милость неизвестного дяди. Он еще побарахтается, прежде чем ему — Вадиму Лашкову — устроят узаконенное заклание.

Бешеная сила протеста подняла его с места и бросила к столу. И в тот момент, когда документы оказались у него в кармане, он сразу же осознал, что уже решился, что назад ему пути нет и что это его единственный шанс выбраться отсюда.

Провожая его до двери, Петр Петрович пьяно хохотнул у него над ухом:

— Я, может, тоже скоро сбегу... В пространство...

Вадиму не пришлось ответить, дверь захлопнулась за ним, и он оказался лицом к лицу с тетей Падлой, которая, вопросительно вскинув на него отечные глаза, чуть слышно помолила:

— Ты уж не звони слишком... С кем не бывает...

— Не маленький...

Потянуло курить, и он подался в уборную, где уже орудовал Горшков, старательно выскребая замызганные унитазы. Появление Вадима лишь прибавило ему рвения и словоохотливости:

— На хрусталь блеск наводим, чтобы опорожнялся — сердце радовалось... Из отхожего места кибинет оборудуем. Сиди — не хочу!

— Не надоело?

— От безделья думы разные, а от думы человека вошь ест. А в деле, как в запое, самые паршивые тебе роднее матери.

— На таких, как ты, воду возят.

— Так-то оно, может, и так. Да ведь и сам напьешься...

Вадим глубоко затянулся и, с наслаждением выпуская дым, подумал обескураженно: «И сколько их еще в России, чудаков этих, тьма!»

XII

Галки над прогулочным двором горланили весну. Конец апреля выдался на редкость безоблачным и теплым. Почки корявых тополей вдоль заборов бесшумно взрывались крохотными язычками зеленого пламени. Из-под седых островков ноздреватого снега во все стороны расплывались влажные подтеки.

Петр Петрович исполнил-таки обещанное: в день приезда Татьяны Вадима впервые выпустили из отделения без присмотра. Выйдя в прогулочный двор, они долго молчали, не зная, с чего начать. Слишком уж многое вставало теперь между ними.

И хотя Вадим заранее предвидел весь ход своего последнего объяснения с женой, разговор начался куда неприятнее, чем он предполагал. Для Татьяны смысл его объяснений свелся к разводу. Соответственно с этим та себя и повела.

— Что ж,— оскорбленно подобралась она, предпочитая нападение защите,— этого мне надо было ожидать. При твоем образе существования... Попойки, случайные связи... Исковеркать жизнь человеку, это в твоем стиле. А я-то жду! — У нее была удивительная особенность верить тому, что она говорила.— Лучшие годы, молодость отдала... Жила, словно монахиня... Но и я так просто не отступлюсь. Квартиры ты не получишь... Ты ни на что не имеешь права... Ты недееспособен, милый. Ни один суд не станет на твою сторону.

— Ты можешь слушать?

— Тебя — нет.

— И все-таки я прошу.

— Ты снова хочешь, чтобы я терпела твое пьянство и твои сумасшедшие выходки в квартире,— я хочу хоть какое-то подобие порядка.

— Успокойся.— Вадим поспешил предупредить ее, уже готовую разразиться слезной истерикой.— Тебя никто не гонит. Если ты поможешь мне уйти отсюда, я возьму только пару белья и рубашку.

— Значит, рай в шалаше? — Жалкой усмешкой она тщетно пыталась скрыть свою обескураженность.— Не поздно ли, Вадим Викторович?.. И что же, молода, красива? — Влажные губы ее мстительно вытянулись в тонкую ниточку: предпочтение, оказанное другой, было выше ее понимания.— Видно, с приданым? — Манера разговаривать вопросами выражала в ней высокую степень раздражения.— Дача? Машина?

Но если раньше все ее подобного рода речи доводили Вадима до дикого бешенства, то теперь, слушая жену, он оставался устало равнодушным и лишь никак не мог взять в толк, как ему

удавалось чуть не десять лет терпеть эту женщину рядом с собой, мирясь с въевшейся в нее чуть ли не со дня рождения мелочностью и фальшью. Фальшиво в ней было все: голос, походка, речь; казалось, стоит ей сделать хоть одно естественное движение, как она исчезнет, растворится, изойдет в этом движении полностью, без остатка,— до того предельно немыслимым выглядело для нее всякое человеческое проявление.

— Оставь эту самодеятельность хотя бы на сегодня.

— Ну, конечно, где мне, ты же профессионал.

— Ты неисправима.

— Влияние близких?

— Я отдал тебе не худшую свою часть.

— На тебе, Боже...

— Мы прожили с тобой несколько лет.— Со спокойной целеустремленностью он старался пробиться к ее сознанию.— Прямо скажем,— лишних лет. Но вот сейчас, когда все кончается, можем вести себя друг с другом по-людски.

— Вот и объясни мне по-людски, без фантазий, свои фокусы.

— Я вовсе не шучу. Мне хочется начать другую жизнь... Попробую еще раз...

— С другой бабой?

— Таня! — Он уже потерял надежду разбудить в ней хоть проблеск взаимопонимания, но решимость не оставлять здесь после себя ничего не договоренного взяла верх.— Будь хоть раз в жизни человеком. Наверное, я был во многом не прав, но ведь и ты не всегда поступала правильно. Поэтому не будем сводить счеты, а расстанемся людьми... Я клянусь тебе, что это не блажь... Неужели меня так трудно понять?

Ожесточенная настороженность в ее темных, гремучей желтизны глазах оттаивала, уступая место растерянному недоумению.

— Ты сумасшедший.— Она медленно приближалась к нему, пристально, словно впервые узнавая, разглядывала его.— Да, да, видно, и вправду сумасшедший... И как я не замечала этого до сих пор! Куда тебя несет, Вадим? Что с тобой?

— По-моему, как говорится, я прекрасно болен. И, прошу тебя, помоги мне...

— Я никогда не могла понять тебя.

— Тебе было некогда.

— При твоем образе жизни...

— Эх, Таня, при любом образе жизни за десять лет можно успеть понять друг друга.

— Слова — твоя профессия.

— Не мои — чужие, Таня, чужие слова...

— Хорошо,— неуверенно пообещала она,— я посоветуюсь с мамой.

Охота разговаривать у Вадима сразу же отпала. Она так ничего и не поняла. Сейчас жена не вызывала у него даже раздражения. Он скорее жалел ее, как жалеют калек и убогих. Они жили в разных измерениях и поэтому не могли постичь один другого. Теща в два счета обуздает этот ее благой полупорыв. Так неужели у него нет выхода? Неужели и ему выпадет та

же участь, что и тем, которых он уже встречал однажды, там, на Байкале?

В ту осень судьба забросила его в глухое приозерное село с бригадой Иркутской филармонии. Приехали они в полдень, времени до концерта оставалось много, и председатель сельсовета повел заезжих артистов вдоль просторных, но не богатых своих владений. С Байкала тянуло зябким сквознячком, серое небо облегало деревню низко и плотно, и, видно, оттого дома и хозяйственные строения на безлесных улицах выглядели как бы приплюснутыми к самой земле. Наскоро обежав полупустой в это время года рыбозавод, они двинулись было к чайной, но здесь, в просвете между окраинными домами, перед ними по гребню берегового взгорья выявились источенные временем стены заброшенного монастыря. Председатель — вялый мужичок, с лицом, тронутым зеленью пороховой сыпи, перехватив не запланированное им внимание гостей, тревожно засуетился:

— Пустяк — дело! Психколония тут у нас с летошнего года. Никакого интересу, одни адиоты. Зато в чайной у нас,— без перехода заторопил он,— омуль прямо из сети. Закусь — первый сорт.

Актерская братия следом за председателем потянулась в сторону чайной. Что-то, Вадим еще не мог определить, что именно — предчувствие, зов ли,— остановило его, и он, отколовшись от остальных, решительно повернул к монастырю. Его пытались было окликнуть, но он только отмахнулся раздраженно и уже более на оклики не оборачивался.

Через пролом в стене, служивший одновременно и проходной, и парадным въездом, Вадим вошел в затянутый ржавой проволокой монастырский двор. Узенькие, едва протоптанные тропинки крест-накрест соединяли обрубленную по самые капители и крытую старым железом церковь с двумя угрюмого вида жилыми строениями и часовенкой около входа. Из часовенки навстречу ему вышел носатый и заметно хмельной бородач в старом кожаном реглане внакидку и вместо приветствия безапелляционно утвердил:

— Корреспондент! Завхоз Бабийчук. Пошли.

Бывшие кельи, в которых размещались по четыре койки, носили следы недавнего ремонта. Но из матерых щелей кое-как закрашенного пола сквозило ознобчивой сыростью подполья, а собранные на живую нитку оконные рамы издавали под ветром звучное дребезжание. Вадиму нетрудно было представить, каково придется здешним обитателям лютой прибайкальской зимой.

Бабийчук же, хмельно посапывая, развязно, словно бывалый экскурсовод в краеведческом музее, давал ему пространные пояснения:

— Заботу о людях проявляем повседневную. Ремонт произвели, завезли топлива. Калорийность питания по норме. К зимовке готовы целиком и полностью. Прошу обследовать пищеблок.

В церкви, приспособленной под столовую, обедало всего несколько человек.

— Ведем набор,— с готовностью удовлетворил его вопроси-

тельное недоумение завхоз,— ждем еще одну партию. К зиме полностью укомплектуем контингент.

Никто из обедавших, занятых едой, даже не повернул головы в их сторону. Еда поглощала все внимание невольных сотрапезников. Напрасно вглядывался Вадим в эти лица, ища хоть проблеска внимания или осмысленности. Лица проплывали у него перед глазами одно за другим — тупые, отрешенные и как бы полые изнутри: природа изваяла их, не вдохнув в них ничего, кроме инстинктов.

И лишь когда он повернул к выходу, в простенке между дверью и боковым окном, профилем к нему, неожиданно возник человек с обликом, отмеченным тихой и долгой печалью. Он смотрел в упор на Вадима, но явно не видел его. Человек как бы вглядывался в свою, обозримую для него одного даль внутри себя, и она — эта даль — виделась ему глубоко безрадостной и достойной сожаления.

— Здравствуйте.— Сразу же располагаясь к нему, остановился против него Вадим.— Давно вы здесь?

Тот лишь беспомощно посветил ему навстречу беззащитной улыбкой и не ответил. Подоспевший Бабийчук насмешливо хрюкнул:

— Без пользы. Молчун. По истории, пятый год молчит.

Во дворе завхоз без обиняков предложил:

— Может, погреемся, корреспондент? У меня есть. И омулек найдется.

— Я не корреспондент,— жестко разочаровал его Вадим,— я — артист.

Бабийчук тут же потерял к нему всякий интерес. Подаваясь к часовенке, он пренебрежительно пробурчал в бороду:

— Тогда и ходить нечего. Тут не ярманка, а лечебное заведение. Ишь, артист!

Выходя с монастырского двора, Вадим уносил в себе отсвет той странной улыбки, которой поделился с ним молчаливый обитатель этого забытого Богом и людьми места. И сейчас, когда жизнь уготовила Вадиму ту же участь, он вдруг понял, что ему, как и тому самому молчуну в церкви, не о чем говорить с кем бы то ни было из потустороннего теперь для него мира, тем более со своей бывшей женой. Они просто-напросто уже не могли услышать друг друга.

— Прощай.

— Прощай.

Возникшее сразу вслед за этим молчание помимо их воли растворило недавнюю их враждебность, и, когда Вадим, уходя в отделение, замешкался на пороге, она порывисто приникла к нему, горестно прошептав:

— Видно, я все-таки любила тебя... Легкий ты человек...

Татьяна даже вроде бы потянулась за ним через порог, и в этом ее инстинктивном движении Вадиму открылась какая-то закономерность, черта особая какая-то, характерная для всех его последних встреч. Люди, с которыми он сходился в эти дни — доктор, Крепс, отец Георгий, Мороз,— прощаясь с ним, словно бы завидовали ему, словно бы хоронили в нем, в его

спокойствии собственную несостоявшуюся надежду изменить свою жизнь: «Духу, духу не хватает привычный круг разорвать!»

И словно бы соглашаясь с ним, галки над прогулочным двором неожиданно умолкли, и, лишь сделав шаг от порога, он осознал, что птицы здесь ни при чем: просто за ним захлопнулась дверь.

XIII

Суматоха среди персонала началась исподволь и сначала не обратила на себя внимания. Беготня санитаров случалась часто и по множеству поводов: то вязали впавшего в буйство, то требовалась помощь мужских рук во время совершения пункции, то надо было по-быстрому сплавить из отделения очередного доходягу. Не коснулась бы она никого и на этот раз, если бы в отделении не появился главный врач больницы Тульчинский в сопровождении многочисленной свиты управленческого персонала. Минуя палаты, высокие гости проследовали прямо в кабинет заведующего. И в этой их торжественной поспешности чувствовалось что-то предостерегающее.

Отделение взволнованно загудело:

— Комиссия!

— Актировать будут!

— Конференция у них, кого-нибудь выдернут для показа.

— Может, сбежал кто?

— Да нет, вроде все на месте.

— Не иначе как «чепе».

— Надо думать, если такая орава пожаловала.

Бочкарев и тут не остался в стороне от событий. Вскочив на коридорную скамью, он трубно провозгласил:

— Товарищи, без паники! Всем оставаться на своих местах! Враги социализма во всем мире не дремлют! Сплотим ряды. В единстве наша сила! Пусть заокеанские воротилы помнят, что на каждый удар мы ответим двойным ударом! Возмездие...

В этом духе он мог бы, наверное, продолжать до второго пришествия, но резкий, с неожиданным надрывом голос тети Падлы прервал его словоизвержение:

— А ну по палатам!.. Все по палатам!.. Чтобы ни одного в коридоре не было! Дядя Вася, загоняй! Мать Васильна, держи своих!

Когда, стараниями санитаров, коридор опустел, из кабинета вынесли носилки. По зеркально блистающим ботинкам, что торчали из-под простыни, и недвижному птичьему профилю под ней нетрудно было узнать Петра Петровича. Пола его халата свисала с боковой опоры, и где-то на полпути к выходу оттуда выпала, чуть слышно шлепнувшись об пол, та самая книжка доктора, с которой тот никогда не расставался. В общей суматохе этого никто не заметил. И лишь Вадим, с обостренным вниманием следивший за каждой, даже самой малой деталью скорбного шествия, уже не спускал с нее — с этой книжечки — глаз.

Как только процессия следом за носилками стекла в двери, и в коридор отделения изо всех палат хлынули его взволнован-

ные случившимся обитатели, докторский блокнотик мгновенно оказался в кармане у Вадима.

Все в коридоре гудело и перемешалось. Предположения возникали одно за другим:

— Сердце, видать, не сработало!

— Попивал, говорят.

— Опился!

— Вот тебе и Петр Петрович, вот тебе и доктор.

— Доктор, так святой, что ли?

— Кого теперь еще принесет к нам на нашу голову!

— Свято место пусто не бывает.

— И то правда...

Первым, благодаря своей дружбе с обслугой, обо всем доподлинно узнал Горшков. Улучив минуту, он поманил Вадима к своей койке и шепотной скороговоркой сообщил:

— Доктор-то... Петр Петрович... Того... Сам себя порешил. Вот какие дела... Порошками...

Несвойственная ему ранее растерянность буквально преобразила его. Перед Вадимом, исходя тоскливым томлением, переминался с ноги на ногу старый и давным-давно раздавленный жизнью человек с пепельно-серым, опутанным частой паутиной морщин лицом.

— Надо думать,— искренне посочувствовал ему Вадим,— не впервой тебе?

— Да было... Видал... Не единожды... Только кажинный раз все муторнее... Уж коли такие, чего ж тогда мне-то делать? Хоть сейчас в петлю.

Сгорбившись и заложив руки за спину, он медленно пошаркал между коек к окну и застыл там недвижно, как бы отгородив себя от всего того, что происходило у него за спиной.

В уборной Вадим неожиданно столкнулся с Ткаченко. Тот, никогда до этого не куривший, задумчиво втягивал в себя дым дешевенькой сигареты.

— Удивляетесь? — Судя по тону, каким был задан вопрос, старик тоже знал обо всем.— В лагере я курил. Иногда облегчает. Тем более, что я, кажется, решился.— Впалые щеки его, втягивая дым, ходили ходуном.— От себя нигде не отсидишься. Там все-таки со мною рядом будет родная душа... И кто знает, может быть, ее можно унести на подошве своих башмаков... эту самую родину. Слишком мало от нее осталось.

— Я рад за вас.

— Вы это серьезно?

— Вполне.

— Спасибо. Только еще выпустят ли?

— Но ведь обещали. Какой тогда смысл пересылать вам посольскую бумагу?

— Ах, молодой человек, молодой человек, вы еще очень плохо знаете свое государство.— Поднимаясь, старик аккуратно погасил окурок, бросил его в мусорницу и шагнул через порог.— Обещали! Они много чего вам всем обещали! Вам! А я так для них вообще не в счет...

Мимо курилки, еле двигая валенками, прошла тетя Падла,

и каждый шаг ее был отмечен тяжестью и апатией. Кто-то в дымном чаду посожалел ей вслед:

— Переживает.

Голоса из разных углов поддержали:

— Сломалась баба.

— Еще после Телегина.

— А теперь совсем.

Поздним вечером, забившись подальше от любопытных глаз и воровато оглядываясь, Вадим вынул из кармана и перелистал записную книжицу покойного доктора. И что-то оборвалось в нем сразу, обуглилось: все сто двадцать листочков в мелкую клеточку оказались девственно, без единой отметины, чисты: «Кинул ты мне, Петр Петрович, на прощание камушек из-за пазухи!»

XIV

В это субботнее утро Вадим проснулся с явственным предчувствием события. Это ощущение не покидало Вадима в течение всего утра, и когда, вскоре после обеда, из коридора выкликнули его фамилию, он, не стесняясь, опрометью бросился к выходу. В прогулочный двор его выпустила сама тетя Падла, хмуро понапутствовав его с порога:

— Особо не разгуливай. Время позднее.

Ломкие листья тополей, оттененные резким предвечерним солнцем, чуть слышно позванивали вдоль круговой дорожки, и это грустное их позванивание сопровождало Вадима от самого порога.

Он увидел Наташу сразу, едва выйдя в прогулочный двор. Она стояла спиной к нему в самом углу сада, и ветер, устремляя вперед подол ее зеленого пальтеца, ваял из нее что-то летящее и невесомое. Стук садовой щеколды заставил девушку вопросительно обернуться, взгляд ее остановился на нем, и вот она уже зовуще потянулась к нему, но с места не сошла, а только едва заметно кивнула: «Я — здесь».

— Я ждал вас, Наташа,— от волнения он еле выговаривал слова,— знал, что вы приедете.

— Вас папа предупредил?

— Он не сказал, кто, но я верил, что это будете вы.

— Меня папа просил.

— Спасибо.

— Я к вам по делу.

— Все равно спасибо.

Куцее дворовое солнце уже стягивалось к едва оперившимся вершинам тополей. Наташа, зябко поеживаясь, втягивала худенькую шею в воротник пальто и судорожно позевывала. И все в ней, от дешевых «лодочек» до легонькой косынки над упрямой челкой, вызывало сейчас в Вадиме чувство пронзительной, чуть ли не обморочной жалости. Но ничто в ее облике не располагало к ответному движению. Его словно бы и не было рядом с ней вовсе. Уйди он, она бы и не заметила, продолжая все так же судорожно позевывать и зябко втягивать худенькую шею в воротник пальто.

— Замерзли? — трепетно коснулся он ее локтя.— Может, походим?

Она покорно двинулась рядом с ним. После недолгого молчания сказала, словно сама все давно за него решила:

— Уйти вам надо отсюда.

— Куда, Наташа?

— У папы еще живы родители. И отец, и мать.— В ее деловитости было что-то трогательное.— Под Москвой живут. Почти в самом лесу. У них и отсидитесь, пока искать перестанут.

— Это что же, Егор Николаевич придумал?

— Да, он.

— В моей униформе дальше первого встречного не уйдешь.

— Нюра поможет. У нее дома папины летние вещи. Вы с ним почти одного роста. Нюра...

— Тетя Падла! — Его даже в жар бросило.— Сама тетя Падла?

— Нюра! — строго повторила девушка и осуждающе посмотрела на него.— Нюра вас и выпустит ночью.

— Не заблудиться бы,— его уже била лихорадка предстоящего побега,—, село большое.

— Нюрин дом прямо на повороте к шоссе, окна с зелеными наличниками. На электричку не садитесь, голосуйте при дороге, довезут... Только не забудьте: Кривоколенный, шестнадцать, квартира шесть...

И словно боясь, что он сможет удержать ее, она почти побежала наискосок через двор к калитке, ведущей в отделение. Вадим машинально сделал несколько шагов за ней и долго еще смотрел вслед маячившей сквозь листву кустарника вдоль изгороди быстрой фигурке девушки, какую — что там скрывать! — он уже любил тихо и благодарно.

Время текло с мучительной медлительностью. О сне, хотя бы коротком, нечего было и думать. С усилием смежив веки, лежал Вадим, чутко прислушиваясь к окружающему. Вот дежурный санитар не спеша обошел палату, пересчитывая своих подопечных. Вот, с кряхтением повозившись, затих его сосед по койке Горшков. Вот едва слышно — раз, два, три — перекликнулись выключатели. Матовые контрольные лампочки сгустили полутьму до предела. Тишину прерывали только храп и бредовое бормотание в разных углах палаты.

— Лашков! — скорее выдохнула, чем сказала, старшая сестра, легонько теребя его за плечо.— Пошли.

Мимо спящего на лавочке санитара, по едва освещенному коридору тетя Падла провела Вадима в кабинет заведующего. Окно в кабинете было полуоткрыто. На резком свету потолочного плафона лицо Нюры выглядело еще более отечным и вытянутым. Но большие темные глаза ее навыкате были тронуты горькой и неизбывной грустью, и, раз взглянув в них, Вадим признался себе, что и здесь рязанский мужик Митяй Телегин оказался внимательней и прозорливей его.

— Прощай, Нюра,— растроганно потянулся он к ней.— Спасибо тебе.

— Дома не перепутай,— без выражения ответила она.— У меня еще конек на крыше и калитка не закрывается. Огонек в сенцах горит. Ждут тебя.

Звездная ночь приняла Вадима, и он двинулся в сторону шоссе, на тот самый огонек, где кто-то, ожидая его, тревожно бодрствовал и, наверное, волновался...

На стук ему открыла старуха с зажженной керосиновой лампой в руке. Зоркими, не по возрасту молодыми глазами она сурово оглядела его с головы до ног и молча уступила дорогу, осветив ему табурет в углу, на котором была аккуратной стопкой сложена для него одежда. Она молча светила ему во время переодевания, молча сунула пятерку в карман пиджака, молча проводила до двери и, лишь закрывая за ним, глухо прошелестела беззубым ртом:

— С Богом...

Долго голосовать ему не пришлось. Вскоре черная «Волга», надрывно взвизгнув тормозами, замерла у самых его подошв. Свет приборов осветил усталое лицо с красными от напряжения и бессонницы глазами:

— Садись... Только сзади, с хозяином.

Едва они тронулись с места, как темная громада рядом с Вадимом беспокойно задвигалась, и крепкий настой круто замешанного винного перегара повеял в его сторону:

— Я, брат, человек широкий, добрый... Думаю, стоит человек, голосует, почему не подвезти... С дорогой душой... А я ведь, брат, не хер собачий... Комендантом Берлина был... Да и сейчас не в последних хожу... Но простоты не теряю... С народом держу связь... Народ меня любит... Вот на рыбалку в рыбхоз ездил... Как отца родного встретили. Птичьего молока только не было... А ведь бывало с Гессом, как с тобой... Четыре раза в год... По положению... Просто тоже очень, даже жалко... Все свое партии завещал... Хоть и сукин сын, а человек порядочный...

Язык у него все более заплетался, и наконец он, отвалившись в угол, гулко захрапел. Водитель молчал до самой Москвы, видно, излияния эти были ему не впервой. И, только миновав городскую черту, слегка полуобернулся:

— Тебе где?

— Да все равно. Если можно, то поближе к Трубной.

— Довезу.

Больше он до самой Трубной площади не вымолвил ни слова. На деньги, протянутые Вадимом, даже не посмотрел, тронул с места.

— Самому пригодятся.

Ранним, едва зачатым утром, срезая углы, Вадим вышагивал по знакомым улицам, узнавая и не узнавая город, исхоженный, казалось, вдоль и поперек. Все, что раньше казалось знакомым и примелькавшимся, выглядело сейчас выпукло и рельефно: вывески, автоматы, будки регулировщиков. Он уже был не частью всего этого, а глядел вокруг как бы со стороны, как гость, который перед отъездом старается запомнить из увиденного побольше и поотчетливей, чтобы иметь о чем рассказать непосвященным.

XV

Она словно ждала его, не отходя от двери, до того мгновенным было ее появление перед ним, едва он коснулся звонка. Горячее стеснение под сердцем мешало сложиться словам, Вадим с виноватой растерянностью топтался у порога. И девушка, словно желая помочь ему, заговорила первой:

— Здравствуйте, Вадим.

— Здравствуйте, Наташа...— Ему все еще не хватало воздуха.— Вот... Решился... Будь что будет...

Опаляющая истома мгновенно обессилила его, ноги стали ватными, а мир перед глазами пошел кругом. С отчетливой живостью Вадим представил себя тем самым бакенщиком Егором, о каком ему столько раз приходилось рассказывать со сцены. Пожалуй, лишь в эту минуту Вадима по-настоящему постигла сладостная боль последнего шепота Егоровой зазнобы: «Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный мой, золотой ты мой...» И так-то ему захотелось вдруг, так потянуло оказаться сейчас где-нибудь за тридевять земель, на берегу любой, хоть самой завалящей речонки с этой тоненькой девочкой в крылатом ситчике, что сделай она теперь шаг, только шаг навстречу, и он рванулся бы к ней, подхватил ее на руки, да уж и не опустил бы до самого последнего своего дня.

Но девушка отступила в глубь коридора, тихо выдохнув:

— Сюда...

В комнате, куда она пропустила его мимо себя, преобладали иконы и книги. Работа в киотах чувствовалась нестарая, но дельная. В книжном же царстве, властвовавшем здесь, Вадим, как ни вглядывался, так и не смог рассмотреть ни одного знакомого корешка.

— Это папина комната. Я все оставила, как есть.— Девушка пошла впереди него, приглашая его тем самым следовать за собой.— Это хорошо, что вы решились. Признаться, я тоже сначала побаивалась, не будет ли хуже... Вот дурочка... Может ли быть хуже?

Комната ее была полной противоположностью отцовской. Тахта, укрытая пледом, видавший виды письменный стол у окна, стул при нем и старенькое креслице составляли всю ее меблировку. В этой непритязательности не чувствовалось ничего подчеркнутого. Каждая вещь здесь отвечала строгой необходимости и только. Когда Вадим вошел сюда, ему, как это иногда случается с людьми впечатлительными, до поразительной детальности пригрезилось, что он уже был тут когда-то, именно в этой комнате, небрежно обставленной случайной мебелью.

— У вас, как в келье, Натали.— С усилием освобождаясь от наваждения, он опустился в кресло.— Ничего девичьего.

— Не люблю лишнего хлама,— брезгливо поморщилась она,— возни много. Вам не нравится?

— Наоборот. У меня просто времени не было привыкать к барахлу. Всегда на перекладных.

— Теперь все будет по-другому.

— Вывезет ли?

— Должно вывезти.
— У вас, в отличие от меня, много времени впереди.
— Каждый отсчитывает время по-своему.
Было в ней — в ее скупых движениях, взгляде без улыбки, манере говорить медленно и отрывисто — что-то такое, перед чем Вадим, забывая о своем против нее возрасте, испытывал жаркую, почти мальчишескую робость.
— У меня к вам просьба, Натали,— мысль обожгла его внезапно, но уже казалось, что он думал об этом с самой первой их встречи,— будьте со мной в день отъезда.
— Я сама довезу вас до места.
— Знали бы вы, как я вам благодарен.
— Обязательно довезу. Без меня вы там заблудитесь.
В домашнем ситчике, в сумерках, она казалась тихой бабочкой, устало сложившей пестрые крылья. Немалых усилий стоило Вадиму побороть в себе искушение — взять ее на руки и бережно носить по комнате, пока она не уснет.
Она вздохнула:
— Если бы у вас все состоялось!
— Я буду стараться. Я буду очень стараться.
— Для меня, наверное, это еще важнее, чем для вас.
— Значит, мне придется стараться вдвойне.
— Я серьезно.
— И я.
— Спасибо.
— Натали...
Они еще не сказали друг другу самых главных, самых существенных слов, но душевная общность уже озарила перед ними прошлое и будущее, тень и свет, проникнув их знанием сущности окружающего и надеждой:
— Может быть, это продлится долго, очень долго, Натали.
— Разве это важно?
— Для меня — нет.
— Для меня — тоже.
— А если меня все же найдут?
— Это еще не конец.
— А что же это?
— Можно попытаться еще раз.
— Будет уже поздно.
— Разве когда-нибудь бывает поздно?
— Вы мне — как подарок...
— Еще пожалеете.
— Никогда.
— Не зарекайтесь.
— Я все же зарекаюсь.
— Вот как?
— Да.— И еще тверже: — Да.
Темь холодными звездами заглядывала в окна, располагая к долгому молчанию, и они замолчали, но и в безмолвии между ними продолжался тот самый разговор, которому, сколько существует мир, нет и не будет конца. В темноте Вадим осторожно коснулся ее плеча, и оно обмякло под его рукой и подалось

к нему навстречу. Жаркий туман поплыл перед его глазами, и он, почти задыхаясь от волнения, привлек девушку к себе:

— Милая...

— Зачем я тебе?

— Жизнь моя...

— Боюсь я.

— Чего?

— Ненадолго это.

— Навсегда!

— Это тебе сейчас кажется.

— Всегда будет казаться.

— Смотри.

— Люблю тебя.

— И я... Сразу... Как увидела...

— Ната...

Они очнулись, когда за окном в рассветном мареве тихой зеленью светились майские тополя, через которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезилось, что там, за нагромождением этих многооконных коробок, уже стоит в ожидании его, Вадима, нетерпеливо подразнивая белоснежными боками, вытянутый носом к морю теплоход. И мимолетное видение это с такой внезапностью все в нем стронуло, воспламенило, что он не выдержал, заторопился:

— Подъем, Ната! Смотри, утро-то какое!

Не поднимая век, она улыбчиво кивнула и медленно потянулась к нему, утыкаясь теплым лбом в его плечо:

— Еще немного. Успеем...

Но вскоре она уже громыхала на кухне посудой, стряпая на скорую руку завтрак, и, одеваясь, Вадим все еще никак не мог опомниться от случившейся в его судьбе удивительной перемены: «Будто во сне, ей-Богу!»

Пронизанное зябким солнцем раннее утро высветило перед ним овеянную первым тополиным пухом пустынную улицу, и они, не раздумывая более, двинулись по ней — по этой улице — к первой же остановке, ведущей к трем вокзалам.

XVI

Когда после вокзальной сутолоки они, сев в электричку, оказались друг против друга и наконец встретились глазами, в них вошла полная мера того, что их теперь объединяло. Все пережитое показалось им сейчас тяжелым и уже отлетевшим сном. Другая жизнь, еще неведомая, но заманчивая самой своей новизной, ждала их впереди. Они сидели друг против друга, взявшись за руки, и все, что творилось вокруг — давка, ругань, смех, плач,— не существовало для них. В мире сейчас были только они двое. Только они двое — и никого больше.

Потом они шли через лес. Одуряющий запах его по-майски клейкой поросли кружил им головы, и робкие травы стекались к их тропам, стряхивая под ноги свои первые росы. На ум им приходили первые попавшиеся слова, но в каждое из этих слов

они вкладывали свой, понятный только им двоим смысл:

— Давно я в лесу не был.

— И я.

— Смотри, какой нарост на березе! Будто львиная грива.

— Скорее черепаха под панцирем.

— У тебя есть глаз.

— Я способная.

— Скромничаешь?

— Ага...

Сквозь рябой частокол берез появилась блистающая зеркальной поверхностью речная полоска, и вскоре внизу перед ними показалась паромная пристань с несколькими строениями торгового типа вдоль берега.

— Ну вот,— облегченно вздохнула она и заспешила вниз,— переедем, а там совсем близко.

— Как снег на голову.

— Они привыкли. Даже рады будут.

Около пивного ларька на берегу их остановил жиденький старичок с веселыми кроличьими глазами.

— Вижу, только поженившись, дай, думаю, попрошу двугривенный.— Его радушная откровенность обезоруживала.— А для ровного счету,— подмигнул он медленным веком, видя, что Вадим потянулся в карман,— двадцать две. Точь-в-точь на целую.

Вадим дал полтинник. Старичок не выразил удивления, понимающе взмахнул сухонькой ладошкой: гуляешь, мол, парень, одобряю, мол. Затем вежливенько коснулся кепочки и моментально ввинтил себя в шумный омуток у ларька.

Случайный дед этот и вернул их к текущим заботам. Перед ними вдруг сразу обозначилась галдящая толпа у переправы, где каждый с головы до ног был во всеоружии сумок и свертков. Стало ясно, что их путь на тот берег будет совсем не простым, а в первый день за рекой определенно голодным. Поставив Наташу в очередь на паром, Вадим бросился в единственную на берегу продовольственную палатку, чтобы прикупить кой-чего из еды и питья. К прилавку Вадим пробился, растеряв по дороге добрую половину пиджачных пуговиц. Оказавшись лицом к лицу с распаренной от жары и ругани продавщицей, он бездумно бросил ей следом за скомканным червонцем:

— На все!

Реакция у той сработала безошибочно. Через мгновение перед ошеломленным Вадимом красовался «малый джентльменский набор» во всем своем неповторимом великолепии: две бутылки «белой головки», две банки шпротов и плитка шоколада «Золотой ярлык». С этой добычей он и выскочил на берег, когда паром уже отваливал от причала.

Среди пестрого круговорота на пароме Вадим сразу же выделил костерок ее косынки, и сердце его учащенно, с обморочными провалами забилось: «И за что только тебе этот подарок, старый черт!» Она же, в свою очередь, заметив его, прощально ему замахала. И видно было, что игра ей эта нравилась, и он подыграл: опустившись на прибрежную траву, замахал ответно. Так они и махали друг другу, радуясь своей ребячьей выдумке,

до того самого мгновения, пока кто-то, еще неведомо кто, не сел рядом с ним. И тут, вроде бы еще и без причины, все в нем захолодело и оборвалось. Сосед еще только молча и натужно сопел рядом, а Вадим уже чувствовал, да какое там чувствовал! — знал, что это конец. Конец всему, что ожидало его на том берегу. И всему в его жизни вообще конец. Крепс оказался прав: ему уже теперь никуда от них не уйти. Его связь с ними становилась день ото дня все нерасторжимей. И тогда, даже не поворачивая головы, он намеренно грубо спросил:

— Можно, я выпью, начальник?

Ответ был почти дружелюбен, но от этого дружелюбия почему-то сразу закололо в кончиках пальцев:

— Пей, Лашков.

Привычным движением выбив пробку, Вадим стиснул зубами горлышко. Жгучая влага опалила гортань, но, вливаясь, не приносила с собой ни забытья, ни облегчения. Краем глаза он еще следил, как оттуда, с парома, Наташа все еще продолжала махать ему, даже не подозревая, что игра эта уже обернулась для них совсем нешуточным прощанием. Бутылка, так и не опьянив его, лишь добавила ожесточения. И тогда Вадим снова спросил, со злым вызовом:

— Можно, вторую добью, начальник?

Ответ прозвучал еще дружелюбнее:

— Добивай, Лашков.

Ах, сколько выпил он ее на своем веку, но никогда еще она не оказывалась такой бессильной в соревновании с ним!

На удаляющемся пароме, над пестрым пятном толпы бился желтенький костерок Наташиной косынки, и в воздухе прощально покачивалась ее ладошка. Он не выдержал и ответил ей. Жжение под сердцем сделалось нестерпимо удушливым, и тогда Вадим встал и, не оглядываясь, пошел вперед. Грузные шаги сопровождали его мерно и неотступно.

Вежливенько, но твердо подсаживаемый в машину, Вадим инстинктивно, уже ни на что не надеясь, потянулся взглядом в сторону реки. Паром уже причаливал к противоположному берегу, и едва ли на таком расстоянии он мог разглядеть, продолжает ли она махать ему, но в эту минуту он хотел в это верить и поверил, поверил на всю последующую горькую свою жизнь. И прежде чем задняя дверь фургона захлопнулась за ним, он успел мысленно попрощаться с нею: «До свидания, Натали! Живи, родимая. Надо жить!»

Их отъезд от берега сопровождал залихватский наигрыш гармони, перекрытый пьяно-отчаянным тенорком:

— По реке плывет топор
Из села Неверова.
И куда ж тебя несет,
Железяка херова?

Полностью роман В. Максимова «Семь дней творения» будет опубликован в журнале «Октябрь» и выйдет отдельной книгой в издательстве «Столица».

ЧИТАТЕЛЬ•«СМЕНА»•ЧИТАТЕЛЬ

Моего сына призвали в армию 15 декабря прошлого года. Присягу он должен был принимать 28 января 1990 года, но потом мы узнали, что наши дети приняли присягу на десять дней раньше, после чего их сразу отправили в НКАО.

Я, как и другие матери, в страшной тревоге.

Хотим услышать ответы на следующие вопросы:

Правомерен ли в Советской Армии ускоренный прием присяги в мирное для страны время?

В каком правовом государстве призывают на гражданскую войну не обученных военному делу детей?

Возможно ли за один месяц подготовить десантников?

Почему нарушено решение второго Съезда народных депутатов о неучастии войск во внутренних конфликтах?

Почему государство, имея огромный аппарат войск и органов МВД и КГБ, не может разрешать конфликты этими силами?

Кто дал право командирам обманывать родителей, заставив солдат написать домой, что их уводят из расположения части на простые учения?

Мой отец, сейчас инвалид войны, даже во время нашествия гитлеровцев на нашу страну проходил первоначальную подготовку в резервном полку три месяца.

Я писала письма в «Комсомольскую правду», «Красную звезду», программу «Взгляд», депутатам Верховного Совета СССР, но никто мне не ответил.

В како́м же государстве мы живем?

С. А. ПАНЧАК,
г. Дубно
Львовской области

У нас сейчас обсуждается проект постановления Совета Министров УССР, в котором говорится, что плата за комнатно-декоративную собаку будет взиматься в размере 60 рублей, а других пород — 120 рублей в год.

Учусь на последнем курсе института, по специальности биолог-охотовед, в данный момент работаю не по профилю, оклад 100 рублей. Увлекаюсь охотой, держу двух охотничьих собак,— лайку и спаниеля. В месяц я обязана буду платить 20 рублей, то есть в год — 240 рэ. За квартиру в месяц плачу 6 рублей, а за собак — 20?!

Т. НИКИТИНА
и еще 32 подписи,
Севастополь



НА БАРРИКАДАХ СЕРДЕЦ И ДУШ

МАРИЯ ЧЕГОДАЕВА

Каждый, кто обращается к искусству революции, к тому короткому периоду, который в исторических трудах всегда определялся как искусство эпохи военного коммунизма, оказывается потрясенным роковыми контрастами этого поистине апокалипсического времени. С одной стороны, стихия крови, насилия, разрушения культурных ценностей, каких не знала русская история. С другой — сила творчества и созидания такой мощи, такой ослепительной яркости, что этой вспышки хватило, чтобы озарить весь XX век, весь мир, все человечество.

Искусство русского авангарда 1910—1920-х годов было не только предвестием и порождением революции. Оно само было революцией — именно так ощущали себя, понимали свою миссию художники и идеологи «футуризма». («Футуризм беру в обыденном смысле,— писал в 1918 году ху-

дожник Н. Альтман,— то есть все левые течения»).

«Мы полярно противоположны старому миру,— утверждал критик Н. Пунин.— Не обновлять его, но разрушить пришли мы, разрушить, чтобы создать свой новый мир. <...> С нами только те, кто предпочитает творчество всем благам мира». И дальше: «Пока революция не погибла, не погибнем мы, ее дети. А если погибнет она, лучше было бы погибнуть вместе с нею».

«Футуризм равен революции,— заявлял поэт Б. Кушнер.— Из самых недр буржуазной культуры возникло революционное отрицание ее. Оно вспыхнуло — страстное, гневное, неукротимое — раньше всего в искусстве. Этому отрицанию имя — футуризм».

Да, футуризм проповедовал идеи разрушения старого. Да, великий Малевич в статье «Наши задачи» буквально клокочет яростной страстью ниспровержений: «Мы предсказали в своих выступлениях свержение всего академического хлама и плюнули на алтарь его святыни. <...> Мы пришли, чтобы очистить личность от академической утвари, выжечь в мозгу плесень прошлого и восстановить время, пространство, темп и ритм, движение, основы сегодняшнего дня. Мы среди клокочущих бездн на крыльях времени, на гребнях и на дне океана построили упругие формы. <...> Но чтобы осуществились факты наших революционных поступей, необходимо создание революционного коллектива по проведению реформ в искусстве страны. При такой организации является чистая кристаллизация идеи и полная очистка площадей от всякого мусора современности».

«Свобода здесь кажется неограниченной. Она такова и есть. Она подчиняется только тому новому «духу времени», который начинает материализоваться и будет идти по этому пути, пока не воплотится во всем своем — на наш взгляд, беспредельном объеме сущность наставшей эпохи «Великой Духовности»,— говорит В. Кандинский.

Противоборство «старому миру» у Пунина, Кандинского, Малевича — прежде всего творческое, духовное противоборство, «революция Духа». О каждом из них можно было бы сказать словами Б. Пастернака о В. Маяковском: «Революционность его — революционность саморожденная, совершенно особого, я даже не боюсь сказать, индивидуалистического типа, которая способна соперничать с официально признанным типом». Искусство первой четверти XX века, горделиво восставшее против всех старых норм, сломавшее старые каноны, поколебавшее принципы искусства прошлых веков и создавшее нечто абсолютно новое — иную систему восприятия мира, иные категории качества, иную пластику,— это искусство по самой своей природе было революционным. Футуристы были вправе считать себя создателями «эпохи Великой Духовности»; они действительно совершили революцию и победили, осуществили то, к чему стремилась и чего не осуществила Октябрьская революция: революция искусства стала всемирной. «Мы вправе считать себя победителями,— писал художник Ю. Анненков.— Новое поколение за нами». Победа «мировой революции авангарда» стала свершившимся фактом XX века.

Эта неоспоримая революционность русского футуризма приводит в наши дни в великое смущение, наводит подчас на выводы, устрашающие своей вопиющей несправедливостью. Долгие годы



официозное искусствознание «уничтожало» футуризм, уличая его в «буржуазности», «псевдореволюционности»; высокомерно, с высоты своего превосходства, судило футуристов за «ошибки», непонимание истинных (читай: сталинских) путей революции. Стоило бы перечитать страницы из «Истории русского искусства», где с позиций социалистического реализма «сокрушается» творчество Малевича и Кандинского, из предисловий к изданиям Есенина и Маяковского, где с тех же позиций отрицаются «футуристический», «имажинистский» периоды в их творчестве. И вот, не успели пройти первые за 70 лет выставки Татлина, Малевича, Шагала, Кандинского, не успели мы впервые — впервые! — огласить в печати истинные обстоятельства смерти Пунина[1] и Мейерхольда, как накатывается новая волна отрицания, звучат новые — но удивительно старые в своем высокомерии — упреки футуристам, теперь уже за их приверженность революции.

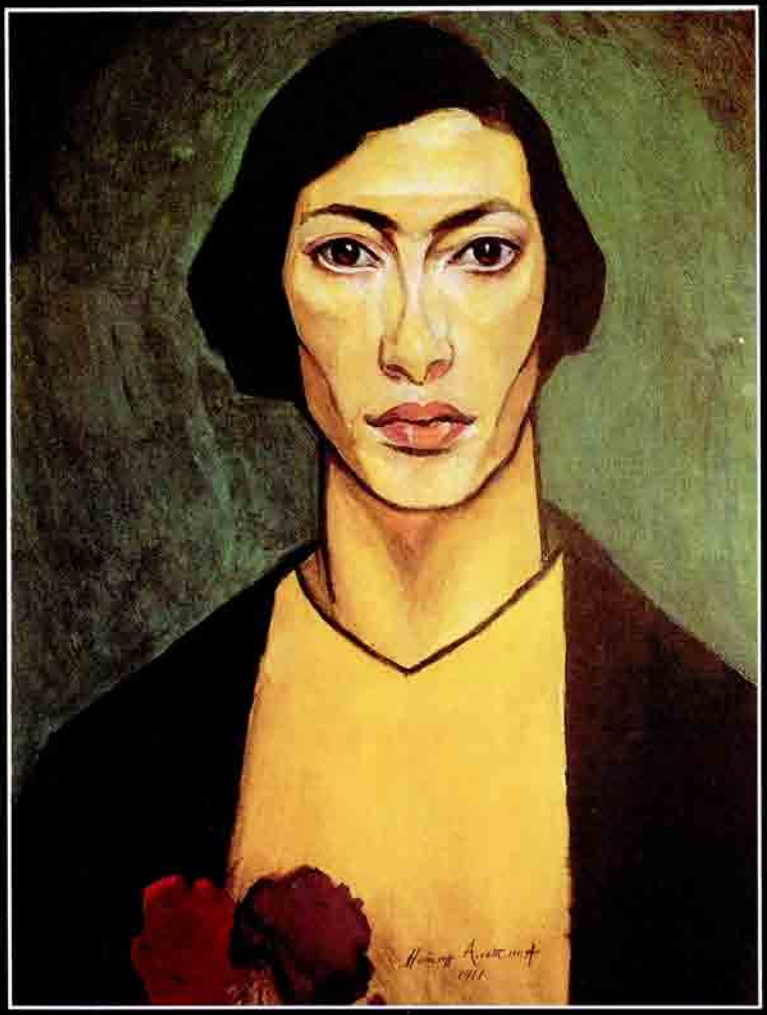
Не стану унижаться до разбора выпадов журнала «Художник», пытающегося вновь извратить историю, доходя до прямой клеветы, взваливая на футуристов ответственность за сталинские преступления. Считаю недостойным полемизировать на их уровне[2]. Но куда серьезнее озабоченность ученых, призванных, как им кажется, судить и взвешивать историю, где на одной чаше весов творчество и созидание, на другой — кровь и разрушение. Раздирает души роковой вопрос Достоевского: стоит ли счастье человечества одной слезинки ребенка, возможно ли созидание нового, оплаченное кровью невинных жертв? И в самой постановке вопроса уже звучит ответ. Есть что-то глубоко безнравственное и бесчеловечное в оправдании невинно пролитой крови чем бы то ни было: исторической ли необходимостью, благом ли человечества, строительством ли нового. Слишком долго совершали мы этот грех — теперь торопимся его избыть и вершим суд над революцией.

Вершим, забывая, что именно таким судом была сама революция. Именно она сочла себя вправе судить, помещая на одну чашу весов всю великую русскую дворянскую культуру, на другую — ужасы крепостничества; на одну — 300 лет русской истории, на другую — кровь жертв 9 января и Ленского расстрела; на одну — Евангелие, церкви, иконы, на другую — религиозные изуверства. Невинная кровь перетянула, и свершился суд — правый, как казалось тогда, трагически неправый, как кажется нам сегодня.

В великий соблазн ввел Достоевский русскую интеллигенцию, предложив ей свободу выбора, трансформировавшуюся в свободу суда: или — или. Безнравственно оправдывать невинную кровь, но нравственен ли суд? Дано ли нам право класть словно гири на чаши весов и смотреть, что перетянет: пыточная камера инквизиции в виде фигуры мадонны или «Сикстинская мадонна» Рафаэля; сотворенный революцией расстрел поэта Гумилева или той же революцией сотворенные «Двенадцать» Блока? Нас приводит в ужас самоуверенность большевиков, принявших на себя роль судей; мы знаем, во что вылилось, к чему привело в тридцатые годы узурпи-

---

[1] Николай Николаевич Пунин был репрессирован в 1949 году и погиб в лагере.
[2] «Художник». № 8, 1988 г. А. Членов. «Восстановить объективность».



НАТАН АЛЬТМАН. Автопортрет.

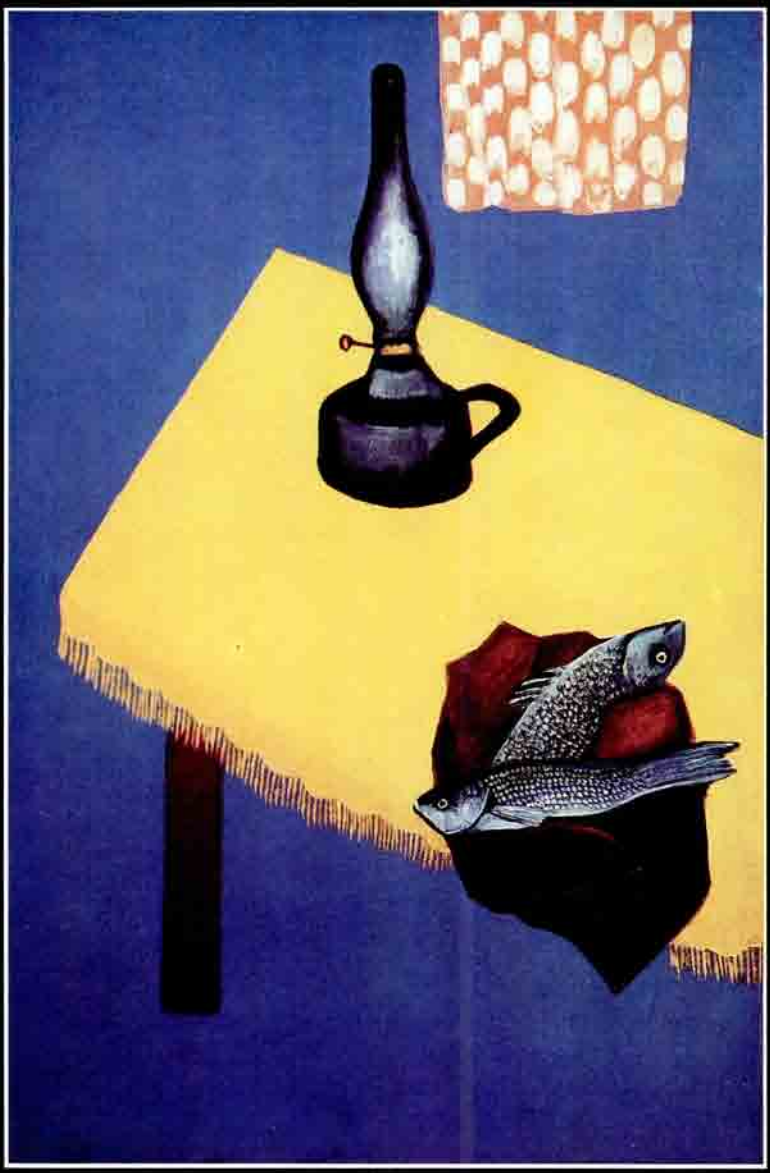




АРИСТАРХ ЛЕНТУЛОВ. Портрет М. П. Лентуловой с розами.



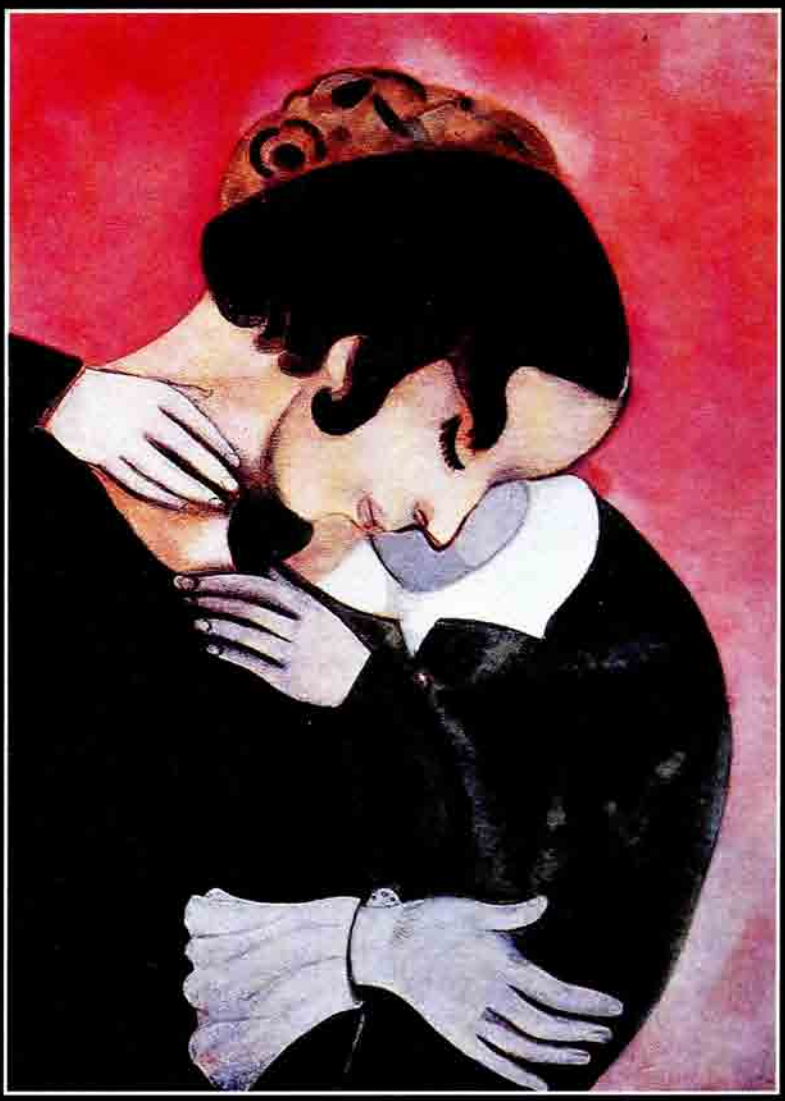
ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ. Пейзаж Мурнау.



ДАВИД ШТЕРЕНБЕРГ. Натюрморт с лампой и селедками.



МАРК ШАГАЛ. Розовые любовники.



рованное Сталиным право на суд... И вновь присваиваем себе это право и вершим суд — не над конкретными преступниками, не над Сталиным, Ежовым, Берией, но над историей, над идеями, над нашими отцами, которым выпал жребий жить в такие годы, рядом с которыми наше теперешнее смутное время может показаться примитивно-ясным. Кто и как будет судить **нас?**

Мне представляется, что, когда идет речь о высоком искусстве, о подлинной культуре, идеи суда и приговора неприемлемы изначально. «Не так, товарищ,— писал Блок Маяковскому в ответ на его призыв: «Время пулям по стенкам музеев тенькать».— Разрушение так же старо как строительство и так же традиционно <...> Зуб истории гораздо ядовитее, проклятия времени не избыты <...> Одни будут строить, другие разрушать, ибо «всему свое место под солнцем», но все будут рабами, пока не явится третье, равно не похожее на строительство и разрушение».

Великий Блок, великие футуристы революции — художники Татлин, Малевич и другие — ощущали в катаклизмах, выпавших на долю России, нечто большее, нежели традиционное разрушение и традиционное строительство. Их искусство, собственно, и было тем «третьим», о котором говорил Блок, синтезом разрушения и созидания, то есть рождением, мучительным и прекрасным рождением нового. Дети XX века, его стремительного, поистине космического натиска, его научно-технической революции, сокрушившей и изменившей все основы человеческого бытия, они разделили с XX веком гордую веру в мощь человеческого разума, способного перестроить мир на началах науки и прогресса. Мир радикально, необратимо изменился — должно так же радикально измениться и мировосприятие, а значит, и искусство. Для авангардистов это было аксиомой. И они сокрушили формы старого искусства, расчленили их, сместили время и пространство, не оставили от старого камня на камне.

И в то же время вся их жизнь — это истинное созидание, подлинное «сотворение мира», смелое и свободное, взрыв такой творческой энергии, какой не знало ни одно «ортодоксальное» течение тех лет.

Нам пора понять простую истину: в России в 1917 году не было и не могло быть **одной** революции. «Развал идет давно и по всем линиям,— писал зимой 1916/17 года писатель С. Скиталец.— Двадцатый век за версту от Сената и музеев переходит в семнадцатый, и этого пока не замечают, но плоды этой слепоты и этого пренебрежения придется когда-нибудь пожать. И, быть может, скорее, чем мы думаем». В России была передовая интеллигенция, в том числе художественная, одна из самых смелых в мире, опередившая свое время, рванувшаяся в будущее, ощутившая и понявшая неизбежность общемировых процессов XX века и вершившая **свою** революцию. В России был не имевший никакого представления о мировых процессах темный и грозный «семнадцатый век», совершивший свою революцию — «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», о котором писал Пушкин: с внушающими ужас и восхищение фигурами Пугачевых и Разиных, с бунтовщиками, сдирающими кожу с царского воеводы, и усмирителями, пускающими по реке виселицы-плоты с телами казненных повстанцев... Нужно было быть Хлебниковым, чтобы слить воедино разинщину с футу-

ризмом, семнадцатый век — с двадцать первым[1]...

Но в России 1917 года была и еще одна революция, о которой пророчески писал Блок: «Что же вы думали? ⟨...⟩ Что сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? ⟨...⟩ Что так «бескровно» и «безболезненно» и разрешится вековая распря между «черной» и «белой» костью, между «образованными» и «необразованными», интеллигенцией и народом?»

Противостояние всем позитивным силам революции со стороны «провокаторов» и «черносотенцев», недоучек, неудачников всех мастей — люмпен-пролетариата, люмпен-интеллигенции, люмпен-революционеров — началось с первых же ее дней. Именно в этой псевдореволюционной среде «шариковых» и «швондеров» сеялись в землю и прорастали злые семена ненависти к культуре, к интеллигенции и интеллигентности. Именно там «вековая распря между «образованными» и «необразованными» разрешилась как власть необразованных над образованными, бескультурья над культурой. «Пролетариат — руководитель в творчестве новой культуры, буржуазная интеллигенция — сведущие лица, рабочая сила, отчасти материал, подлежащий обработке — и только,— писал в 1918 году орган пролеткульта журнал «Грядущее».— Рабочий класс ко всякому руководству интеллигенции, хотя бы и сочувствующей нам, должен относиться критически ⟨...⟩ Никто иной, а все та же интеллигенция, когда у власти стал сам народ, организовала всероссийский саботаж во всех областях жизни. Это она хотела уморить наших детей физически и духовно. И если «белые вороны» залетают в наш лагерь и работают вместе с нами искренне и из идейных побуждений, все-таки они бессознательно несут с собой и будут прививать пролетарским массам психологию старой жизни».

Разжигая ненависть рабочих к интеллигенции, провоцируя недоверие и пренебрежение к ней, науськивая пролетариат на интеллигенцию, пролеткульт одновременно заискивал перед рабочими, внушал людям, впервые приобщающимся к азам культуры, что в силу своего «пролетарского происхождения» они в своих представлениях изначально выше, умнее, правильнее всех «буржуазных» профессоров знают истины, тем недоступные. Бескультурье, невежество, примитивность понятий и вкусов возводились в достоинства, провозглашались чем-то более высоким, нежели интеллигентность.

То ли дело наш Степа —
забыл, к сожалению,
фамилию
и отчество—
у него
в стихах
Коминтерна
топот...
Вот это —
настоящее
творчество! ⟨...⟩
У Степы
незнание
точек и
запятых
заменяет
инстинктивный
массовый разум,
потому что
батрачка —
мамаша их,

[1] В. Хлебников написал в 1918 году поэму «Разин».

а папаша —
рабочий и крестьянин сразу,— иронизировал Маяковский.

«Печально видеть поэта-пролетария, который ищет лучших художественных форм и думает найти их у какого-нибудь кривляющегося интеллигента-рекламиста Маяковского»,— не оставался в долгу один из идеологов пролеткульта, А. Богданов.

Пролеткульт и футуризм оказались с первых же шагов революции по разные стороны «баррикад сердец и душ». Противостояние их приняло парадоксальный характер. Футуристы убеждены, что пролетариату должны быть чужды и враждебны все формы старой культуры, как враждебны формы старой государственности. Пролеткульт не отрицает старой культуры, напротив: «Мы сознаем, какие громадные ценности накоплены человечеством в прошлом. У нас нет стремления отмахиваться от этого наследия как буржуазного»,— заверяет «Грядущее». Казалось бы, с нашей сегодняшней точки зрения — правота на стороне пролеткульта. Но футуризм не отделяет творческую интеллигенцию от пролетариата, он верит: отныне всему народу будет присуще великое чувство нового в искусстве; свойственные «авангарду» идеи создания новых вещей, новых форм, внимание к материалу должны быть близки и понятны рабочим — людям, привыкшим создавать вещи своими руками. Футуристы чувствуют себя пролетариями: «Пролетарское искусство не «искусство для пролетариев» и не «искусство пролетариев», а искусство художников-пролетариев. Художник-пролетарий отличается от художника-буржуа не тем, что творит для другого потребителя, и не тем, что происходит из другой социальной среды, а своим отношением к искусству. Художник-буржуа в тысячный раз повторяет шаблоны прошлого; художник-пролетарий всегда творит новое, ибо в этом его предназначение». Идеал футуристов — бесклассовое общество всеобщего творчества. Для пролеткульта же главное — непримиримая животная ненависть к интеллигенции как классовому врагу; он стремится овладеть культурой, **отняв** ее у интеллигенции. В пламени Октябрьских дней столкнулись два роковых заблуждения: вера талантов в то, что новый мир станет миром абсолютной творческой свободы и подлинного новаторства, и вера посредственностей в то, что отныне станет возможным для тех, кто «пришел к власти экспроприировать таланты», и «пролетарский поэт» сможет не номинально, но фактически занять место Блока. Нельзя отрешиться от мысли, что в 1918—1919 годах в России на одном полюсе оказались, со всеми своими «заносами» и «перехлестами», великие художники, на другом — бездарности, усмотревшие в революции возможность отыграться и отомстить за собственный комплекс неполноценности. Неизбежно это было или нет, но победили последние.

Попытка экспроприировать культуру, распоряжаться ею помимо интеллигенции и интеллигентности привела лишь к тому, что пролетариату стали подсовываться самые примитивные салонные формы — даже не старой культуры, а ее мещанского эпигонства. Второй номер «Грядущего» за 1918 год открывается «Первомайским гимном» «пролетарского поэта» В. Кириллова:

Сестры, наденьте
венчальные платья,
Путь разукрасьте
гирляндами роз,
Братья, раскройте



друг другу объятья,
Пройдены годы
страданий и слез.

Идеологов пролеткульта нимало не коробят почерпнутые из самых мещанских, сугубо «буржуазных» арсеналов поэзии «розы» и «слезы», как не коробит их самый махровый «старорежимный» стиль «рюсс», торопливо пристроивший на хоругви серп и молот и сменивший написанное славянской вязью «боже, царя храни!» на «пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Как и его прямые потомки РАПХ и АХРР[1], пролеткульт тяготел к мелочному натуралистическому бытовизму, опирался на традиции позднего передвижничества — именно они стали впоследствии основой «социалистического реализма». «Пролеткульт... будет петь про жизнь, быт и образ мыслей пролетариата, и это будет пролетарским искусством, и это будет эпохой»,— провозглашал еще в 1918 году один из идеологов пролеткульта. «Это» действительно стало «эпохой» — одной из самых мрачных эпох в русском искусстве.

Уже в 1921—1922 годах футуристы были отстранены от всякой общественной деятельности и художественного руководства. Носило это более глубокий характер, нежели вопрос о власти в искусстве. Потерпел поражение не футуризм — потерпела поражение революция футуристов, романтическая вера в Коммуну, где не будет классов, и свободный Человек с большой буквы, «Бог-человек», будет предаваться свободному созидательному труду, создавая новый мир, более разумный, чем тот, что создал Бог, более гармоничный и прекрасный, чем все, что было создано человечеством за века его существования. Идея такой коммуны была абсолютной утопией, не имевшей в реальности русской жизни никаких оснований — ни экономических, ни социальных.

Но художники, как видно из их страстных деклараций, очень мало помышляли об экономических и социальных проблемах, ограничиваясь заявлениями типа: «Низвергая закон спроса и предложения, предоставляя каждому делать то, что ему свойственно, Коммуна делает творческую свободу достоянием всех». Их коммуна скорее всего имела прообразом художнические коммуны вроде знаменитого «Ля рюш» («Улей») — нищие и счастливые, подлинные интернационалисты, с самозабвенными спорами об искусстве, с бескорыстным творчеством и неустанным экспериментаторством, с горящими глазами и глубочайшим презрением к «буржуазности» — в их понимании не столько классовому, сколько нравственному состоянию человека.

Для Пунина и Малевича «буржуи» в искусстве — «ремесленники, подражатели ⟨...⟩ и прочая армия бездельников, пользующихся искусством как средством существования».

К идеалу подобных коммун были близки художественная школа Малевича в Витебске, театральная студия Вахтангова в Мансуровском переулке — небольшие группы влюбленной в своего учителя молодежи, одержимых творчеством единомышленников. Многое от таких «коммун» было в жизни различных художественных группировок и обществ, идейных сельскохозяйственных колоний, да и во всей жизни интелли-

[1] «Рос. ассоциация пролетарских художников» и «Ассоциация художников Револ. России».

генции 1918—1920-х годов.

«Возможна Коммуна мечтателей,— писал Андрей Белый в предисловии к № 1 журнала «Записки мечтателей».— Что есть Коммуна? Она не равенство: братство она ⟨...⟩ Устрояя Коммуну, обыкновенно проводят в ней равенство, но не равны мы, мечтатели; если бы мы были друг другу равны, то не стоило бы нам писать ⟨...⟩ В Коммуне «Мечтателей» провозгласим же не равенство; мы «Мечтатели» — лес ⟨...⟩ Рощица — целостность; в этом смысле «коммуна» она; но она растет снизу, естественно, медленно, вызревая в годах и сплетаясь вершинами листьев. Сплетение стволов иль личностей, всаженных сверху нелепыми кольями в землю и спаянных скрепами,— нас ужасает: как личности, может быть, мы бежим друг друга; но — братски мы тянемся в высях вершинами ⟨...⟩ Обособление личностей для слияния их в индивидууме песни лесной, сочетание единства и множественности...»

Наивная, святая романтика!

«Как описать эти две незабываемые зимы 1918—1919 и 1919—1920 годов,— пишет в своих воспоминаниях моя мать Н. М. Гершензон-Чегодаева, дочь писателя М. О. Гершензона.— Как передать то неповторимое, волнующее, романтическое, что было заключено в этом времени? Как описать Москву этих лет — пустынную, молчаливую, без трамваев, почти без магазинов, с очередями у хлебных лавок, с людьми, везущими на саночках свои пайки, с мешочниками и с рынками, на которых пожилые дамы в старомодных шляпах и узких ботинках на пуговках продавали кусочки кружев, рамочки и склеенные вазочки? Как рассказать о холоде промерзших квартир, о щемящем чувстве голода по вечерам, о железных печурках, о мышах, шныряющих под обеденным столом во время вечернего чая? В эти годы к нам ходило меньше людей, чем прежде, но все же были такие, которые ходили постоянно, изо дня в день. Приходили по-прежнему Андрей Белый, Вячеслав Иванов... Приходили худые, плохо одетые, в валенках; сидели в холодной столовой, через которую тянулась под потолком узкая железная труба от печурки, пили морковный чай с сахарином и вели страстные возвышенные разговоры о величии происходящих событий, о значительности того, что переживает русский народ. С горячей верой ждали чего-то нового... Душой этих разговоров был мой отец. Никогда, кажется, прежде не горели таким огнем его глаза, никогда с такой силой в нем не кипело творчество, как в это время. Он со свойственной ему страстью отзывался на все происходящие события, отзывался каждым своим нервом... Почти через четверть века после этого художник Р. Фальк рассказал мне о том, как в 1919—1920 годах он вместе с моим отцом присутствовал на каком-то заседании. Говорилось о задачах русской литературы тех дней... М. О. сказал только одну фразу. Он сказал, что для того, чтобы воплотить в литературе величие происходящих событий, нужно найти слова, равные по значительности словам Библии...»

«Библейского значения слова» находили в своем творчестве Блок и Татлин, к ним нередко приближался и страстно их искал Маяковский, ими владели Малевич и Шагал.

Как ни парадоксально это звучит сейчас, но за все 70 с лишним лет истории Советского государства самыми «библейскими» для нашего искусства были именно эти голодные, страшные, жестокие, кровью омытые годы.

КОНКУРС ДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

МАКСИМ ТРУДОЛЮБОВ
СЕРГЕЙ СУТУЛОВ
ИГОРЬ ЕЛЕОНСКИЙ
АЛЕКСЕЙ ДЬЯЧЕНКО
ЮРИЙ АСЛАНЬЯН
ЕЛЕНА ЛИПАТОВА
МИХАИЛ ВОЛОДИН

МАКСИМ ТРУДОЛЮБОВ,
19 лет,
студент
архитектурного института,
Москва

Когда под утро стихнул снег,
Осталось только свету сбыться,
Сквозить и за окном клубиться,
Мерцать, минуя тяжесть век.

И явь дробится на мгновенья,
Дрожит в домашней тесноте,
Зависшая в преполовеньи,
В уснувшей лунной духоте.

Сквозь слухи смутных очертаний,
Не помнящих касанья рук,
Сквозь строки знаков без названий
Сочится нерожденный звук.

Путь до стеченья все короче.
И все, что даром вручено,
В исходе.— Сторож, сколько ночи?
— Не долго. Погляди в окно.

СЕРГЕЙ СУТУЛОВ,
37 лет,
журналист,
Ставрополь

Что за дикая причуда?
Бред. Морока. Лабуда.
Мост, идущий ниоткуда
И ведущий в никуда.

И стоишь, как третий лишний,—
Отупев, ни слез, ни слов:
Храм, в котором крысы рыщут,
Без крестов, без куполов...

Но страшнее — до горячки! —
Бьет наотмашь, бьет под дых
Дом, в котором дети плачут.
Разве спрячешься от них?!

Не сокроют пятен блуда
Лопухи и лебеда...
Мост, идущий ниоткуда
И ведущий в никуда.

ИГОРЬ ЕЛЕОНСКИЙ,
26 лет,
грузчик,
Зеленоград

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Неясные, как блики,
Бредут, потупясь ниц,
По улицам безликим
Прохожие без лиц.

На них не стоит злиться —
Тебе нельзя помочь.
Пусть иней на ресницы,
Шутя, надышит ночь.

У рта клубится паром
Беззвучно: «Помоги!»
По снежным тротуарам
Скрипят твои шаги.

Застыла Каланчевка
Узором мерзлых шпал.
Ворочаясь неловко,

На лавках спит вокзал.
И горбясь по привычке,
Шагаешь без конца
До первой электрички,
До первого лица.

АЛЕКСЕЙ ДЬЯЧЕНКО,

33 года,
завлит молодежного театра,
Ленинград

АЭРОДРОМ

Взлета́ют «МиГи» — лампочки меняй.
Вольфрам и в колбе к тряскам почвы чуток.
И даже струи воздуха звенят,
и рассекречено случайно чудо.
Взмывают «МиГи», просушив бетон
аэродрома, опершись на дюзы...
След по лазури — газовым бинтом.
Прогнул ее тревожным грузом.
Вжигает оперенную стрелу
за волны оглушенного простора
аэродром,
сосредоточив слух
вне зон
всех пассажирских коридоров.

ЮРИЙ АСЛАНЬЯН,

34 года,
корреспондент многотиражки,
Пермь

БЕРЕГОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

Не касаясь виском оклада,
будто каждый с господом в ссоре,
снова ясные капли яда
пьем за тех, кто уходит в море.
Взять бы тех, кто встал на пути,
да спустить по клозетам разом!
Только праздник способен спасти
наш почти помутившийся разум.
Но кругами соленых плах
возвращаются к нам понедельники,
мутным утром, блестя на столах,
закипают по кухням кофейники.
Накренился штурман седой,
торопливо глотая цикорий...
И умылся соленой водой
тот, кто бросился с берега в море.

ЕЛЕНА ЛИПАТОВА,
преподаватель,
Арзамас

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Сегодня выпал город!
(То есть снег,
но город перепутал, взял — и выпал.)
Он вел себя, по правде, несолидно:
катался по раскатанным дорожкам,
бросал снежками в утренних прохожих
и что-то потихоньку напевал.

А люди шли по выпавшему парку,
которому лет сто, а то и больше,
и ничему вокруг не удивлялись...

МИХАИЛ ВОЛОДИН,
35 лет,
журналист,
Минск

О чем бы ни писал, все сводится к тебе —
к тебе, к тебе, к тебе — но кто ты есть, доныне
не знаю... Караван шагает по тропе,
тропа течет в песках, пески лежат в пустыне,
пустыня в той стране, где нет тебя, но ты
и там, и там, и там — твой след петляет рядом.
Дрожащий саксаул следит из темноты
за медленным моей души полураспадом.

Какой там караван... Стоногий седуксен
по венам семенит, внимательный к деталям.
Закрой глаза, смотри: из самых прочных стен
так просто улететь, лишь волю дай педалям,
и — пламя из ноздрей, и — ветра свист в ушах.
К тебе, к тебе, к тебе — неистово и немо.
Судьба моя стоит, грозней, чем шахиншах,
которому чужак испортил полгарема.

К тебе, к тебе, к тебе... Направо под откос,
налево под отказ, в запретные покои,
туда — в стеклянный куб, где прядь твоих волос
и мой молочный зуб, и всякое такое.
Где желудь на лету, и птица на весу,
и поцелуй пропах дремучею латынью.
Где вместе ты и я... С черновика слезу
смахну. И черновик напомнит мне пустыню.



— Просто рассказывай, Мик. Все подряд. Мы слушаем.

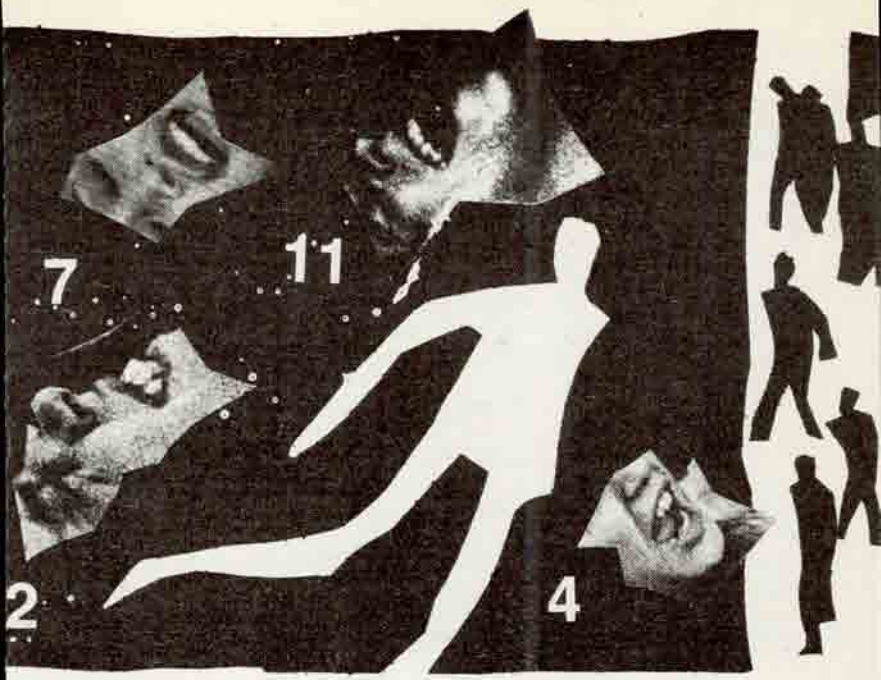
— Ну, для начала... Я знаю, что делал ужасные вещи. Если у тебя в душе хоть что-то есть, ты не убиваешь людей вот так запросто. Даже если можешь сделать это, не дотрагиваясь до человека. Даже если никто никогда не догадается, что это убийство. Все равно надо стараться себя сдерживать.

— Кто тебя этому научил?

— Никто. В смысле, об этом просто не было в книжках, которые читали нам в баптистской воскресной школе,— они там все время долдонили, что, мол, нельзя лгать, нельзя работать по субботам, нельзя пить спиртное. Но ни слова про убийства. Я так понимаю, Господь и сам порой считал, что это дело полезное,— как в тот раз, когда Самсон махнул ослиной челюстью, и готово: тысяча парней лежат замертво, но тут, мол, полный порядок, потому что они филистимляне. Или как он лисам хвосты поджигал? Самсон, конечно, псих, однако свое место в Библии заработал.

Иисус в Библии, похоже, чуть не единственный, кто учил не убивать, хотя про него там тоже много написано. Да и то помню, там было, как Господь поразил насмерть этого парня с женой, потому что они зажались и не дали ничего для христианской церкви. А уж как об этом проповедники по телевидению распинаются, Боже! Короче, нет, я вовсе не из-за религии решил, что нельзя убивать людей.

Знаете, что я думаю? Наверно, все началось с Вондела Коуна. В баптистском приюте в Идене, в Северной Каролине, мы все



время играли в баскетбол. Поле там было паршивое, в кочках, но мы считали, что так даже интереснее,— никогда не знаешь, куда отскочит мяч. Как эти парни из НБА играют, на гладком ровном полу, так-то любой сосунок сможет...

А в баскетбол мы играли целыми днями, потому что в приюте больше нечего делать. По телевизору одни проповедники. Там только кабельное: Фолвелл из Линчберга, Джим и Тэмми из Шарлотта, модный этот тип Джимми Сваггарт, Эрнест Эйнгли — вечно как побитый, Билли Грейем — ну прямо как заместитель самого Господа Бога. Короче, кроме них, наш телевизор ничего не показывал, и ничего удивительного, что мы круглый год жили на баскетбольной площадке.

А этот Вондел Коун... Роста он был не очень большого и не Бог весть как часто попадал в корзину. Дриблинг вообще у всех получался кое-как. Но зато у него были локти. Другие парни если и заденут кого, так всегда случайно. А Вондел делал это специально, да еще так, чтобы всю физиономию расквасить. Понятное дело, мы быстро приучились отваливать в сторону, когда он прет, и ему доставались все броски и все передачи.

Но мы в долгу не оставались — просто перестали засчитывать его очки. Кто-нибудь называет счет, а его бросков как будто не было. Он орет, спорит, а мы все стоим вокруг, киваем, соглашаемся, чтобы он кому-нибудь не съездил, а после очередного мяча объявляют счет и оп. ть без его бросков. Он просто из себя выходил — глаза выпучит орет, как ненормальный, а его броски

все равно никто не засчитывает. Вондел умер от лейкемии в возрасте четырнадцати лет. Дело в том, что он мне никогда не нравился.

Но кое-чему я от него все же научился. Я понял, как это мерзко добиваться своего, когда тебя не волнует, сколько вреда при этом ты принесешь другим. И когда я наконец осознал, что более вредоносного существа, чем я сам, может, и на всем свете нет, мне сразу стало ясно, как это ужасно. Я имею в виду, что даже в Ветхом Завете Моисей говорил: наказание, мол, должно отвечать преступлению. Око за око, зуб за зуб. Квиты, как говаривал старик Пелег до того, как я убил его затяжным раком. Я и сбежал-то из приюта, когда Пелега забрали в больницу. Потому что я не Вондел, и меня действительно мучило, когда я делал людям зло.

Но это ничего не объясняет... Я не знаю, о чем вы хотите услышать.

— Просто рассказывай, Мик. Говори о чем хочешь.

— Ладно, я в общем-то и не собирался рассказывать вам про всю свою жизнь. По-настоящему я начал понимать, в чем дело, когда сел на тот автобус в Роаноке, так что отсюда можно, видимо, и начать. Помню, я еще очень старался не разозлиться, когда у леди впереди меня не оказалось мелочи на проезд. Я даже не завелся, когда водитель велел ей выходить. Оно просто не стоило того, чтобы за это убивать. Я всегда так себе говорю, когда начинаю злиться — мол, не за что тут убивать,— и это помогает успокоиться. Короче, я протянул мимо нее руку и сунул в щель долларовую бумажку.

— Это за нас обоих,— говорю.

А он в ответ:

— У меня тут не разменная касса. Сдачи нет!

Надо было просто сказать: ладно, мол, оставь себе, но он так по-скотски себя вел, что мне захотелось поставить его на место. Я просунул в щель еще пять центов и сказал:

— Тридцать пять за меня, тридцать пять за нее и еще тридцать пять за следующего, у кого не окажется мелочи.

Может, я его и спровоцировал. Жаль, конечно, но я ведь тоже живой человек. Он совсем завелся.

— Ты у меня поострижешь еще, сопляк. Возьму вот и вышвырну тебя из автобуса.

Честно говоря, он не имел на то права. Я белый, пострижен коротко, так что, если бы я пожаловался, его босс, возможно, устроил бы ему веселую жизнь. Можно было сказать ему это, и он бы, наверно, заткнулся. Только я бы тогда слишком завелся, а никто не заслуживает смерти за то лишь, что он свинья. Короче, я опустил взгляд к полу и извинился — не «Извините, сэр» или что-нибудь этакое, вызывающее — а тихо так, даже искренне.

Если бы он на этом и замял дело, все кончилось бы хорошо, понимаете? Да, я, конечно, здорово разозлился, но я уже приучил себя сдерживаться, вроде как затыкать злость и потом потихоньку ее стравливать, чтобы никому не причинить вреда. Но он так рванул автобус вперед, что я едва не полетел на пол

и удержался на ногах только потому, что схватился за поручень и чуть не раздавил сидевшую сзади женщину.

Несколько человек что-то крикнули, вроде как возмутились. Потом-то я понял, что кричали водителю, а не мне, но в тот момент показалось, что кричат мне, да еще я испугался, оттого что чуть не упал, и уже здорово разозлился... Короче, я не сдержался. Ощущение возникает такое, будто у меня в крови искры, перетекающие по всему телу, и я метнул этот импульс прямо в водителя автобуса. Он был у меня за спиной, поэтому я не видел его самого, но почувствовал, как искры попали в него, перекорежив что-то внутри, а затем все прошло, и это ощущение исчезло. Я больше не злился, но знал, что он уже конченый человек.

Даже знал, почему. Печень. К тому времени я стал настоящим экспертом по раковым опухолям. Ведь почти все, кого я знал, умирали от рака на моих глазах. Кроме того, я прочел все, что было на эту тему в иденской библиотеке. Можно жить без почек, можно вырезать у человека легкое, можно вырезать даже толстую кишку, и человек будет ходить с мешком в штанах, но никто не может выжить без печени, а пересаживать ее еще не умеют. Одним словом, ему конец. От силы два года осталось. Всего два года — и только потому, что из-за плохого настроения он решил дернуть автобус, чтобы сбить с ног мальчишку-остряка.

Я себя чувствовал полным дерьмом. Прошло уже почти восемь месяцев с тех пор, как я в последний раз кому-то навредил — это еще до рождества случилось. Весь год я держал себя в руках — дольше, чем когда бы то ни было, и мне начало казаться, что я справился с собой... Я пробрался мимо той леди, на которую меня швырнуло, и сел у окна, глядя наружу, но ничего не замечая. У меня только одна мысль крутилась в голове: мне жаль, что так вышло, мне жаль... Ведь у него, наверно, есть жена и дети. А из-за меня они очень скоро станут сиротами. Со своего места я чувствовал, что происходит у водителя внутри: маленький искристый участок у него в животе, заставляющий опухоль разрастаться и мешающий естественному огню организма выжечь его насовсем. Мне с невероятной силой хотелось вернуть все назад, но я не мог. И, как много раз раньше, мне подумалось, что, не будь я таким трусом, я бы давно покончил с собой. Непонятно только, почему я сам не умер от своего рака — ведь себя я ненавидел больше, чем кого бы то ни было в жизни.

Женщина, сидевшая рядом, заговорила:

— Такие люди могут кого угодно из себя вывести, верно?

Я не хотел ни с кем разговаривать, поэтому просто буркнул что-то и отвернулся.

— Я очень признательна вам за помощь.

Только тут я понял, что это та самая леди, у которой не оказалось мелочи.

— Не за что.

— Право же, не стоило...— Она тронула меня за джинсы.

Я повернулся и взглянул на нее: старше меня, лет двадцать

пять, и очень даже ничего. Одета вполне прилично, так что, понятно, не бедная, и мелочи на дорогу у нее не оказалось совсем не поэтому. Она так и не убрала руку с моей коленки, и мне стало немного не по себе, потому что зло, которое я способен сделать, гораздо сильнее, когда есть прямой контакт,— обычно я стараюсь никого не трогать и нервничаю, когда дотрагиваются до меня. Быстрее всего, помню, я убил человека, когда один тип принялся лапать меня в туалете на остановке по шоссе 1-85. Буквально изорвал его всего внутри, и, когда я выходил, он уже харкал кровью. Меня до сих пор, бывает, мучают кошмары: он меня щупает, а сам уже задыхается.

Короче, от всего этого я немного нервничал, хотя никакого вреда в ее прикосновении не было. Вернее, только наполовину от этого: рука ее касалась моей коленки совсем легко, и краем глаза я видел, как вздымается ее грудь, когда она дышит, а мне в конце концов семнадцать лет, и во всем остальном я совершенно нормальный человек. Так что мне не совсем хотелось, чтобы она убирала руку.

Но лишь до тех пор, пока она не улыбнулась и не сказала:

— Мик, я хочу помочь тебе.

Я даже не сразу сообразил, что она назвала меня по имени. В Роаноке я мало кого знал и уж ее-то точно не помнил. Мне еще подумалось, что она, может быть, одна из заказчиц мистера Кайзера, но кто из них знает меня по имени?.. Конечно, она могла видеть, как я работаю на складе, расспросить обо мне мистера Кайзера, поэтому я поинтересовался:

— Вы что, бываете у мистера Кайзера?

— Мик Уингер, тебе досталось такое имя, потому что оно было написано на записке, приколотой к одеялу, когда тебя нашли у дверей станции по очистке канализационных стоков в Идене. А эту фамилию ты взял, сбежав из баптистского приюта, и выбрал именно ее, потому что первым фильмом, который ты посмотрел, оказался «Офицер и джентльмен». Тогда тебе было пятнадцать, а сейчас исполнилось семнадцать, и за всю свою жизнь ты убил больше людей, чем сам Аль Капоне.

Я здорово занервничал, дернул шнур, чтобы шофер остановил автобус, буквально перелез через нее к выходу и спустя три секунды уже несся бегом по улице. Я всю жизнь боялся, что кто-нибудь про меня узнает. Но тут было еще страшнее — она как будто знала про меня уже давно. У меня возникло такое чувство, словно кто-то много лет подглядывал за мной через окошко в туалете, а я только сейчас это понял.

Бежал я довольно долго, а в Роаноке это не очень-то легко, потому что там сплошные холмы. Впрочем, больше получалось вниз, к центру города, где, я подумал, можно будет нырнуть в какое-нибудь здание и выскочить через черный ход.

На бегу я пытался придумать, куда мне теперь деваться. Из города, понятно, надо сматываться. Вернуться на склад я не мог, и от этого мне стало немного грустно: мистер Кайзер подумает, что я убежал просто так, без причины, как будто мне нет дела до людей, которые, может быть, на меня рассчитывают. Он будет беспокоиться, поскольку я даже не

забрал свою одежду из той комнаты, куда он пустил меня.

Я себя как-то странно чувствовал, представляя, что подумает обо мне мистер Кайзер, но Роанок — это не приют, не Иден и не Северная Каролина. Оставляя те места позади, я ни о чем не жалел. А вот мистер Кайзер... С ним всегда все было честь по чести, отличный старикан,— никогда не строил из себя большого босса, никогда не старался показать, что я хуже его, даже заступался за меня, давая остальным понять, чтобы меня не дергали и не заводили. Он взял меня на работу года полтора назад, хотя я соврал, что мне уже шестнадцать, и он наверняка это понял. За все это время я ни разу не разозлился на работе, по крайней мере настолько, чтобы, не сумев остановиться вовремя, причинить кому-нибудь зло. Вкалывать приходилось дай Бог: я здорово накачался, нарастил мускулатуру — даже не думал никогда, что у меня такая будет,— и вырос дюймов на пять. Короче, деньги свои отрабатывал и вкалывал наравне с другими. Мистер Кайзер ни разу не заставил меня почувствовать, что я там из милости, как это делали люди в приюте: мы, мол, должны быть благодарны, что нас не бросили где-нибудь подыхать с голоду. В «Мебельном складе Кайзера» я впервые почувствовал какой-то покой в душе, и за то время, что я там проработал, никто из-за меня не умер.

Все это я знал и раньше, но, только ударившись в бега, понял, как жалко мне оставлять Роанок. Тоскливо, будто умер кто-то из близких. И так мне стало плохо, что какое-то время я просто не видел, куда иду, хотя не плакал и вообще ничего такого.

Вскоре я очутился на Джефферсон-стрит, где она прорезает лесистый холм. Дальше улица расширяется, и там полно закусочных и пунктов проката автомобилей. Машины проносились мимо меня в обе стороны, но я думал в тот момент совсем о другом. Пытался понять, почему я ни разу не разозлился на мистера Кайзера. Мне и раньше встречались люди, которые обращались со мной по-человечески; меня вовсе не колотили каждую ночь, и в обносках я не ходил, и мне не приходилось выбирать между собачьими консервами или голодом. Я вспоминал всех этих людей в приюте — они честно пытались сделать меня христианином и дать образование. Другое дело, что они попросту не научились делать добро без того, чтобы при этом не обидеть. Вот как старый Пелег, например, наш дворник, негр — нормальный старикан, он нам постоянно всякие истории травил, и я никому не позволял называть его «нигером» даже за глаза. Но он и сам был расистом — я это понял еще с того раза, когда он застукал нас с Джоди Кейпелом: мы с ним мочились на стену и соревновались, кто за один заход сумеет больше раз остановиться. Мы ведь делали одно и то же, верно? Однако меня он просто прогнал, а Джоди устроил выволочку. Тот орал как резаный, а я все кричал, что это, мол, нечестно, что я делал то же самое, что он лупит Джоди, потому что тот черный, но Пелег не обращал на меня никакого внимания. Глупо, конечно, и мне совсем не хотелось получить трепку, но так я от всего этого разозлился, что у меня внутри опять заискрилось,

и я уже не мог удержаться: в тот момент я вцепился Пелегу в руку — хотел оттащить его от Джоди — и влепил ему на всю катушку.

Что я мог ему сказать? Тогда или позже, навещая его в больнице, где он лежал с капельницей и иногда с трубкой в носу. Пелег рассказывал мне разные истории, когда мог говорить, или просто держал за руку, когда не мог. Раньше у него было брюшко, но ближе к концу я, наверно, сумел бы его подбросить на руках, как ребенка. И это сделал с ним я! Не нарочно, но так уж вышло. Даже у людей, которых я любил, случались паршивые дни, и если я оказывался рядом, я ничего не мог им дать, зато мог отобрать. Отобрать все. Меня пытались убедить, что, мол, ни к чему ходить и смотреть, как он угасает. Особенно старались удержать меня мистер Ховард и мистер Деннис, и каждый из них заработал по раковой опухоли. В те дни так много людей вокруг умирали от рака, что из округа приехали проверить воду на химикаты. Я-то знал, что химикаты тут ни при чем, но никому ничего не говорил, иначе меня просто заперли бы в психушку. Если бы это случилось, можете не сомневаться, там спустя неделю началась бы целая эпидемия.

На самом деле я очень долгое время просто не знал, что это происходит из-за меня. Люди вокруг продолжали умирать — все, кого я любил,— и почему-то они всегда заболевали после того, как я на кого-нибудь по-настоящему разозлюсь. Знаете, маленькие дети всегда чувствуют вину, если на кого-то накричат, а человек вскоре умирает. Воспитательница даже сказала мне, что это совершенно естественное чувство и, разумеется, я ни в чем не виноват, но мне все равно казалось, что здесь что-то не так. В конце концов я начал понимать, что у других людей нет этого ощущения искристости, и, чтобы узнать, как человек себя чувствует, им надо или посмотреть, или спросить. Я, например, еще раньше учительниц знал, когда у них начнутся месячные, и, сами понимаете, в эти склочные дни старался, если можно, держаться от них подальше. Я просто чувствовал это, как будто от них искры летели. А некоторые люди, к примеру, умели вроде как притягивать тебя без слов, без ничего. Ты просто идешь в комнату и не можешь оторвать от них взгляд, стремишься быть рядом. Я замечал, что другие ребята тоже что-то улавливают и просто слепо их любят. Мне же казалось, что они будто горят, а сам я замерз и мне нужно согреться. Правда, если я что-то такое говорил, на меня смотрели, как на ненормального, и в конце концов я понял, что никто, кроме меня, ничего не чувствует.

А когда это стало понятно, все те смерти тоже вроде как получили объяснение. Все те раковые опухоли, все те дни, что люди провели на больничных койках, превращаясь перед смертью в мумии, вся боль, которую они испытывали, пока врачи не накачивали их наркотиками до беспамятства, чтобы они не раздирали себе кишки, пытаясь добраться до этой дикой боли. Искромсанные, изорванные, накачанные наркотиками, облученные, полысевшие, исхудавшие, молящие о смерти люди — и я понимал, что все это из-за меня.

Двадцать пять человек, о которых я знал, и, возможно, еще больше, о которых не подозревал.

А когда я убежал, стало еще хуже. Я передвигался автостопом, но всегда боялся людей, которые меня подсаживали, и если они начинали цепляться, я их «искрил». Легавые, которые меня отовсюду гоняли,— им тоже перепадало. Пока до меня не дошло, что я — сама Смерть, брожу по свету с косой, в капюшоне, закрывающем глаза, и каждому, кто окажется рядом, уже не миновать кладбища. Да, так я про себя и думал — самое страшное существо на свете. Разрушенные семьи, дети-сироты, матери, рыдающие над мертвыми детьми,— ходячее воплощение того, что люди ненавидят больше всего в жизни. Однажды я прыгнул с парапета на шоссе, но только повредил ногу. Старый Пелег всегда говорил, что я, как кошка, и, чтобы меня убить, надо содрать с меня шкуру, поджарить и съесть мясо, затем выдубить кожу, сделать из нее шлепанцы, сносить их до дыр, сжечь, что осталось, и перемешать пепел,— вот тогда я точно умру. Наверно, он прав, потому что я все еще жив, и это просто чудо после того, что со мной случилось недавно.

Короче, я шел по Джефферсон-стрит и думал обо всем об этом, но тут заметил машину, что проехала в противоположную сторону и развернулась. Водитель догнал меня и, проехав чуть вперед, затормозил. Я был напуган и уже собрался дернуть вверх по холму, когда понял, что это мистер Кайзер.

— Я как раз ехал в противоположную сторону. Хочешь, подброшу до работы, Мик?

Я не мог ему сказать, что задумал, и потому просто отказался:

— Как-нибудь в другой раз, мистер Кайзер.

— Ты от меня уходишь, Мик?

Я стоял и думал про себя: «Только не спорьте со мной, мистер Кайзер, ничего не надо, просто оставьте меня в покое, я не хочу вам зла, но я так заряжен виной и ненавистью к самому себе, что я сейчас как ходячая смерть, ждущая, кому бы приложить. Неужели вы не видите эти искры, что сыплются с меня во все стороны, как брызги с вымокшей собаки?..» Но вслух сказал:

— Я не хочу сейчас разговаривать, мистер Кайзер. Не хочу.

Вот тут бы ему и прочесть лекцию о том, что мне нужно учиться ответственности; что, если я не хочу говорить с людьми о важном, то как же меня кто-нибудь поймет правильно; что жизнь — это не одно только сплошное удовольствие и иногда приходится делать вещи, которые делать не хочется; что он относился ко мне лучше, чем я того заслуживаю; что его, мол, предупреждали: бродяга, никчемный, неблагодарный и все такое...

Но он ничего этого не сказал, а просто спросил:

— У тебя какие-нибудь неприятности, Мик? Я могу одолжить тебе денег. Я знаю, ты потом отдашь.

— Не хочу ничего занимать.

— Если ты от кого-то бежишь, то давай лучше вернемся. Там ты будешь в безопасности.

Ну что я мог сказать? Это вы, мистер Кайзер, в опасности, а я тот человек, который, возможно, вас убьет? И я ничего не

ответил. Он помолчал и просто кивнул, положив руку мне на плечо.

— Ладно, Мик. Но если тебе понадобится работа, возвращайся ко мне. Когда осядешь где-нибудь на время, напиши, и я вышлю тебе твои вещи.

— Просто отдайте их.

— Что? «Старый-жмот-еврей-сукин-сын» вроде меня отдаст кому-то что-то за просто так?

Я не выдержал и рассмеялся, потому что именно так называл мистера Кайзера бригадир грузчиков, когда думал, что старик его не слышит. И, рассмеявшись, почувствовал, что остыл: словно я горел, и кто-то облил меня холодной водой.

— Береги себя, Мик.— Он протянул мне свою визитную карточку и двадцать долларов, а когда я отказался от денег, засунул бумажку мне в карман. Затем сел в машину, развернулся, как он иногда делает, прямо поперек движения, и рванул к складу.

Как бы то ни было, он, во всяком случае, немного вправил мне мозги. А то я шлепал вдоль шоссе, где меня мог увидеть любой, как увидел мистер Кайзер. Пока я еще в пределах города, мне следовало держаться подальше от людских глаз. Короче, я как раз стоял между двумя холмами, довольно крутыми и поросшими зеленью, и решил, что надо забраться либо на тот, либо на этот. Однако холм через дорогу от меня почему-то показался мне лучше, чем-то привлекательнее, и я подумал, что это тоже довод ничуть не хуже любого другого. Увертываясь от машин, я перебежал Джефферсон-стрит и полез вверх. Под деревьями лежала густая тень, но прохладней от этого не стало — наверно, потому, что я карабкался изо всех сил и здорово взмок.

Когда я наконец добрался до вершины, земля вдруг затряслась. Я здорово струхнул — подумал, что началось землетрясение,— но потом услышал гудок тепловоза и догадался, что это один из тех тяжелых грузовых поездов с углем, от которых так земля трясется, что вьюнки со стен отрываются. Я стоял и слушал, как он грохочет в туннеле, а шум накатывал буквально со всех сторон. Потом выбрался из зарослей на поляну.

И увидел под деревом ее.

Я слишком устал, чтобы бежать, и слишком был напуган, когда наткнулся на нее вот так неожиданно, думая, что мне удалось спрятаться от всех. Получилось, будто я шел прямо к ней, словно она потянула меня за веревочку через дорогу и дальше на холм. А раз уж она на такое способна, то как я мог убежать? Куда? Сверну где-нибудь за угол, а она тут как тут. Я остановился и спросил:

— Ладно, что тебе от меня нужно?

Она просто поманила меня рукой, и я подошел, но не очень близко, потому что не знал, что у нее на уме.

— Садись, Мик,— сказала она.— Нам нужно поговорить.

Мне, понятно, не хотелось ни рассиживаться там, ни говорить с ней, только смыться подальше и поскорее. И я пошел прочь от нее, но, сделав три шага, обнаружил, что иду не от нее, а вокруг. Как про планету в научном классе, про это самое тяготение:

вроде рвешься куда-то, а все равно крутишься вокруг. Как будто моими ногами уже не я командовал, а она.

Короче, я сел, и она сказала:

— Тебе не следовало от меня убегать.

В тот момент, сказать по правде, я почему-то больше думал, надето ли у нее что под рубашкой. Потом вдруг понял, как глупо об этом думать именно сейчас.

— Пообещай мне, что никуда не уйдешь, пока мы не закончим разговор,— сказала она и чуть шевельнулась — на секунду ее одежда стала вроде как прозрачной/

Я просто глаз оторвать не мог и пообещал остаться.

В то же мгновение она вдруг превратилась в самую обычную женщину. Не уродину, конечно, но и не настолько уж красивую. Одни лишь глаза горели. Я снова испугался, и мне захотелось уйти: теперь я начал понимать, что она что-то такое со мной делает. Однако я дал слово и остался на месте.

— Вот так это и началось,— сказала она.

— Что именно?

— То, что ты чувствовал. То, что я заставила тебя почувствовать. Это действует только на людей вроде тебя. Другие ничего не улавливают.

— Что я чувствовал? — Я догадывался, что она имеет в виду, но не знал наверняка, говорим ли мы об одном и том же. И меня здорово раздражало, что она понимает, как я о ней думал несколько минут назад.

— А вот что,— сказала она, и у меня снова не осталось в голове ни одной мысли, кроме как о ней.

— Прекрати,— попросил я.

— Уже.

— Как ты это делаешь?

— Это все умеют понемногу. Женщина глядит на мужчину, и, если он ей интересен, ее биоэлектрическая система срабатывает и меняет определенные запахи, он их чувствует и обращает внимание.

— А наоборот?

— Мужчины свои запахи всегда издают, Мик. Погоды это не делает. Если женщине что-то приходит в голову, то отнюдь не из-за крепкого мужского духа. И, как я говорила, это умеют все. Только на некоторых мужчин действует не запах женщины, а сама ее биоэлектрическая система. Запах — это ерунда. Ты чувствуешь тепло огня. То же самое происходит, когда ты убиваешь людей, Мик. Если бы ты не мог этого делать, ты бы не воспринимал так сильно мои притягивающие импульсы.

Конечно, я не все сразу понял.

Я был напуган тем, что она все про меня знала и могла делать со мной, что захочет, но в то же время меня обрадовало, что она, похоже, знала какие-то ответы на мучившие меня вопросы. Например, почему я убиваю людей, хотя совсем к этому не стремлюсь.

Однако когда я попросил ее объяснить про меня, она не смогла.

— Мы еще только начинаем познавать себя, Мик. В Швеции

есть один ученый, который работает в этом направлении, и мы посылали к нему кое-кого из наших людей. Мы читали его книгу, и кто-то из нас, возможно, даже ее понял. Но я должна сказать, Мик, что из-за одних только наших способностей мы не становимся умнее других. Никто из нас не заканчивает колледж быстрее — только преподаватели, которые срезают нас на экзаменах, умирают, как правило, несколько раньше других.

— Значит, ты такая же, как я! Ты тоже это умеешь!

Она покачала головой.

— Нет, пожалуй. Если я очень на кого-то разозлюсь, если я буду ненавидеть этого человека и очень-очень стараться не одну неделю, тогда, может быть, он заработает у меня язву. Твои же способности совсем на другом уровне. Твои и твоих родственников.

— У меня нет никаких родственников.

— Есть, и именно поэтому я здесь, Мик. Эти люди с самого твоего рождения знали, на что ты способен. Они знали, что, не получив вовремя материнскую грудь, ты будешь не просто плакать, нет,— ты будешь убивать. Сеять смерть прямо из колыбели. И они спланировали твою жизнь с самого начала. Поместили тебя в приют, позволив другим людям, всем этим доброхотам, болеть и умирать, с тем чтобы после, когда ты научишься обуздывать свои способности, разыскать тебя, рассказать, кто ты есть, и вернуть домой.

— Значит, ты тоже из моих родственников? — спросил я.

— Нет,— ответила она.— Я здесь потому, что должна предупредить тебя о них. Мы наблюдали за тобой долгие годы, и теперь пришло время.

— Пришло время? Теперь? Я пятнадцать лет провел в приюте, убивая всех, кто обо мне заботился! Если бы они пришли и сказали: Мик, ты должен сдерживаться, ты несешь людям страдания и смерть. Если бы кто-то просто сказал: Мик, мы твои родные, и с нами ты будешь в безопасности,— тогда я, может быть, не боялся бы всего на свете так сильно и не убивал бы людей. Это вам не пришло в голову?

Я вдруг заметил, как она напугана, потому что весь «заискрился», и понял, что еще немного, и я метну весь этот смертоносный поток в нее. Я отпрыгнул назад и закричал: «Не смей меня трогать!» Прикоснись она ко мне, я бы уже не сдержался, и тогда мой заряд ненависти пронзил бы ее насквозь, превратив ее внутренности в искромсанное месиво. Но она тянулась ко мне, наклоняясь все ближе и ближе, а я отползал, упираясь локтями в дерево, потом вцепился в него руками, и оно словно всосало все мои искры — я как будто сжег его изнутри. Может, убил, не знаю. А может, оно было слишком большое, и ничего с ним не сделалось, но, так или иначе, дерево вытянуло из меня весь огонь, и в этот момент она до меня все-таки дотронулась — никто никогда так ко мне не притрагивался: ее рука лежала у меня за спиной и обнимала за плечо, а губы почти над самым ухом шептали: «Мик, ты ничего мне не сделал».

— Оставь меня в покое,— сказал я.

— Ты не такой, как они, разве тебе непонятно? Им нравится убивать, они делают это ради выгоды. Только им до тебя далеко. Им обязательно нужно дотронуться или быть очень близко. И воздействовать приходится дольше. Они сильнее меня, но до тебя им далеко. Они непременно захотят прибрать тебя к рукам, Мик, но в то же время они будут настороже. И знаешь, что напугает их больше всего? То, что ты не убил меня, и то, что ты способен сдерживать себя вот так.

— Не всегда. Этот водитель автобуса...

— Да, ты не совершенен. Но ты стараешься. Стараешься не убивать. Разве ты не видишь, Мик? Ты не такой, как они. Может, они твоя кровная родня, но ты не их породы, и они поймут это, а когда поймут...

Из всего, что она сказала, у меня в мыслях застряли только слова о кровной родне.

— Мама и папа... Ты хочешь сказать, что я их увижу?

— Они зовут тебя прямо сейчас, и поэтому я должна была тебя предупредить.

— Зовут?

— Да, так же, как я призвала тебя на этот холм. Только я не одна, конечно, это сделала, нас было много.

— Я просто решил забраться сюда, чтобы не торчать на дороге.

— Просто решил пересечь шоссе и влезть на этот холм, а не на тот, ближний? Вот так оно и действует. У человечества всегда присутствовала эта способность, только мы о ней не догадывались. Группа людей может вроде как сгармонизировать свои биоэлектрические системы, позвать кого-нибудь домой, и спустя какое-то время человек приходит. А иногда целые нации объединяются в своей ненависти к кому-то одному.

— Почему вы меня просто не убили? — спросил я.

А она спокойно так, словно у нас любовный разговор,— и лицо ее близко-близко — говорит:

— Я не раз смотрела на тебя сквозь прицел, Мик, но так и не сделала этого. Потому что разглядела в тебе что-то особенное. Может быть, я поняла, что ты пытаешься бороться с собой. Что ты не хочешь использовать свою способность, чтобы убивать. И я оставила тебя в живых, думая, что однажды окажусь рядом, вот как сейчас, и, рассказав тебе, что знаю, подарю немного надежды.

Я подумал, что она, может, имеет в виду надежду узнать когда-нибудь, что родители живы и будут рады встрече со мной, и сказал:

— Я слишком долго надеялся, но теперь мне ничего не надо. После того как они бросили меня и оставили в приюте на столько лет, я не хочу их видеть, и тебя тоже: ни ты, никто другой даже пальцем не пошевелили, когда можно было предупредить меня, чтобы я не заводился на старого Пелега. Я не хотел его убивать, но просто ничего не мог с собой сделать! Мне никто не помог!

— Мы спорили об этом. Мы ведь знали, что ты убиваешь людей, пытаясь разобраться в себе и укротить эту твою способ-

ность. Подростковый период еще хуже, чем младенчество, и мы понимали, что, если тебя не убить, умрет много людей, в основном те, кого ты любишь. То же самое происходит с большинством подростков в твоем возрасте: больше всего они злятся на тех, кого любят, но ты при этом еще и убиваешь, да, против своей воли. Но как это отражается на твоей психике? Что за человек из тебя вырастает? Некоторые из нас говорили, что мы не имеем права оставлять тебя в живых, даже для изучения,— это, мол, все равно, что заполучить лекарство от рака и не давать его людям только из желания узнать, как скоро они умрут. Как тот эксперимент, когда правительственные чиновники распорядились не лечить нескольких больных сифилисом, чтобы выяснить в подробностях, как протекают последние стадии, хотя этих людей можно было вылечить в любой момент. Но другие говорили: Мик не болезнь, и пуля не пенициллин. Я сама говорила им, что ты особенный. Да, соглашались они, особенный, но он убивает больше, чем другие детишки. Тех мы стреляли, сбивали грузовиками, топили; теперь нам попался самый страшный из них, а ты хочешь сохранить ему жизнь.

Я, ей-богу, даже заплакал, потому что лучше бы они меня убили; но я впервые узнал, что есть люди, которые из-за меня спорят, и кто-то считает, что я должен жить. И хотя я не понял тогда, да и сейчас не понимаю до конца, почему меня не убили, вот это меня, может, и проняло, что кто-то знал про меня и все же решил не нажимать на курок. Я тогда разревелся, как ребенок.

Короче, я плачу, а она меня обнимает и все такое, и до меня вскоре дошло ее желание, чтобы я ее сделал прямо там. Но когда понял это, мне даже стало как-то противно.

— Как ты можешь об этом думать? — говорю.— Мне нельзя ни жениться, ни иметь детей! Они будут такие же, как я!

Я натянул штаны, застегнул рубашку и даже не повернулся к ней, пока она одевалась.

— Я могла бы заставить тебя,— сказала она.— Могла. Эта способность, что позволяет тебе убивать, делает тебя очень восприимчивым. Я могла бы заставить тебя совсем потерять голову от желания...

— Почему же ты этого не сделала?

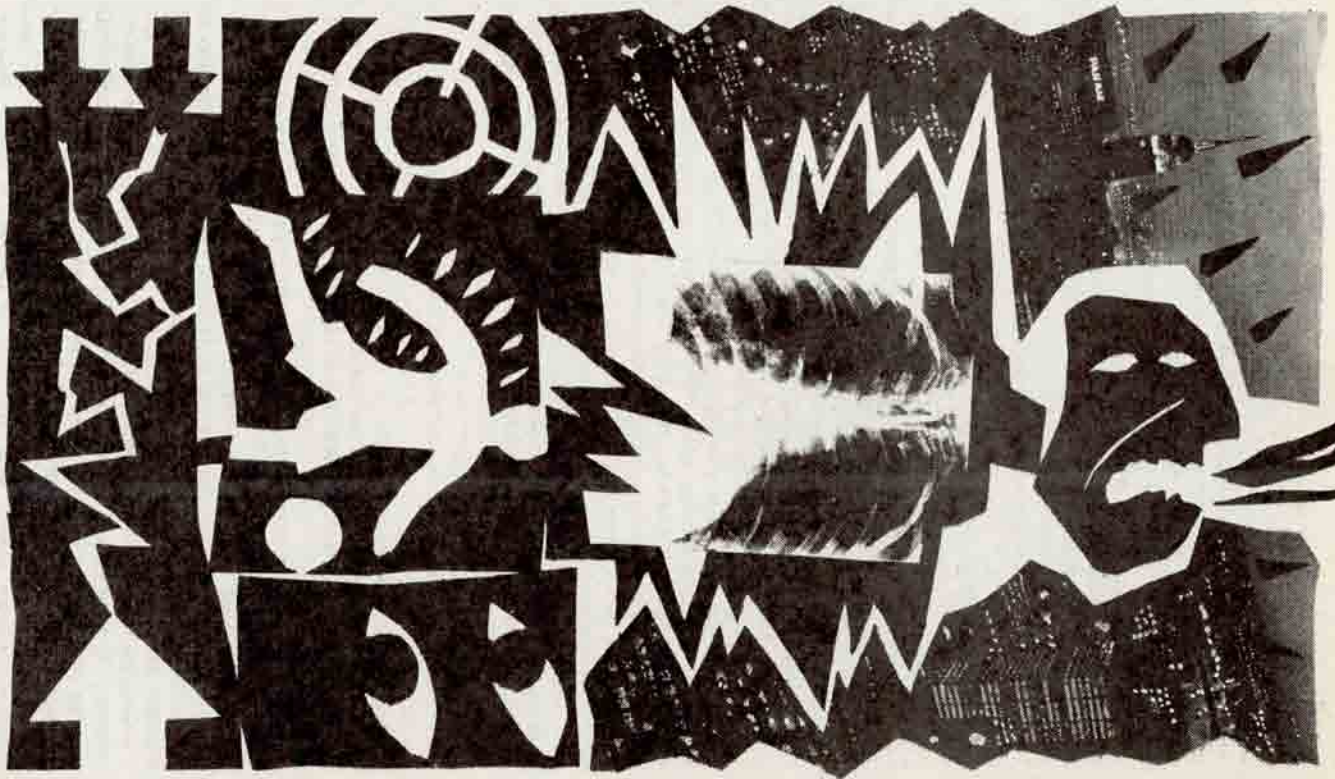
— А почему ты не убиваешь, когда можешь с собой справиться?

— Потому что никто не имеет на это права.

— Вот именно.

— И потом ты лет на десять старше меня.

— На пятнадцать. Я почти в два раза старше тебя. Но это не важно.— Или, может, она сказала: «Это не имеет значения. Если ты уйдешь к своим, можешь не сомневаться, у них для тебя уже приготовлена какая-нибудь милашка, и уж она-то, точно, лучше меня знает, как это делается. Она тебя так накрутит, что ты сам из штанов выпрыгнешь, потому что именно этого они от тебя и хотят. Им нужны твои дети. Как можно больше. Ведь ты сильнее всех, кто у них был с тех пор, как дедуля Джейк понял, что способность напускать порчу переда-



Рисунки ВЛАДИСЛАВА ГУЗНЕРА

ется по наследству и можно плодить таких людей, как собак или лошадей. Они тебя используют как племенного быка, но когда узнают, что тебе не нравится убивать, что ты не с ними и не собираешься выполнять их приказы, они тебя убьют. Вот поэтому я и явилась предупредить, что они уже зовут тебя. Мы знали, что пришло время, и вот я здесь».

Я еще много чего не понял тогда. Сама мысль, что у меня есть какие-то родственники, уже казалась странной, и я даже как-то не беспокоился, убьют они меня или будут как-то использовать. Больше всего я думал в тот момент о ней.

— Я ведь мог тебя убить.

— Может, мне было все равно,— сказала она.— А может, это не так просто.

— Ты все-таки скажешь, как тебя зовут?

— Не могу.

— Почему?

— Если ты станешь на их сторону и будешь знать, как меня зовут, тогда-то меня точно убьют.

— Я бы никому не позволил.

Она ничего на это не ответила, потом подумала и сказала:

— Мик, ты не знаешь, как меня зовут, но запомни одно: я надеюсь на тебя, верю в тебя, потому что знаю, ты хороший человек и никогда не хотел никого убивать. Я могла бы заставить тебя полюбить меня, но не сделала этого, потому что хочу, чтобы ты сам выбирал, как тебе поступить. А самое главное, если ты будешь на нашей стороне, у нас появится шанс узнать, какие хорошие стороны есть у этой твоей способности.

Понятное дело, я об этом тоже думал. Когда я увидел в кино, как Рэмбо косит всех этих маленьких коричневых солдат, мне пришло в голову, что и я так могу, только без всякого оружия. А если бы меня взяли в заложники, как в том случае с Ахиллом Лауро, никому бы не пришлось беспокоиться, что террористы останутся безнаказанными: они бы у меня в два счета оказались в больнице.

— Ты на правительство работаешь? — спрашиваю.

— Нет.

Значит, в качестве солдата я им не нужен. Мне даже жаль стало: я думал, что был бы полезным в таком деле. Но я не мог пойти добровольцем, потому что... Нельзя же в самом-то деле заявиться в вербовочный пункт и сказать: я, мол, убил несколько десятков людей, испуская из себя искры, и, если вам нужно, могу сделать то же самое с Кастро или Каддафи. Если тебе поверят, значит, ты убийца, а если нет, просто запрут в дурдом.

— Меня никто никуда не звал, между прочим,— говорю.— Если бы я не столкнулся с тобой в автобусе, я бы никуда не сбежал и остался у мистера Кайзера.

— Да? А зачем ты тогда снял со счета в банке все свои деньги? И когда ты сбежал от меня, почему рванул к шоссе, откуда можно добраться по крайней мере до Мадисона, а там подсесть к кому-нибудь до Идена?

Ответить мне было в общем-то нечего, потому что я и сам толком не знал, зачем взял все деньги. Я как-то сразу решил:

закрою счет, и все тут — даже не думал об этом, а просто запихал три сотни в бумажник и действительно двинул к Идену, только совсем об этом не задумывался, ну точно так же, как я на тот холм влез.

— Они сильнее нас,— продолжила она.— Поэтому мы не можем тебя удержать. Тебе придется уйти и самому во всем разобраться. У нас только и вышло, что посадить тебя на автобус, а потом заманить на этот холм.

— Тогда почему тебе не пойти со мной?

— Меня убьют в два счета, прямо на твоих глазах — и без всяких там напусканий порчи, просто снесут голову мачете.

— Они о тебе знают?

— Они знают о нас. Мы единственные, кому известно об их существовании, и, кроме нас, их остановить некому. Не буду тебя обманывать, Мик: если ты встанешь на их сторону, ты сумеешь нас найти — этому нетрудно научиться. И, поскольку ты способен убивать на большом расстоянии, у нас не будет никаких шансов. Но если ты останешься с нами, тогда перевес окажется на нашей стороне.

— Может, я вообще не хочу участвовать в этой вашей войне, и, может, я не поеду ни в какой Иден, а отправлюсь в Вашингтон и поступлю в ЦРУ.

— Может быть.

— И не вздумай меня останавливать.

— Не буду.

— Вот так-то.— Я просто встал и ушел. На этот раз не ходил уже кругами, а сразу двинулся на север, мимо ее машины вниз к железной дороге. Подсел к какому-то типу, что ехал в округ Колумбия, и дело с концом.

Часов в шесть вечера я вдруг проснулся. Машина остановилась, и я никак не мог понять, где нахожусь: должно быть, проспал целый день. А этот тип говорит:

— Ну вот, приехали. Иден, Северная Каролина.

Я чуть не обделался.

— Как Иден?!

— Мне почти по пути было,— говорит.— Я собирался в Берлингтон, а эти сельские дороги в общем-то лучше автострад. Хотя, сказать по правде, я не расстроюсь, если мне никогда больше не придется ездить по 1-85.

И это тот самый тип, который сказал мне, что у него дела в округе Колумбия! Он двигал туда из самого Бристола, хотел переговорить с человеком из какого-то правительственного комитета, а теперь вдруг Иден... Чепуха какая-то, разве что та леди была права: кто-то меня призывал, а когда я уперся, они просто усыпили меня и накинулись на водителя. Ну что ты будешь делать? Иден, Северная Каролина, и все тут. Я перепугался до смерти... во всяком случае, немного напугался. И в то же время подумал: если она права, то скоро появятся мои старики, скоро я их увижу.

За два года, с тех пор как я убежал из приюта, ничего в Идене особенно не изменилось. Там вообще никогда ничего не меняется, да и город-то сам не настоящий — просто три поселка

объединились и скинулись, чтобы сэкономить на городских коммунальных службах. Люди до сих пор считают, что это и есть три маленьких поселка. Надо думать, никто мне там особо не обрадовался бы, да я и сам никого не хотел встречать. Никого из живых, во всяком случае. Я понятия не имел, как меня отыщут родственники или как я их отыщу, но, пока суть да дело, отправился навестить тех, кого действительно вспоминал. Оставалось только надеяться, что они не встанут из могил, чтобы поквитаться со своим убийцей.

Дни тогда стояли еще длинные, но задувал резкий, порывистый ветер, а на юго-западе собрались огромные грозовые тучи, солнце уже садилось и скоро должно было спрятаться за тучами. Вечер обещался прохладный, и меня это вполне устраивало. Я чувствовал, что до сих пор весь в пыли, и дождь был бы очень кстати. Я выпил кока-колу в придорожном кафе и двинулся повидать старого Пелега.

Его похоронили на маленьком кладбище у старой протестантской церкви, только не для белых баптистов, а для черных — ничего шикарного, никаких тебе классов, ни дома приходского священника; просто белое четырехугольное здание с невысоким шпилем и зеленой лужайкой, такой ровной, словно ее ножницами подстригали. И такое же аккуратное кладбище. Вокруг никого, да и темнеть начало из-за всех этих туч, но я ничего не боялся и прошел прямо к кресту старого Пелега. Раньше я даже не знал, что его фамилия Линдли. Как-то эта фамилия чернокожему не очень подходила, но потом я подумал, что ничего удивительного тут нет. Иден — городишко настолько старомодный, что старого чернокожего не часто называют тут по фамилии. Пелег родился и вырос в расистском штате, да так до конца жизни и не приучил никого называть себя мистером Линдли. Старый Пелег, и все тут. Нет, я не стану говорить, что он обнимал меня по-отцовски, или гулял со мной, или как-то заботился по-особому — ну, все эти вещи, от которых люди слезу пускают и говорят, как это, мол, замечательно, когда у тебя есть родители. Он никогда не строил из себя отца, ничего подобного. А если я вертелся под ногами слишком долго, так он мне еще и работу какую-нибудь подбрасывал да смотрел, чтобы я все сделал, как положено. Мы даже и не говорили, считай, ни о чем другом, кроме работы, которую нужно сделать, но почему-то у его могилы мне хотелось плакать, и за старого Пелега я ненавидел себя больше, чем за любого другого, что лежали под землей в этом городке.

Я не видел и не слышал, как они подошли, и даже не уловил сразу запах маминых духов, но понял, что они приближаются, почувствовав, как пространство между нами словно наэлектризовалось. Я так и стоял, не оборачиваясь, но знал, где они и как далеко от меня, потому что заряжены они были, дай бог! Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то так «искрил»,— кроме меня самого. Они прямо светились. Я будто со стороны себя увидел в первый раз в жизни. Даже когда эта леди в Роаноке напускала на меня всякие там желания, ей до них было далеко. А они оказались точь-в-точь, как я.

Чудно, конечно, но это все и испортило. Мне не хотелось, чтобы они были, как я. Я себя-то ненавидел за то, что «искрюсь», а тут еще они решили показать мне, как выглядит убийца со стороны. Спустя несколько секунд мне стало понятно, что они боятся. Я помнил, как меняет страх мою собственную биоэлектрическую систему, как это выглядит, и заметил что-то похожее у них. Понятное дело, я тогда не думал именно про биоэлектрическую систему, но чувствовал, что они меня боятся. И я знал, почему: когда я злюсь, «искры» с меня так и сыплются. Я стоял у могилы Пелега и ненавидел себя страшно, так что в их глазах я, наверное, готов был прикончить полгорода. Откуда им знать, что я ненавидел себя? Естественно, они думали, что я зол на них за то, что они бросили меня семнадцать лет назад в приюте. И поделом бы им было, если бы я взял да как следует перемесил им обоим кишки, но я теперь этого не делаю, честно, тем более что я стоял над старым Пелегом, которого любил гораздо больше, чем этих двух. Разве мог я убить их, когда моя тень падала на его могилу?

Короче, я себя успокоил как мог, повернулся — и вот они: мои мама и папа. Хочу сказать, я тогда чуть не расхохотался. Все эти годы мы смотрели по ящику проповедников и просто животы надрывали от смеха, когда показывали Тэмми Баккер: она вечно появлялась с таким толстым слоем «штукатурки» на физиономии, что, даже будь это ниггер, никто не догадался бы (тут старый Пелег не обижался, потому что он первым же это и сказал). В общем, я повернулся и увидел маму, с таким же точно слоем косметики. А волосы были так основательно опрысканы лаком, что она могла запросто работать на стройке без каски. И та же слащавая липовая улыбка, и те же густые черные слезы, стекающие по щекам, и руки — она тянулась ко мне руками, и я прямо ждал, что сейчас услышу: «Слава Иисусу Христу». Она в самом деле сказала: «Слава Иисусу Христу, это мой мальчик»,— бросилась ко мне и облобызала своими слюнявыми губами.

Я утерся рукавом и буквально почувствовал, как у отца мелькнула краткая вспышка раздражения; он подумал, что я вроде как оцениваю маму, и ему это не понравилось. Но, признаться, так оно и было. Духами от нее несло, как от целого парфюмерного отдела. Сам-то отец был в хорошем синем костюме — вроде как бизнесмен, волосы уложены феном, так что он, понятно, не хуже меня знал, как нормальным людям положено выглядеть. Может, он даже смущался, когда ему приходилось бывать на людях вместе с мамой. Мог бы просто взять и сказать ей, что она, мол, накладывает слишком много косметики. Я так и подумал, но только потом сообразил: женщине, которая, разозлившись, может запросто наслать на тебя рак, совсем ни к чему говорить, что лицо у нее выглядит, как будто она спала на мокрых опилках, или что от нее пахнет, как от шлюхи. В общем, что называется, «белый мусор» — узнается с ходу, словно еще фабричный ярлык висит.

— Я тоже рад тебя видеть, сынок,— говорит отец.

А мне, признаться, и сказать было нечего. Я-то как раз радости никакой не почувствовал, когда их увидел: приютскому

мальчишке родители представляются несколько иначе. Но я улыбнулся и снова взглянул на могилу Пелега.

— Ты, похоже, не очень удивлен встречей,— продолжает он.

Я бы мог сразу сказать им про ту леди в Роаноке, но ничего не сказал. Почему-то не хотелось.

— Я чувствовал, что кто-то зовет меня назад, а кроме вас, мне никогда не встречались такие же «искристые» люди, как я. И раз вы говорите, что вы мои родители, стало быть, так оно и есть.

Мама захихикала и говорит ему:

— Слышишь, Джесс? Он называет это «искристый».

— У нас говорят «пыльный», сынок,— отвечает он.— Когда это кто-то из нас, мы говорим, что он «пыльный».

— И ты, когда родился, был очень «пыльный»,— говорит мама.— Мы сразу поняли, что не можем тебя оставить. Никто никогда не видел такого «пыльного» ребенка, и папаша Лем заставил нас пристроить тебя в приют — еще до того, как тебе первый раз дали грудь. Ты ни разу не сосал материнскую грудь...— Тушь потекла по ее лицу жирными ручьями.

— Ладно, Минни,— это опять отец,— вовсе ни к чему рассказывать ему все сразу прямо здесь.

Пыльный. Я ничего не понимал. На пыль это совсем не походило, скорее на маленькие светящиеся искры — такие яркие, что мне самому приходилось иногда щуриться, чтобы разглядеть собственные руки.

— При чем тут пыль? — спросил я его.

— А как, по-твоему, это выглядит?

— Как искры. Я потому и говорю «искристый».

— Мы тоже так видим, но всю жизнь говорили «пыльный», и, видимо, одному человеку легче переучиться, чем... чем всем остальным.

Из его слов я уяснил сразу несколько вещей. Во-первых, понял, что он лжет, когда говорит, будто они тоже видят это как искры. Ничего подобного. Для них это была, как он и сказал, пыль. А я видел все гораздо четче, ярче, и меня это обрадовало, потому что ясно было, папочка прикидывался, будто ему поле видится так же, как мне. Короче, ему хотелось произвести впечатление, что он видит его не хуже меня. Кроме того, он не хотел, чтобы я знал, сколько у меня такой родни,— он запнулся на какой-то цифре, которая начиналась на «п», но вовремя спохватился. Пятнадцать? Пятьдесят? Пятьсот? Само число не так много для меня значило — важнее было то, что он хотел скрыть его. Они мне не доверяли. Да и с чего, собственно? Как сказала та леди, способностей у меня было побольше, чем у них, и они не знали, насколько я зол из-за того, что оказался в приюте. Надо думать, меньше всего им хотелось, чтобы я остался теперь на свободе и продолжал убивать людей. Особенно их самих.

В общем, я стоял и думал, а они тем временем занервничали, и мама говорит:

— Ладно, папочка, пусть называет это, как ему хочется. Не надо его сердить.

Отец рассмеялся:

— А он и не сердится. Ты ведь не сердишься, сынок?

Я еще подумал: «Сами они не видят, что ли?» Хотя, конечно, нет. Да оно и понятно: если для них поле выглядит как пыль, им трудно разглядеть всякие тонкости.

— Ты, похоже, не очень рад встрече,— говорит отец.

— Ладно тебе, Джесс, не приставай к нему. Папаша Лем ведь сказал, чтобы ты на него не давил, а просто объяснил, почему пришлось вытолкать его из гнезда таким маленьким. Вот и объясняй, как велел папаша Лем.

Мне тогда в первый раз пришло в голову, что мои собственные родители не очень-то хотели идти на эту встречу. Они пошли, потому что их заставил папаша Лем. И, понятное дело, они только поддакнули и сказали, да, мол, будет сделано, потому что папаша Лем мог... Хотя ладно, я до него еще доберусь: вы ведь хотели, чтобы я рассказывал все по порядку, как я и пытаюсь делать.

Короче, папуля объяснил мне все примерно так же, как та леди в Роаноке, только он ни словом не обмолвился про биоэлектрическое поле, а сказал, что я был «ясно отмечен» с самого рождения и что я, мол, «один из избранных». Еще из баптистской воскресной школы я помнил, что значит «один из тех, кого спас Господь», хотя мне не доводилось слышать, чтобы Господь спасал кого-то в ту же самую минуту, когда он родился. Они увидели, какой я «пыльный», и поняли, что я убью очень много людей, прежде чем научусь владеть своей способностью... Потом я спросил, часто ли они так делают — в смысле, оставляют детей на воспитание другим.

— Время от времени. Может, раз десять делали,— ответил отец.

— И всегда выходит, как задумано?

Тут он снова собрался врать — я это понял по всполохам идущего от него света. Никогда не думал, что вранье может быть так заметно, но тогда даже обрадовался, что они видят не «искры», а «пыль».

— Почти всегда.

— Я бы хотел встретиться с кем-нибудь из них. У нас, понятно, много общего, если мы все росли, думая, что родители нас ненавидят, а на самом деле они просто боялись своих собственных детей.

— Они все уже взрослые и разъехались кто куда,— отвечает отец, но это опять ложь. Самое главное, как я и думал, родители они паршивые: папаше даже нечего мне сказать. Понятное дело, он что-то скрывает, и это «что-то» для них очень важно.

Но я не стал нажимать, просто посмотрел на могилу старого Пелега и подумал, что он, наверно, за всю свою жизнь ни разу не солгал.

Папуля, видимо, занервничал, решил переменить тему и спросил:

— Я совсем не удивлен, обнаружив тебя здесь. Он один из тех, кого ты «запылил»?

Запылил. Вот тут я по-настоящему завелся. Слово это...

Выходило, что старого Пелега я «запылил»... Должно быть, когда я разозлился, что-то во мне изменилось, и они заметили. Только все равно ничего не поняли, потому что мама тут же сказала:

— Я, конечно, не собираюсь критиковать, сынок, но негоже это — гордиться даром Господним. Потому-то мы тебя и отыскали — мы хотим научить тебя истине, объяснить, почему Господь призвал тебя в число избранных. И не следует тебе восславлять себя, даже если ты способен поражать своих врагов насмерть. Восславь за это Господа нашего и благословляй имя его, ибо мы всего лишь слуги его.

Меня чуть не стошнило, ей-богу — так я на них разозлился. Нет, ну надо же! Да старый Пелег стоил в десять раз больше этих двоих лживых людишек, которые вышвырнули меня, когда я даже материнскую титьку еще не пробовал. А они считали, что за его ужасные страдания и смерть я должен восславить Господа! Я, может, не очень-то понимаю Бога: как-то он всегда представлялся мне таким же задавленным и серьезным, как миссис Бетел, что преподавала в воскресной школе, когда я был маленьким. Позже она умерла от лейкемии. По большей части мне нечего было сказать Богу, но если это он дал мне мою силу, чтобы сразить старого Пелега, если он хотел за это восхвалений, то я бы ему тогда объяснил, что я о нем думаю... Только я не на секунду им не поверил. Старый Пелег сам верил в Бога, и его Бог не мог убить старого чернокожего только потому, что какой-то сопливый мальчишка на него разозлился.

Однако я отвлекся... Именно в это мгновение отец впервые ко мне прикоснулся. Руки у него тряслись. И не без причин: я был настолько зол, что, случись такое годом раньше, он бы еще руку не успел убрать, а уже истекал бы внутри кровью. Но с некоторых пор я приучил себя сдерживаться, не убивать всех, кто ко мне прикоснется, когда я на взводе, и — странное дело — эта дрожь в его руке вроде как меня успокоила. Я вдруг понял, сколько им потребовалось силы духа, чтобы прийти на встречу со мной. Ведь в самом-то деле, откуда им знать, что я их не убью? Но они тем не менее пришли. Это уже кое-что. Даже если им приказал идти этот папаша Лем. Я понял, как смело поступила мама, сразу поцеловав меня в щеку: ведь если бы я собирался ее убить, она дала мне шанс сделать это, даже не попытавшись ничего объяснить. Может, конечно, у нее такая стратегия была, чтобы перетянуть меня на свою сторону, но все равно поступок смелый. И она не одобряла, когда люди гордились убийствами, что тоже немного подняло ее в моих глазах. Она не побоялась сказать мне об этом прямо в глаза. Короче, я ей проставил сразу несколько плюсов. Может, она и выглядела, как это пугало Тэмми Баккер, но при встрече с сыном-убийцей поджилки у нее тряслись меньше, чем у папаши.

Затем он тронул меня за плечо, и мы пошли к машине. «Линкольн» — видимо, они решили произвести на меня впечатление. Но я в тот момент думал только о том, как было бы в приюте, если бы детскому дому перепало столько денег, сколько стоит эта машина, даже сколько она стоила пятнадцать лет

назад. Может, у нас была бы тогда нормальная баскетбольная площадка. Или приличные игрушки вместо тех поломанных, что люди просто отдают в приюты. Может, нормальные штаны, чтобы у них хоть коленки не вытягивались. Я никогда не чувствовал себя таким бедным, как в тот момент, когда сел на бархатное сиденье машины и прямо мне в ухо заиграло стерео.

В машине ждал еще один человек. Тоже в общем-то разумно. Если бы я убил их, кому-то надо было отогнать машину назад, верно? Хотя ничего особенного он собой не представлял — в смысле «пыльности» или «искристости». Совсем еле-еле светился, да еще и пульсировал от страха. Я сразу понял, почему: у него в руках была повязка на глаза — явно для меня.

— Мистер Йоу, к сожалению, я должен завязать вам глаза,— сказал он.

Я несколько секунд молчал, отчего он еще больше испугался, решив, будто я злюсь, хотя на самом деле до меня просто не сразу дошло, кто такой «мистер Йоу».

— Это твоя фамилия, сынок,— сказал отец.— Меня зовут Джесс Йоу, а твою маму — Минни Райт Йоу. Ну, а ты сам, соответственно, Мик Йоу.

— Вот те на,— пошутил я, но они восприняли это так, словно я смеюсь над фамилией. Однако я так долго был Миком Уингером, что мне казалось просто глупо называть себя теперь «Йоу», да и, сказать по правде, фамилия и в самом деле смешная. Мама так ее произнесла, словно я должен гордиться этой фамилией. Для них Йоу — имя избранного народа. Так что их здорово задело, когда мне вздумалось пошутить, и, чтобы они почувствовали немного лучше, я позволил Билли — так звали того человека в машине — завязать мне глаза.

Ехали мы долго, все по каким-то проселочным дорогам, и разговоры вертелись вокруг их родственников, которых я никогда не встречал, но которые мне, мол, непременно понравятся. Во что мне верилось все меньше и меньше, если вы понимаете, что я имею в виду. Потерянный ребенок возвращается домой, а ему завязывают глаза! Я знал, что мы едем примерно на восток, потому что солнце по большей части светило в мое окно или мне в затылок, но точнее сказать не мог. Они лгали мне, постоянно что-то скрывали и просто боялись меня. Тут, как ни смотри, не скажешь, что ждали с распростертыми объятиями. Мне определенно не доверяли. Скорее они даже не знали, как со мной быть. Что, кстати, очень напоминает, как со мной обращаетесь вы сами, и мне это нравится не больше, чем тогда,— я уж, извините, заодно и пожалуюсь... Я хочу сказать, что рано или поздно вам придется все-таки решить, пристрелить меня или выпустить на свободу, потому что, сидя в этой камере, как крыса в коробке, я не смогу сдерживаться очень долго. Разница только в том, что в отличие от меня крыса не может отыскать вас мысленно и отправить на тот свет. Так что давайте решайте: или вы мне верите, или вы меня кончаете. По мне так лучше, чтоб поверили, потому что пока я дал вам больше причин верить мне, чем у меня самого для доверия к вам.

Короче, мы ехали около часа. За это время вполне можно

было добраться до Уинстона, Гринсборо или Данвилла, и, когда мы наконец прибыли, никто в машине уже не разговаривал, а Билли, судя по храпу, так вообще заснул. Я-то, конечно, нет. Я смотрел. Поскольку «искры» я вижу не глазами, а чем-то еще — как если бы мои собственные «искры» сами чувствовали «искры» других,— я прекрасно видел всех, кто сидит в машине, знал, где они и что чувствуют. Надо сказать, что я всегда умел угадывать про людей, даже когда у них ни «искр» и ничего такого, но тут я в первый раз оказался рядом с «искристыми». В общем, я сидел и просто наблюдал, как мама и отец «взаимодействуют», даже когда они не касаются друг друга и не разговаривают — маленькие всполохи злости, страха или... Я искал проявления любви, но так ничего и не увидел, а я знаю, как должно выглядеть это чувство, потому что оно мне знакомо. Они были как две армии, расположившиеся на холмах друг напротив друга и ждущие конца перемирия. Настороженные. Пытающиеся незаметно выяснить, что же предпримет противник.

И чем больше я понимал, что думает и чувствует моя родня, тем легче мне было понять, что собой представляет Билли. Когда научишься читать большие буквы, с маленькими тоже все становится ясно, и мне, помню, пришло в голову, что я смогу научиться понимать даже тех людей, у которых нет никаких «искр». Такая вот появилась у меня мысль, и со временем я понял, что это в общем-то правда. У меня теперь практики побольше, поэтому «искристых» я могу читать издалека, и обычных тоже могу — немного — даже сквозь стены и окна. Но все это я понял позже. И про то, кстати, что вы наблюдаете за мной с помощью зеркал. Я и ваши провода от микрофонов вижу в стенах.

Короче, именно тогда, в машине, я впервые начал видеть с закрытыми глазами по-настоящему — форму биоэлектрической системы, цвет, ее переплетение, скорость, ритм, течение и все такое. Я уж не знаю, верные ли слова использую, потому что на эту тему не так много написано. Может, у того шведского профессора есть какие-нибудь научные названия, а я могу только описать, как все это чувствую. За тот час, что мы ехали, я здорово наловчился и мог точно сказать, что Билли жутко боится, но не только меня, а больше маму с отцом. На меня он злился, завидовал. Боялся, конечно, тоже, но в основном злился. Я сначала подумал, он заводится оттого, что я появился неизвестно откуда, да еще и более «искристый». Но потом до меня дошло, что ему скорее всего этого даже не разглядеть, у него просто не хватит способности отличить одного человека от другого.

Минут десять мы ехали по насыпной дороге из гравия, потом свернули на грунтовую, сплошь из кочек, а затем снова выбрались на ровный асфальт, проехали ярдов сто и остановились. Я не стал ждать и в ту же секунду сорвал с глаз повязку.

Вокруг — целый городок, дома среди деревьев, над крышами — ни одного просвета. Пятьдесят, может, шестьдесят домов, некоторые очень большие, но за деревьями их почти не было видно: лето все-таки. Дети бегают — от маленьких чумазых

сопляков до таких же, как я, возрастом. Надо сказать, в приюте мы и то чище были. Но здесь все «искрились». В основном, как Билли, то есть чуть-чуть, но сразу стало понятно, почему они такие грязные: не каждая мать рискнет запихивать ребенка в ванну, если он, разозлившись, может наслать на нее какую-нибудь болезнь.

Времени было, наверно, уже половина девятого, но даже самые маленькие еще не спали. Они, видимо, разрешают своим детям играть до тех пор, пока те сами не свалятся с ног и не заснут. Я еще подумал тогда, что приют в каком-то смысле пошел мне на пользу: я по крайней мере знал, как себя вести на людях,— не то что один из мальчишек, который расстегнул штаны и пустил струю прямо при всех. Я вышел из машины, а он стоит себе, дует и смотрит на меня как ни в чем не бывало. Ну прямо как собака у дерева. Если бы я выкинул такой фортель в детском доме, мне бы здорово всыпали.

Я знаю, как вести себя, например, с незнакомцами, если нужно доехать куда-то автостопом, но в большой компании теряюсь: из детского дома не очень-то приглашают, так что опыта у меня никакого. Короче, «искры» там или нет, я все равно вел себя сдержанно. Отец хотел сразу отвести меня к папаше Лему, но мама решила, что меня нужно привести в порядок с дороги. Она потащила меня в дом и сразу отправила в душ, а когда я вышел, на столе ждал сандвич с ветчиной. Рядом, на льняной салфетке, стоял высокий стакан с молоком, таким холодным, что аж стекло запотело... Примерно то самое, о чем мечтают приютские мальчишки, когда думают, как это здорово — жить с мамой. А то, что ей далеко до манекенщицы из каталога, так это бог с ним. Сам — чистый, сандвич — вкусный, а когда я поел, она мне еще и печенье предложила.

Все это, конечно, было приятно, но в то же время я чувствовал себя обманутым. Опоздали, намного, черт побери, опоздали. Мне бы все это не в семнадцать лет, а в семь...

Но она старалась, и в общем-то это не совсем ее вина. Я доел печенье, допил молоко и взглянул на часы: уже десятый час пошел. Снаружи стемнело, и большинство ребятишек все-таки отправились спать. Затем пришел отец и сказал:

— Папаша Лем говорит, что он не становится моложе.

Патриарх семейства ждал нас на улице, в большом кресле-качалке на лужайке перед домом. Толстым его не назовешь, но брюшко он отрастил. Старым тоже вряд ли кто назвал бы, однако макушка у него была лысая, а волосы по краям жидкие, тонкие и почти белые. Вроде не противный, но губы мягкие, и мне не понравилось, как они шевелятся, когда он говорит.

Впрочем, какого черта? Толстый, старый и противный — я его возненавидел с первой же секунды. Мерзкий тип. Да и «искрил» он не больше, чем мой отец,— выходило, что главный тут вовсе не тот, у кого больше способностей, которые отличают нас от других людей. Я еще подумал: интересно, насколько он мне близкий родственник? Если у него были дети и они выглядели так же, как он, их просто из милосердия следовало утопить сразу же.

— Мик Йоу,— обратился он ко мне.— Дорогой мой Мик, мальчик мой дорогой...

— Добрый вечер, сэр,— сказал я.

— О! Он еще и воспитанный. Мы правильно поступили, жертвуя так много детскому дому. Они отлично о тебе позаботились.

— Вы переводили приюту деньги? — спросил я. Если они действительно переводили, то уж никак не «много».

— Да, кое-что. Достаточно, чтобы покрыть твое довольствие, проживание и христианское воспитание. Но никаких излишеств, Мик. Ты не должен был вырасти размазней, наоборот, сильным и твердым. И ты должен был познать лишения, чтобы уметь сострадать. Господь Бог наградил тебя чудесным даром, великой своей милостью, огромной Божьей силой, и мы обязаны были позаботиться, чтобы ты оказался достоин чести сидеть на Божьем пиру.

Я только что не обернулся — посмотреть, где тут телекамера. Ну прямо как проповедник телевизионный. А он продолжает:

— Ты уже сдал первый экзамен, Мик. Простил своих родителей за то, что они оставили тебя сиротой. Ты послушался святой заповеди «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Если бы ты поднял на них руку, Господь сразил бы тебя на месте. Истинно тебе говорю: все это время ты был под прицелом двух винтовок, и если бы родители ушли без тебя, ты бы пал замертво на этом кладбище черномазых, ибо Господь не терпит непослушания.

Я не знал, хочет ли он меня на что-то спровоцировать или просто напугать, но, так или иначе, это подействовало.

— Господь выбрал тебя служить ему, Мик, так же, как и всех нас. Остальной мир этого не понимает. Но прадед Джейк узрел свет. Давно, еще в 1820-м, он увидел, что все, на кого обращена его ненависть, отправляются на тот свет, хотя он и пальцем о палец не ударяет. Поначалу он думал, что стал как те старые ведьмы, которые напускают на людей порчу, чтоб люди волей дьявола иссыхали и умирали. Но он чтил Господа нашего и не имел с Сатаной ничего общего. Жизнь его проходила в суровые времена, когда человека запросто могли убить в ссоре, но прадед Джейк никогда не убивал. Даже не ударил никого кулаком. Он был мирным человеком и всегда держал свою злость в себе, как и повелевал Господь в Новом Завете. Ясно, он не служил Сатане.

Папаша Лем говорил так громко, что его голос разносился над всем маленьким городком, и я заметил, как вокруг нас собираются люди. В основном взрослые и несколько подростков — может быть, послушать папашу Лема, но скорее всего посмотреть на меня, потому что, как и говорила та леди в Роаноке, среди них не было ни одного даже наполовину такого «искристого». Не знаю, понимали ли они, но я-то видел. По сравнению с обычными людьми все они были достаточно «пыльные», но если сравнивать со мной — или даже с моими родителями — они еле-еле светились.

— Он изучал святое писание, чтобы понять, почему же его враги умирают от опухолей, кровотечений, чахотки и внутрен-

ней гнили, и нашел-таки стих в Книге Бытия, где Господь говорит Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». В сердце его воцарилось понимание, что Господь избрал его так же, как и Авраама. И когда Исаак передал благословение Божье Иакову, он сказал: «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя — прокляты; благословляющие тебя — благословенны!» И заветы главы рода снова воплотились в прадеде Джейке, ибо кто проклинал его, был проклят Господом.

Надо сказать, когда папаша Лем произносил эти слова из Библии, голос его звучал, как сам глас Господень. Меня прямо какой-то восторг охватил, я чувствовал, что это Господь дал моей семье такую силу. И, как сказал папаша Лем, всей семье, ибо ведь Господь обещал Аврааму, что детей у него будет столько же, сколько звезд на небе,— явно больше, чем те, о которых Авраам знал, потому как телескопа у него не было. И теперь, мол, этот завет переходит к прадеду Джейку — так же, как тот, в котором говорится: «...и благословятся в тебе все племена земные». Ну, а прадед Джейк засел изучать Бытие, чтобы исполнить Божьи заветы, как древние патриархи. Он увидел, как они старались жениться только на своих,— помните, Авраам женился на дочери своего брата Саре, Исаак женился на двоюродной сестре Ревекке, Иаков — на сестрах Лии и Рахили... Прадед Джейк бросил свою первую жену, потому что она «была недостойна» — видимо, не особенно «пыльная»,— и начал подкатывать к дочери своего брата, а когда тот пригрозил убить его, если прадед Джейк хоть пальцем ее тронет, они сбежали, а его брат умер от порчи, как случилось и с отцом Сары в Библии. Я хочу сказать, что все у него вышло, как по святому писанию. Своих сыновей он переженил на их сестрах, и у детей вдвое прибавилось «искристости». Папаша Лем выдал маму за отца, хотя они росли вместе и никогда особенно друг другу не нравились. Тем не менее он видел, что они «особо избранные», а это означало, что более «искристых» просто не было. А я, когда родился, стал вроде подтверждения правоты папаши Лема, потому как Господь, мол, наградил их ребенком, который «пылил» сильнее, чем грузовик на грунтовой дороге.

Особенно его интересовало, не успел ли я уже кого трахнуть. Он так и спросил:

— Не проливал ли ты семя среди дочерей Измаила и Исава?

Папаша Лем заметил, что я ответил не сразу, и тут же прицепился:

— Не лги, сынок. Я вижу, когда мне лгут.

— Я просто стеснялся сказать, что у меня не было женщины,— говорю.

Папаша Лем махнул рукой девушке, что стояла в толпе, и она подошла ближе. В общем-то очень даже ничего для такой глуши. Волосы немного блеклые, слегка сутулится, и я бы не сказал, что слишком опрятная, но на лицо очень даже ничего,

и улыбка хорошая. Короче, симпатичная девчонка, но не в моем вкусе, если вы меня понимаете.

Папаша Лем нас тут же и познакомил: оказалось, она — его дочь. Видимо, этого стоило ожидать. Вдруг он говорит:

— Пойдешь за этого мужчину?

Она посмотрела на меня, ответила: «Пойду»,— улыбнулась своей широкой улыбкой, и тут все это началось снова, как с той леди в Роаноке, только раза в два сильнее, потому что та вообще едва «искрила». Я стоял как вкопанный, а мысли все крутились вокруг одного: как, мол, мне хочется раздеть ее и сделать прямо тут, пусть даже на глазах у всех.

И самое главное, мне это ощущение нравилось. Я хочу сказать, от такого чувства не отмахнешься. Но какой-то частью своего сознания я все же не поддался, и как будто мое второе «я» говорит мне: «Мик Уингер, бестолочь ты этакая, в ней же нет ничего, она простая, как дверная ручка, а все эти люди стоят и смотрят, как она из тебя дурака делает». И вот этой самой частью сознания я начал заводиться, потому что мне не нравилось, как она заставляет делать меня что-то против моей воли да еще на глазах у всех, а больше всего меня допекло, что папаша Лем сидит и смотрит на свою дочь и на меня, словно мы в каком грязном журнальчике.

Но тут такое дело: я, когда завожусь, начинаю «искрить» еще сильнее, и чем больше завожусь, тем больше вижу, как она это делает — будто магнит, который тянет меня к ней. И как только мне подумалось про магниты, я взял все свои «искры» и пустил в дело. Она по-прежнему «искрила», но все шло обратно, и ее в ту же секунду словно вовсе не стало. Я, конечно, видел ее, но почти не замечал. Как будто ее и нет.

Папаша Лем вскочил, все остальные заохали. И, понятное дело, девица перестала в меня «искрить», упала на колени, и ее тут же вывернуло. Должно быть, у нее желудок был слабый, или, может, я немного перестарался. Она «искрила» в меня изо всех сил, и когда я пустил все это обратно в нее да еще и сделал наоборот... Короче, ее пришлось поднимать, потому что сама она едва держалась на ногах. Да еще и распсиховалась, плакала и кричала, что я отвратительный урод — может, мне бы даже обидно стало, но только в тот момент я больше испугался.

Папаша Лем выглядел как сам гнев Господен.

— Ты отверг святое таинство брака! Ты оттолкнул деву, уготованную тебе Господом!

Должен сказать, что я тогда еще не во всем разобрался, иначе я, может, и не боялся бы его так сильно. Но кто его знает, думал я, вдруг он прямо сейчас убьет меня раковой опухолью? А уж в том, что он может просто приказать людям забить меня насмерть, я даже не сомневался. Так что испугался я не зря. Нужно было срочно придумать что-то, чтобы он не злился, и, как оказалось, я не так уж плохо придумал: сработало ведь...

Спокойно так, изо всех сил сдерживаясь, я говорю:

— Эта дева меня недостойна.— Не зря же я смотрел всех этих проповедников по ящику: в памяти кое-что застряло, и я знал, как говорить словами из Библии.— Она недостаточно

благословлена, чтобы стать мне женой. Даже до моей мамы ей далеко. Господь наверняка приготовил для меня кого-то получше.

— Да, верно,— сказал папаша Лем, и теперь уже вовсе не как проповедник; теперь на проповедника больше походил я, а он говорил тихо и спокойно: — Ты думаешь, я этого не знаю? Во всем виноваты проклятые дети Исава, Мик... У нас было пятеро девочек — и гораздо более «пыльных», чем она,— однако нам пришлось отдать их в другие семьи, потому что они были вроде тебя: даже не желая того, они просто убили бы своих родителей.

— Но меня-то вы вернули.

— Ты остался в живых, Мик, так что с тобой, согласись, было гораздо легче.

— Вы имеете в виду, что никого из них уже нет?

— Дети Исава,— повторил он.— Троих они застрелили, одну задушили, а тела пятой мы так и не нашли. Ни одна из них не дожила до десяти лет.

Я сразу вспомнил, как та леди в Роаноке говорила, что не один раз смотрела на меня через перекрестье прицела. Однако она сохранила мне жизнь. Я не знал, зачем. И черт побери, до сих пор не знаю. Зачем, если вы собираетесь держать меня взаперти до конца жизни? С таким же успехом можно было пристрелить мне башку лет в шесть, и я прямо сейчас могу назвать целый список людей, которые остались бы тогда жить. Короче, если вы меня не выпустите, благодарить мне вас не за что.

Но папаше Лему я сказал, что ничего не знал, жаль, мол, сочувствую.

— Мик,— сказал он,— ты вправе быть разочарованным, поскольку Господь облагодетельствовал тебя такой великой силой. Но, клянусь тебе, из всех наших девушек брачного возраста моя дочь самая достойная. Я не пытался всучить ее тебе, потому что она моя дочь,— это было бы святотатством, а я неизменно служу Господу. Люди подтвердят, что я не предложил бы тебе свою дочь, не будь она самой достойной.

Если она у них самая лучшая, подумал я, то законы против кровосмешения не зря придумали. Но папаше Лему сказал:

— Тогда, может быть, стоит подождать: наверняка есть кто-то моложе, кому еще рано сейчас жениться.— Я вспомнил историю Иакова из воскресной школы и, поскольку они так на этом Иакове помешались, добавил: — Помните, Иаков ждал семь лет, прежде чем женился на Рахили. Я готов подождать.

Это на него уж точно произвело впечатление.

— У тебя воистину пророческая душа, Мик. Не сомневаюсь, что когда-нибудь, когда Господь заберет меня к себе, ты займешь мое место. Но я надеюсь, ты помнишь также, что перед Рахилью Иаков взял в жены ее старшую сестру Лию.

Уродину, подумал я, но промолчал. Просто улыбнулся и сказал, что запомню и что, мол, об этом вполне можно поговорить и завтра, а сейчас уже поздно, я устал, и со мной много чего случилось, что надо обдумать. Потом совсем уже разошелся — в смысле библейских дел — и добавил:

— Помните, Иаков, перед тем как увидеть во сне лестницу, лег спать?

Все рассмеялись, но папаша Лем еще не успокоился. Он согласился, что со свадьбой можно несколько дней подождать, но один вопрос ему хотелось выяснить сразу. Он посмотрел мне в глаза и сказал:

— Мик, тебе придется сделать выбор. Господь говорил, что кто не с ним, тот против него. Иисус говорил: сегодня избери, кому служить будешь. И Моисей говорил: «Во свидетели пред вами призываю небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое».

Я так думаю, что яснее и не скажешь. Мне предоставили выбирать: либо жить среди избранного народа, среди этих чумазых детишек, под властью мерзкого старика, который будет указывать, на ком мне жениться, и решать, буду ли я воспитывать своих детей, либо уйти, чтобы мне разнесли башку выстрелом из винтовки, или, может, напустить на меня рак — я не знал, как они решат: прикончить меня быстро или медленно. Хотя им, пожалуй, лучше было сделать это быстро, чтобы я не успел пролить семя среди дочерей Исава.

Ну и я пообещал ему, как мог искренне, что буду, мол, служить Господу и жить среди них до конца своих дней. Я уже говорил, что не знал, чувствует ли он вранье на самом деле, но папаша Лем кивнул и улыбнулся — вроде как поверил. Однако я-то знал, что это ложь, а значит, он мне не поверил, то есть, как говорил сын мистера Кайзера, Грегги, я в дерьме и по самые уши. Более того, хотя он изо всех сил старался это скрыть, улыбался и внешне никак себя не выдавал, он знал, что я вовсе не собираюсь жить с этими психами, которые засаживали своим сестрам и оставались такими же темными, как в прошлом веке. А это означало, что он уже планирует убить меня и, видимо, не когда-нибудь, а скоро.

Впрочем, ладно, я лучше скажу здесь правду: на самом деле я усомнился, что он мне поверил, только по дороге к дому. А когда мама отвела меня в чистую симпатичную комнату на втором этаже и, предложив чистую симпатичную пижаму, захотела забрать джинсы, рубашку и все остальное, чтобы привести их в порядок, только тут я подумал, что в эту ночь одежда мне, возможно, очень понадобится. Я здорово разозлился, пока она не отдала мне все назад, явно испугавшись, что я с ней что-нибудь сделаю.

Мама вышла и спустилась вниз, я снова оделся, обулся и лег под одеяло. Мне приходилось в свое время ночевать на улице, так что спать в одежде было делом привычным. А вот то, что пришлось влезть на простыню в ботинках, прямо-таки не давало мне покоя.

Лежа в темноте, я пытался придумать, что делать дальше. Вдруг я понял, что вижу в темноте. Не глазами, разумеется, вижу, а чувствую, как передвигаются вокруг люди. Поначалу не очень далеко и не очень четко, но по крайней мере я ощущал ближних, тех, кто в доме. Воспринимая их сигналы — то в рит-

мах сна, то движущиеся,— я неожиданно для себя начал понимать, что всегда чувствовал людей, только не осознавал этого. Они не «искрили», но я знал, где они — словно тени, плавающие где-то в мыслях. Как в тот раз, когда Диз Риддл в десять лет получил свои первые очки и вдруг начал прыгать и вопить от радости, потому что увидел столько всего нового. Вернее, он всегда видел разные вещи, но в половине случаев не знал, что это такое. Например, рисунки на монетах: он чувствовал, что на монетах есть какой-то рельеф, но только в очках увидел, что это рисунки, надписи и все такое. Вот и со мной случилось примерно то же самое.

Я увидел у себя в голове целую картину, где тут и там обозначались люди: и чем больше я старался, тем лучше видел. Однако я не видел стен и не понимал, где кто находится: на кухне, или в туалете, или еще где. Приходилось напряженно думать, и это отбирало все силы. Единственное, что помогало, это электропроводка под током, так что, когда был включен свет, или электрические часы, или еще что-то, я видел такую тонкую линию, едва заметную, бледнее даже, чем тени людей. Не бог весть что, но по крайней мере я мог иногда догадаться, где проходят стены.

И если я не мог сказать, кто есть кто, то, во всяком случае, мог угадать, кто что делает. Например, кто спит, а кто нет. Не ясно было также, где взрослые, а где дети, потому что я ощущал не размер, а яркость, и только по яркости определял, кто из них близко, а кто далеко.

Мне, можно сказать, повезло, что я выспался днем, когда тот тип вез меня от Роанока до Идена. Вернее, везение тут сомнительное, поскольку мне совсем не хотелось в Иден, но по крайней мере я отоспался, а значит, мог продержаться дольше и выждать, пока все не улягутся.

В соседнем доме их было несколько. Я не сразу разобрался, кто там кто,— трое из них здорово «искрили», и поначалу мне показалось, что они просто ближе других,— но потом я сообразил, что это, наверно, родители и папаша Лем плюс еще кто-то. Короче, они там посовещались какое-то время, потом закончили, и все, кроме папаши Лема, перешли в мой дом. Я не знал, о чем шел разговор, но чувствовал, как они напуганы и злы. Впрочем, больше напуганы. Я тоже здорово испугался, но заставил себя успокоиться, чтобы ненароком кого-нибудь не убить. Таким образом я и держал себя в руках, чтобы не очень заряжаться и «искрить»,— пусть думают, что сплю. Они видели хуже меня, так что это могло помочь. Сначала я думал, все заявятся наверх и прикончат меня, но нет, они остались ждать внизу, и только один из них поднялся на второй этаж. Однако он даже не зашел ко мне — только прошелся по другим комнатам, разбудил спящих и заставил спуститься вниз, а потом выгнал из дома.

Это меня еще больше напугало. Тут уже никаких сомнений не оставалось: они не хотели, чтобы я «искранул» кого-нибудь поблизости, когда на меня набросятся. Хотя с другой стороны, подумал я, это неплохой признак: боятся — и правильно. Я мог

протянуться дальше их всех и ударить сильнее. Кроме того, когда я вернул дочери папаши Лема то, что та на меня наслала, они поняли, что я способен отразить их удар, если им вздумается меня «запылить». Разумеется, они не знали, на что я еще способен.

Но я этого и сам тогда не знал.

Наконец все выбрались из дома, кроме той компании на первом этаже. Вокруг дома тоже стояли — может, кто следил за мной, может, просто так, но я решил, что выбираться через окно будет рискованно.

Затем кто-то снова двинулся наверх. Сгонять вниз больше было некого, так что, понятно, шли по мою душу. Всего один человек, но легче от этого не становилось — любой взрослый, умеющий управляться с ножом, мог бы, наверно, со мной справиться. Я еще не совсем вырос — во всяком случае, надеюсь,— а драться мы в приюте особенно не дрались. Так, мутузили друг друга во дворе, но это несерьезно. Я даже пожалел на мгновение, что не занялся в свое время «кунгфу» вместо того, чтобы просиживать за учебниками, стараясь наверстать недоученное в приютской школе. Мертвому ни математика, ни другие науки уже не понадобятся.

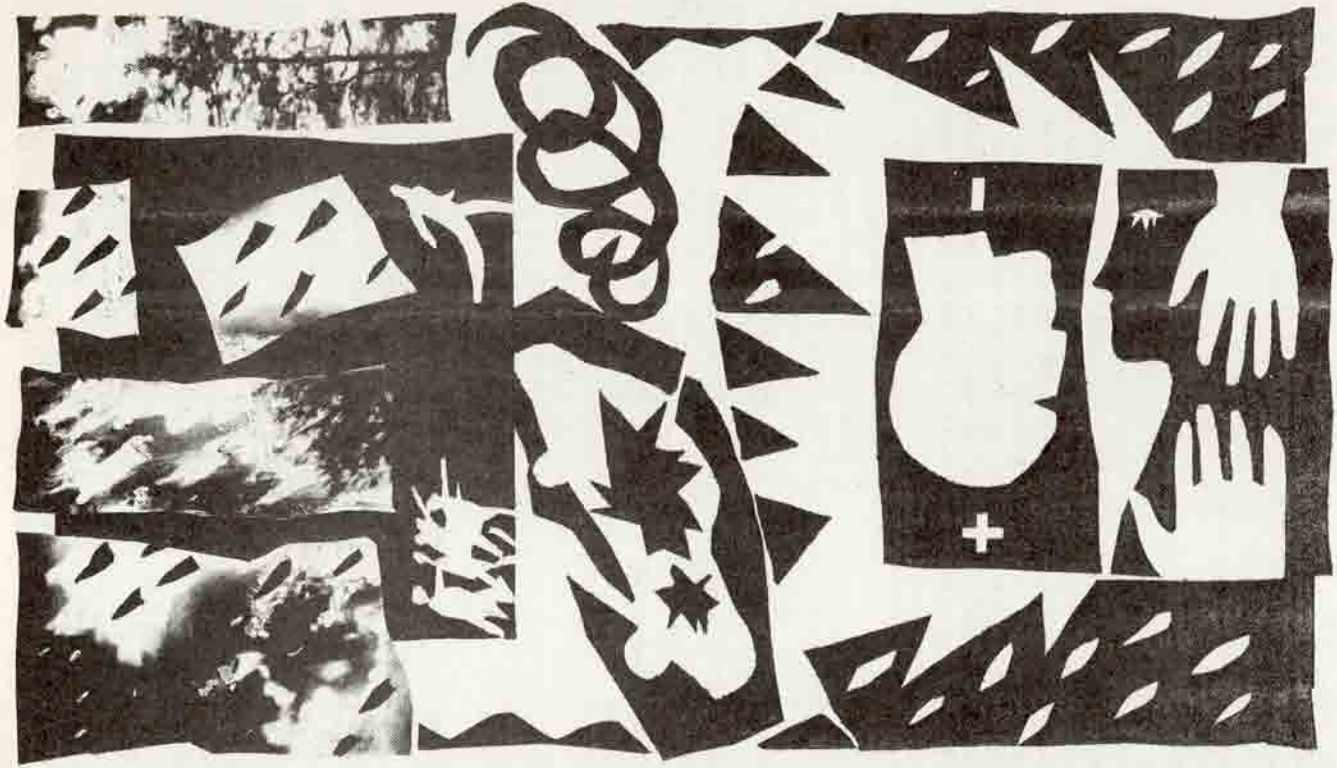
Хуже всего было то, что я его не видел. Может, на самом деле они просто убрали из дома всех детей, чтобы, проснувшись утром, меня не разбудили. Может, они хотели как лучше. А этот, на лестнице, поднимался, чтобы проверить, все ли у меня в порядке, или принести чистую одежду, или еще что, кто его знает? Я ведь не знал наверняка, что он хочет меня убить,— как же я мог «искрануть» его, не будучи уверен? Но если это действительно так, тогда, конечно же, лучше было бы разделаться с ним, прежде чем он доберется до меня...

Так или иначе, решать мне не пришлось. Пока я лежал и думал, что делать, он поднялся по лестнице, подошел к двери, повернул ручку и вошел в комнату.

Я старался дышать мелко и ровно, как спящий. И старался не «искрить» слишком сильно. Если он просто проверяет, то сейчас уйдет.

Человек не ушел. Двигался он очень тихо, чтобы я случайно не проснулся. И напуган был дальше некуда. Так напуган, что я сразу понял: он здесь отнюдь не для того, чтобы подоткнуть мне одеяло или пожелать спокойной ночи.

И я решил его «искрануть». Но оказалось, у меня нет никаких «искр»! В смысле, я не злился и ничего такого. Я никогда раньше не пробовал убивать кого-нибудь специально, это всегда случалось, когда я уже был на взводе и просто терял над собой контроль. И сейчас это стремление успокоиться так на меня подействовало, что я не мог ничего сделать. Ни одной лишней «искры» у меня не было, только обычная светящаяся тень, а он уже стоял рядом, и времени совсем не осталось, так что я просто скатился с кровати. В его сторону, что, может быть, глупо — я мог напороться на нож,— но ведь я еще не знал наверняка, что у него есть нож. Я думал, собью его с ног или толкну.



Я его толкнул и грохнулся на пол, но он устоял и даже успел полоснуть меня по спине. Не очень сильно, больше рубашке досталось, но, поняв, что он с ножом, я ужасно испугался, вскарабкался на ноги и на четвереньках отполз в сторону. Света от окна не было, и мы ходили будто в большом темном шкафу. Я не видел его, он — меня. Вернее, я-то видел — или по крайней мере чувствовал, где он,— и теперь сам «искрил», как ненормальный, так что этот человек тоже должен был меня видеть, если только они не послали кого-то с совсем уж слабыми способностями.

Но оказалось, так оно и есть. Он просто топтался по комнате и, видимо, надеясь меня зацепить, размахивал ножом — я слышал свист. Меня он просто не видел.

А я все это время старался завестись, но ничего не выходило. По желанию никогда нельзя разозлиться. Может быть, у хорошего актера это получится, но я не актер. Короче, я был напуган и «искрил», но никак не мог послать импульс в него. И чем больше об этом думал, тем спокойнее становился.

Вроде как всю жизнь носишь с собой автомат и время от времени случайно отправляешь на тот свет людей, которым совсем не желаешь зла, а когда тебе в первый раз действительно нужно кого-нибудь пристрелить, автомат заедает.

Я перестал злиться. Просто сидел там, понимая, что скоро умру и что наконец научился держать себя в руках, не убивая людей направо и налево,— мне уже совсем не хотелось покончить с собой, но как раз теперь-то меня и прикончат. Только у них не хватило духу сделать это в открытую, и они отправили человека перерезать мне глотку во сне. Мои дорогие любящие родители, которых я не видел столько лет, тоже были на том совещании, где все это решалось. Черт, папочка и сейчас стоял внизу, ждал, когда убийца спустится вниз и скажет, что со мной покончено. Будет ли он меня оплакивать? Нет, мол, больше на свете моего маленького мальчика... Лежит теперь Мик в сырой, холодной земле...

И вот тут-то я завелся по-настоящему. Все очень просто. Не надо специально себя заводить, надо лишь подумать о чем-то таком, что тебя разозлит. Я уже весь «искрил» от страха, а тут еще и завелся, так что теперь во мне этого дела оказалось больше, чем нужно. Только выпустив свой импульс, я послал его не в того типа, что топтался с ножом по комнате. Огненный шар во мне сам рванулся вниз, через пол, и прямо в моего дорогого папочку. Я слышал, как он кричит. Он сразу все почувствовал. И я почувствовал. Я ведь не собирался этого делать. Мы впервые встретились всего за несколько часов до того, но он ведь был моим отцом, а ему досталось больше, чем доставалось от меня кому-нибудь другому за всю мою жизнь. Я не собирался убивать отца, ей-Богу. Это же дико.

Потом я вдруг словно ослеп. В первую секунду мне показалось, что это ответный импульс, «искры», но я тут же понял, что включился верхний свет в комнате. До человека с ножом наконец дошло, что ему же будет лучше, когда видно, что делаешь. К счастью, свет ослепил его так же, как и меня, иначе я бы

и понять ничего не успел, а он уже всадил бы в меня нож. Пока он моргал, я успел перебраться в дальний угол комнаты.

Надо сказать, я никакой не герой, но в тот момент подумал, что брошусь на этого типа.

Потом я вдруг сообразил. Идею подсказали провода в стенах с бегущим по ним током. Это ведь электричество, и та леди в Роаноке говорила про мою «биоэлектрическую систему», так что я подумал: вдруг что-то получится?

Сначала я хотел что-нибудь закоротить, устроить короткое замыкание, но во мне не настолько много электричества. Затем решил попробовать вроде как подключиться к сети, чтобы добавить силы своим импульсам, но вовремя одумался, потому как это все равно что сесть на электрический стул. Может, мне это и удалось бы, но тут, если ошибешься, то уже точно конец.

Однако кое-что я все-таки мог. Рядом на столике стояла лампа. Я содрал с нее абажур и швырнул его в того типа — он все еще стоял у двери и соображал, что это за крик раздался внизу. Я схватил лампу, включил ее, а затем разбил лампочку о столик — посыпались искры, и она погасла.

Я держал лампу в руке, как дубину, чтобы он подумал, будто я именно так и собираюсь ею воспользоваться. Наверно, если бы мой план не сработал, я бы так и поступил — попытался бы выбить нож лампой. Но пока он смотрел на меня, готовясь броситься вперед, я вроде как ненамеренно опустил лампу разбитым концом на кровать и воспользовался своими «искрами», скопившимся во мне зарядом злости. Я не мог метнуть заряд в того типа — вернее, мог, но это было бы как с водителем автобуса: смерть, например, от рака легкого через шесть месяцев. К тому времени я бы уже полгода как дал дуба от многочисленных ножевых ран.

Короче, я качал «искры» и гнал их по руке, а затем дальше, через всю лампу, словно растягивал свою тень. И получилось! «Искры» текли до конца лампы и накапливались там беспрерывно, а я тем временем думал о том, как папаша Лем решил убить меня, потому что я посчитал его дочь уродиной, и как он заставил меня убить отца, хотя я и знал-то его меньше, чем полдня, и все это время заряжался, заряжался...

Наконец зарядился достаточно, и внутри разбитой лампочки начали проскакивать искры — прямо по простыне. Настоящие искры, которые я не только чувствовал, но и видел. Через две секунды постель вспыхнула, и вот тут-то я размахнулся лампой, вырвал шнур из розетки и швырнул ее в этого типа. Он присел, а я в ту же секунду сгреб с постели горящее покрывало и бросился на него. Я не знал, на ком из нас раньше загорится одежда, но подумал, что это будет слишком для него неожиданно, и он не догадается ткнуть меня ножом через покрывало. Так и вышло: он выронил нож и попытался сбросить с себя покрывало, что ему не очень-то удалось. Затем он рванулся к двери, но я двинул его носком ботинка по лодыжке, и он растянулся на полу, все еще сражаясь с покрывалом.

Я схватил его нож и полоснул ему по ноге, сзади. Нож оказался острый, как бритва. Может, я был здорово зол и испу-

ган и потому полоснул сильнее, чем мне казалось, но получилось чуть не до самой кости. Он все еще боролся с горящим покрывалом и кричал, кровь хлестала, а огонь уже перекинулся на обои, и я подумал, что у меня будет больше шансов смыться, когда им придется тушить пожар.

Еще я подумал, что не очень-то далеко убегу, если сгорю вместе с домом, и понял, что человек, который пришел меня убивать, уже горит. Это сделал с ним я, сделал что-то столь же ужасное, как рак. Но мне было все равно: я убил столько народа, что теперь это никак меня не задело, тем более что он сам пытался меня убить. И никакой жалости к нему я не испытывал, потому что старому Пелегу было ничуть не лучше. По правде сказать, мне даже стало легче — я вроде как поквитался с ними за смерть Пелега, хотя на самом деле обоих убил я сам. И если вы спросите, как можно сквитаться за Пелега, убив кого-то еще, то я скажу, что в этом все-таки есть какой-то смысл,— я ведь по их вине рос в приюте, а не там, среди своих. А может, смысл был в том, что этот тип заслуживал смерти, а старый Пелег — нет, и тот, кто заслуживал, должен был умереть смертью такой же страшной. Не знаю. Я тогда об этом и не раздумывал. Просто слышал, как он кричит, но даже не хотел ему помочь... Нет, я не злорадствовал, не думал: «Гори, сволочь, так тебе и надо»,— но в то же время чувствовал, что я не человек — монстр, чудовище, как мне всегда и казалось. Вроде тех, что бывают в фильмах ужасов. А тут прямо как из фильма про какого-нибудь садиста-убийцу: человек катается по полу, горит и кричит, а чудовище стоит посреди огня, и ему хоть бы что.

Меня огонь даже не тронул. Все вокруг горит, а передо мной пламя словно отступает — столько во мне искр от ненависти к самому себе, что ему просто не подойти. Я с тех пор много об этом думал. В том смысле, что даже этот шведский ученый не знает о биоэлектрических делах все до конца. Может быть, когда я завожусь и начинаю сильно «искрить», получается так, что меня нельзя убить. Может, эти генералы в гражданскую войну вот так и скакали по полю боя под пулями,— или это про другого генерала, во вторую мировую? — и ничего им не делалось. Может, когда ты слишком сильно заряжен, с тобой просто ничего не может случиться. В общем, не знаю. Но когда я решил двигаться и открыл дверь, горела уже вся комната и сама дверь. Однако я просто открыл ее и вышел в коридор. Сейчас вот у меня на руке повязка — это доказывает, что раскаленную дверную ручку я без всякого вреда схватить все же не мог, но ни один человек не выжил бы там, а я вышел, и хоть бы волосок пригорел.

Я не знал, кто есть в доме, но побежал вниз. Определять людей по искрам мне еще было непривычно, так что я даже не догадался проверить. Просто спустился вниз с этим окровавленным ножом в руке. Однако нож оказался не нужен: все убежали еще до того, как я спустился на первый этаж. Все, кроме отца. Он лежал посреди гостиной, сжавшись в комок,— голова в луже блевотины, а зад в луже крови — и весь трясся, словно от

холода. Я его в самом деле убил, потому что внутри у него, наверно, ни одного живого места не осталось. Скорее всего он меня даже не заметил. Но все-таки это был мой отец, и даже чудовище не оставляет своего отца в горящем доме. Я хотел его вытащить на улицу и схватил за руки.

Только я совсем забыл, что до предела заряжен. Едва я к нему прикоснулся, как все эти искры просто рванулись из меня и обволокли его целиком. Никогда раньше со мной такого не случалось — он весь засветился, как будто часть меня самого, и словно утонул в моем сиянии. Я совсем этого не хотел, но напрочь забыл, что мне нельзя его трогать. Я хотел спасти его — попытаться спасти,— а вместо этого всадил в него такой заряд, какого никогда никому еще не перепадало. Тут я просто не выдержал и закричал.

Потом все-таки вытащил отца на улицу. Он весь обмяк, но даже если я его и убил, превратив все внутренности в желе, я не хотел, чтобы он оставался в горящем доме. Мне только про это и думалось, а еще про то, что я должен сам пойти в дом, подняться по лестнице, загореться и умереть. Но, как вы догадываетесь, я ничего такого не сделал. Вокруг все орали: «Пожар! Пожар! Близко не подходить!»,— и я решил, что лучше, пока не поздно, смыться. Тело отца лежало на лужайке перед домом. Мне показалось, я слышал выстрелы, или это дерево трещало в огне — не знаю. Я обошел вокруг дома и бросился к дороге, а когда на пути попадались люди, они просто разбегались в стороны, потому что даже самый последний балбес в этой деревне мог видеть мои искры — так я здорово завелся.

Бежал я, пока не кончился асфальт. Дальше шла грунтовая дорога. Луну заволокло облаками, так что я почти ничего не видел и то и дело наталкивался на кусты. Один раз я свалился и, оглянувшись назад, увидел огонь. Горел уже весь дом и даже деревья над ним. Дождя и в самом деле давно не было, так что деревья стояли сухие, и я подумал, что сгорит, наверное, не один только дом. У меня даже возникла надежда, что они за мной не погонятся.

Глупо, конечно, чего там говорить. Если уж они решили прикончить меня только потому, что я отверг дочку папаши Лема, то как же они отреагируют, когда я, считай, сжег их тайный городишко? Понятное дело, как только им станет понятно, что я сбежал, они бросятся в погоню, и мне еще повезет, если пристрелят сразу.

Я подумал: была не была — срежу через лес и где-нибудь спрячусь, но потом решил, что лучше идти по дороге как можно дольше, пока не увижу свет фар. Неожиданно дорога кончилась. Вокруг — одни кусты и деревья. Я двинулся назад и попытался отыскать развилку. Долго плутал, как слепой в траве, то и дело теряя колеи грунтовой дороги, и тут увидел свет фар в той стороне, где горели дома, их уже горело по крайней мере три. Они наверняка поняли, что городку конец, и, оставив лишь несколько человек, чтобы вывести детей в безопасное место, бросились за мной в погоню. Во всяком случае, я бы именно так и поступил, и черт с ним, с раком, они ведь понимали, что всех

сразу мне не одолеть. А я даже не мог отыскать дорогу. Когда их машины окажутся достаточно близко, смываться будет уже поздно...

Только я собрался рвануть в лес, как прямо передо мной, футах в двадцати, вспыхнули фары. Я чуть в штаны не напустил от испуга. «Все,— подумал.— Теперь, Мик Уингер, тебе точно конец».

И вдруг слышу ее голос:

— Мик, идиот, что ты стоишь там, на свету, иди скорей сюда.

Да, та самая леди из Роанока. Я по-прежнему ее не видел, но узнал голос и рванул к машине. На самом деле дорога не кончилась, просто свернула в сторону, и она припарковалась как раз в том месте, где грунтовая дорога сходилась с насыпной. Я подскочил к двери машины — не знаю уж, что это была за машина, может, «Блейзер» с четырехколесным приводом,— но дверь оказалась заперта. Она кричит, чтобы я скорей садился, а я кричу, что никак не открою, но потом наконец дверь открылась, и я забрался внутрь. Она тут же подала назад, развернула машину так резко, что я, не успев закрыть дверь, едва не вывалился, и сказала:

— Ремень пристегни.

— Ты за мной следила? — спросил я.

— Нет, я просто устроила здесь пикник. И, черт побери, пристегни наконец ремень!

Я пристегнул и обернулся назад. У поворота на насыпную дорогу подрагивали пять или шесть пар огоньков — мы оторвались всего на милю.

— Мы искали это место много лет,— продолжала она.— Думали, они обосновались в округе Рокингем. Выходит, мы здорово ошибались.

— А где мы сейчас?

— Округ Аламанс.

И тут я словно сорвался:

— Черт бы все побрал! Я убил там своего отца!

— Мик, ты только не злись на меня, только не заводись. Извини. Успокойся.— Наверное, она больше ни о чем и думать не могла: лишь бы я не разозлился и не убил ее ненароком. Но мне трудно ее осуждать, потому что справиться с собой в тот раз мне едва оказалось по силам. Если б я не сдержался, я бы ее точно прикончил. Еще и ладонь начала болеть — из-за того, что я схватился за раскаленную дверную ручку,— и болела все сильнее и сильнее.

Машину она вела умело.

Иногда мы вылетали на поворот так быстро, что ей приходилось ударять по тормозам — мы скользили, и я каждый раз думал, что вот сейчас-то нам точно конец. Однако она всякий раз возвращала машину на дорогу, и мы неслись дальше.

У меня уже просто сил не осталось для переживаний. Я сидел с закрытыми глазами, стараясь успокоиться, но потом вдруг вспомнил отца, лежащего в крови и блевотине, хотя я его и невзлюбил сразу, но это все равно был мой отец. И того типа вспомнил, что сгорел в моей комнате,— тогда меня это совсем не

трогало, но, сидя в машине, я снова испугался, разозлился и возненавидел себя пуще прежнего. Я едва сдерживался, но не мог выпустить эти искры, и мне очень хотелось умереть. Затем я понял, что банда, которая за нами гналась, уже близко, и теперь я их чувствую. Вернее, нет, дело не в том, что нас догоняли: просто они были так злы, что «искры» с них сыпались, как никогда раньше. Ну я и решил: раз они так близко, значит, я могу разрядиться. Взял и метнул в них весь свой заряд. Не знаю уж, попал я там в кого или нет. Я даже не знаю, может ли моя биоэлектрическая система действовать на таком расстоянии. Однако я сбросил все свои «искры», ничуть не повредив леди, сидевшей за рулем.

Вскоре мы выехали на асфальт, и я только тут понял, что настоящей бешеной езды мне видеть еще не приходилось: все, что я видел раньше, это цветочки. Она жала на газ, смотрела на поворот дороги впереди и тут же выключала свет, не доехав даже до половины изгиба дороги,— рехнуться можно, но смысл в этом был. Они следовали за светом наших фар и, когда мы их выключили, на какое-то время пропали из виду. Кроме того, не зная, что впереди поворот, они могли слететь с дороги или по крайней мере замедлить ход. Мы, понятное дело, тоже могли грохнуться, но эта леди явно знала, что делает.

Потом мы вылетели на прямой участок дороги с перекрестком впереди. Я решил, что она свернет, но нет, она гнала машину дальше, в кромешную тьму.

Я уже начал думать, что мы вот-вот куда-нибудь вмажемся, но в этот момент она сбросила газ, высунула руку в окно и мигнула фонариком. Ехали мы довольно быстро, но короткой вспышки света хватило, чтобы дорожный знак впереди сверкнул отражающей поверхностью, так что мы знали, где следующий поворот, оказалось, дальше, чем я думал. Она, не сбавляя хода, миновала поворот, затем следующий, каждый раз лишь мигнув вперед фонариком, и только после этого снова включила фары.

Я оглянулся посмотреть, есть ли кто позади.

— Мы их потеряли!

— Тебе лучше знать.

Протянувшись назад своим полем, я попытался понять, где преследователи, и, хотя они были здорово заряжены, на этот раз я их едва почувствовал.

— Они все движутся по разным дорогам.

— Значит, кого-то из них мы потеряли,— сказала она.— Но не всех. Сам понимаешь, они не отстанут.

— Понимаю.

— Ты сейчас главный приз.

— А ты — дочь Исава.

— Черта с два. Я прапраправнучка Джекоба Йоу, которому случилось обнаружить в себе биоэлектрические способности. Это, знаешь, как если у тебя хороший рост и сила, значит, ты можешь играть в баскетбол. Просто природный талант, ничего больше. Но он свихнулся и занялся кровосмешением во всем своем семействе, и у них появились всякие дурацкие идеи

насчет «избранного народа», хотя все это время они оставались самыми обыкновенными убийцами.

— А дальше? — спросил я.

— Ты ни в чем не виноват. Тебя некому было научить. И я тебя не виню.

Но дело все в том, что я сам себя винил.

— Они просто темные, неграмотные люди,— продолжала она.— Но моему деду надоело читать Библию и убивать чиновников из налогового ведомства, шерифов и всех остальных, кто им мешал. Ему хотелось понять, почему мы такие. А кроме того, он не хотел жениться на той девке, что для него выбрали, потому что он, мол, не особенно «пыльный». Пришлось скрываться. Они отыскали его и пытались убить, но он снова сбежал. Потом женился. Выучился на врача, и его дети выросли с убеждением, что необходимо понять эту силу. Тут ведь все, как в старых байках про ведьм, которые, если разозлятся, могут напускать порчу или еще что-нибудь в таком духе. Может, они даже не знали, что делают это. Привораживать, приманивать — это, худо-бедно, все умеют. Люди, которых возглавляет папаша Лем, делают это лучше всех, потому что они добивались результата направленной селекцией. И мы должны их остановить, понимаешь? Мы должны помешать им полностью овладеть своими способностями. Потому что теперь мы знаем о них больше. Тут все тесно связано с процессами самоисцеления. В Швеции уже пробовали лечить опухоли, меняя направления токов. Рак, понимаешь? Прямая противоположность тому, что делал ты, но принцип тот же самый. Понимаешь, что это значит? Если бы люди папаши Лема научились управлять своими способностями, они могли бы стать не убийцами, а целителями. Может быть, нужно просто делать это не со злостью, а с любовью.

— А тех маленьких девчонок в приютах вы тоже убивали с любовью? — спросил я.

Она ничего не ответила и продолжала гнать машину.

— Черт! — сказала она спустя какое-то время.— Дождь пошел.

Дорога намокла, и мы чуть снизили скорость. Я оглянулся — позади снова маячили фары. Далеко, но я их все-таки видел.

— Они нас опять догоняют.

— Я не могу ехать по такой дороге быстрее.

— Их дождь тоже замедлит.

— Не при моем везении.

— Пожар, наверно, погаснет. Там, в городке.

— Это уже не имеет значения. Они переберутся на новое место. Ты с нами, и теперь они знают, что мы их засекли.

Я извинился за то, что причинил столько хлопот, а она говорит:

— Мы не могли допустить, чтобы ты погиб. Я просто должна была попытаться тебя спасти.

— Зачем? — спросил я.— Зачем вам это нужно?

— Если хочешь, могу и так сказать: если бы ты решил остаться с ними, я должна была тебя убить.

— Знаешь,— говорю,— ты прямо богиня милосердия.— По-

том подумал немного и добавил: — А вообще ты не лучше их. Ты, как они, хочешь от меня ребенка. Я вам только на расплод и нужен — как племенной самец.

— Если бы нужен был только для этого,— сказала она,— я бы сделала все, что требуется, еще там, на холме, сегодня утром. Вернее, ты бы сам все сделал. Вообще-то мне следовало тебя заставить: если бы ты решил остаться с ними, единственной нашей надеждой стал бы твой ребенок, которого мы вырастили бы приличным человеком. Однако, оказалось, ты и сам приличный человек, так что убивать тебя не пришлось. Теперь мы сможем изучать тебя и узнаем много нового — ты ведь самый сильный из живущих обладателей этого дара.— Так прямо и сказала.

— А вам,— говорю,— не приходило в голову, что мне не захочется, чтобы меня изучали?

А она в ответ:

— Может быть, то, что тебе хочется или не хочется, не имеет никакого значения.

И тут в нас стали стрелять. Дождь все еще поливал, но они все-таки нагнали нас настолько, что уже можно было стрелять. И у них неплохо получалось: первая же пуля, которую мы заметили, пробила заднее стекло, просвистела между нами и оставила дыру в лобовом. Стекло пошло трещинами: стало тяжело смотреть на дорогу, мы еще больше снизили скорость, и соответственно они подобрались еще ближе.

Однако спустя несколько секунд мы миновали еще один поворот, и я увидел в свете наших фар, как из машины впереди выскакивают люди с оружием. «Наконец-то»,— сказала она. Я понял, что это люди из ее компании и мы почти спасены. Но тут кто-то из людей папаши Лема попал нам в колесо или, может, она на мгновение отвлеклась, потому что через лобовое стекло почти ничего не было видно, и машина потеряла управление. Мы заскользили, слетели с дороги и перевернулись, должно быть, раз пять, как в замедленной съемке: машина переворачивается снова и снова, двери распахиваются и открываются, лобовое стекло крошится и рассыпается на мелкие осколки, а мы висим на ремнях и молчим, только я бормочу: «О боже, о боже...» Потом мы наконец во что-то врезаемся, останавливаемся с чудовищным рывком, и все замирает.

Я слышу, как журчит вода, и думаю, что это, наверно, ручей. Можно будет вымыться. Только это никакой не ручей, а вытекающий из бака бензин. Затем откуда-то издалека, с дороги, доносятся выстрелы. Неизвестно, кто в кого стреляет, но я понимаю: если победят те, поджарить нас в горящем бензине будет для них самое милое дело... Выбраться из машины было несложно: двери отлетели, так что через окно лезть не нужно.

Машина завалилась на левый бок, и, поскольку дверь придавило к земле, я говорю:

— Придется вылезать отсюда.

У меня хватило ума схватиться за крышу машины, когда я отстегивал ремень. Затем я подтянулся, выбрался наружу и сел на крыло, чтобы, протянув руку, помочь ей выбраться.

Только она продолжала сидеть на месте. Я закричал на нее, но она даже не ответила. Я подумал, что ей конец, но тут заметил «искры». Странно, что я не видел их раньше, но, наверно, просто не присматривался. Зато теперь, хотя они едва светились, я их заметил сразу: свечение было слабое, но «искры» двигались быстро-быстро, словно она пыталась сама себя исцелить. Бак все еще булькал, и вокруг воняло бензином. На дороге по-прежнему стреляли. Но я видел достаточно аварий в кино и понимал: даже если нас никто не подожжет специально, машина все равно может загореться. Понятное дело, мне совсем не хотелось быть рядом, когда это случится, и не хотелось, чтобы она оставалась внутри. Только я не представлял, как спуститься вниз и вытащить ее наружу. Я в общем-то не слабак, но и не мистер Вселенная.

Казалось, я сидел целую минуту, прежде чем понял, что совсем не обязательно тащить ее через мою дверь: с таким же успехом я мог вытянуть ее вперед, потому что ветрового стекла не было вовсе, а крыша промялась всего чуть-чуть. Под крышей стояла трубчатая рама, и нам здорово повезло, что кто-то до этого додумался. Я спрыгнул с машины. Дождь, наверно, только-только кончился, потому что под ногами было мокро и скользко. Впрочем, не знаю — может, это от пролившегося бензина. Я обежал машину спереди, сбил ногой остатки лобового стекла и влез до пояса в машину. Протянул руку, отстегнул ремень и, ухватив ее под мышки, потянул к себе, но руль мешал вытащить ноги. Казалось, это будет тянуться вечно. В общем, ужас. Я все время ждал, что она вот-вот задышит, а она по-прежнему не дышала. Мне стало страшно и обидно; я только и думал о том, что она должна жить, что ей нельзя умирать, что она спасла мне жизнь, а теперь погибнет. В конце концов она выскользнула из-под рулевого колеса, и я оттащил ее подальше. Машина, кстати, так и не загорелась, но кто мог знать, чем все кончится?

Да и не думал я в тот момент ни о чем другом — только о ней. Она лежала на траве, бездыханная, вся обмякшая, шея, как веревка, гнется, а я держу ее и плачу, злой и испуганный. Я накрыл нас обоих «искрами», словно мы один человек, целиком накрыл, плачу и твержу: «Живи, живи!..» Даже по имени не мог ее назвать, потому что до сих пор его не знаю. Меня всего трясло как в лихорадке и ее тоже, но она вдруг задышала и тоненько так захныкала, будто кто-то наступил щенку на хвост, а «искры» все текли из меня и текли, и я чувствовал себя так, словно из меня все силы высосали — как мокрое полотенце, которое отжали и швырнули в угол,— а дальше уже я ничего не помню. Только вот, как проснулся здесь...

— На что это было похоже? Что ты с ней сделал?

— Это вроде как... Когда я накрыл ее своим свечением, я словно взял на себя то, что должен был делать ее собственный организм. Я ее как бы лечил. Может, у меня возникла такая идея, потому что она говорила об этом по дороге в машине, но когда я ее вытащил, она совсем не дышала, а потом вдруг начала дышать. Мне нужно знать, вылечил я ее или нет.

Потому что если вылечил, то, может быть, я и отца своего не убил: перед тем, как я вытащил его из дома, было примерно так же — во всяком случае, похоже.

Но я уже долго говорю, а вы еще ничего мне не сказали. Даже если вы считаете меня убийцей и собираетесь прикончить, уж про нее-то вы можете мне что-нибудь сказать? Она жива?

— Да.

— Тогда почему я ее не чувствую? Почему ее нет среди вас?

— Она перенесла серьезную операцию и пока не может присутствовать.

— Но я помог ей? Или наоборот? Вы должны мне сказать. Потому что, если нет, то я надеюсь, что провалю все ваши тесты, и вы меня прикончите. Мне незачем жить, если я умею только убивать.

— Ты помог, Мик. Та, последняя пуля попала ей в голову. Потому вы и слетели с дороги.

— Но крови-то никакой не было...

— Ты просто не разглядел в темноте. Твои руки и одежда — все было в крови. Но сейчас это не имеет значения. Пулю уже извлекли. Насколько мы можем судить, мозг не поврежден. Хотя это и удивительно. Она должна была умереть.

— Значит, я ей все-таки помог.

— Да. Но мы не понимаем как. Знаешь, есть много всяких историй про исцеления. Самовнушение, мануальная терапия. Может быть, ты сделал что-то в этом же духе, когда накрыл ее своим полем. Мы еще многого не знаем. Нам, например, не понятно, как крошечные сигналы в биоэлектрической системе могут влиять на кого-то за сотни миль, однако они позвали тебя, и ты явился. Нам нужно изучить тебя, Мик. У нас никогда не было объекта с такими сильными способностями. И, может быть, все эти исцеления в Новом Завете...

— Я не хочу слышать ни про какие Заветы. Я уже наслушался от папаши Лема больше, чем надо.

— Ты поможешь нам, Мик?

— Каким образом?

— Ты позволишь нам изучать тебя?

— Валяйте.

— Но, возможно, изучения одной только твоей способности исцелять будет недостаточно.

— Я не собираюсь никого убивать ради ваших опытов. Если вы будете заставлять меня, я сначала поубиваю вас, и тогда вам придется прикончить меня — просто чтобы спастись, понятно?

— Успокойся, Мик. Не заводись. Времени, чтобы все обдумать, у нас достаточно. Мы рады, что ты не хочешь никого убивать. Если бы это доставляло тебе удовольствие или ты не научился сдерживаться и продолжал убивать всех, кто тебя разозлит, тебе вряд ли удалось бы дожить до семнадцати лет. Да, мы ученые — вернее, мы пытаемся понять явление и изучить его настолько,

чтобы добиться права называться учеными. Но прежде всего мы просто люди, и идет война, в которой дети вроде тебя — оружие. Если им когда-нибудь удастся заполучить такого же, как ты, этот человек сможет найти нас и уничтожить. Именно для этого ты им и был нужен.

— Верно. Папаша Лем так и говорил, только я не помню, упоминал ли уже об этом. Он говорил: дети Израиля, мол, должны убить всех мужчин, женщин и детей в Канаане, чтобы очистить землю для детей Божьих.

— Вот-вот, из-за этого наша часть семейства и откололась. Мы решили, что уничтожение человечества и замена его бандой убийц и обезумевших от кровосмешения религиозных фанатиков нас не очень-то привлекают. Последние двадцать лет им не удавалось заполучить кого-нибудь вроде тебя, потому что мы убивали всех детей, обладавших слишком сильными способностями,— тех, кого они боялись растить сами и помещали в приюты.

— Кроме меня.

— Это война, Мик. Нам тоже не нравится убивать детей. Но это все равно, что разбомбить город, где твои враги готовят секретное оружие. Жизнь нескольких детей... Нет, не буду лгать. У нас самих из-за этого чуть не произошел раскол. Оставить тебя в живых было очень рискованно. Я каждый раз голосовал против. И я даже не прошу у тебя за это прощения, Мик. Теперь, когда ты знаешь, что представляют собой наши враги, и сам решил уйти от них, я рад, что оказался в меньшинстве. Но ведь могло произойти все, что угодно.

— Теперь они не станут помещать детей в приюты. На это у них ума хватит.

— Но теперь у нас есть ты. Может быть, мы научимся блокировать их влияние. Или лечить людей, которые могут пострадать от детей. Или выявлять «искры», как ты это называешь, на расстоянии. Теперь все возможно. Но когда-нибудь в будущем, Мик, может случиться, что ты окажешься нашим единственным оружием.

— Я не хочу этого.

— Понимаю.

— А вы хотели меня убить?

— Я хотел защитить от тебя людей. Так казалось надежней, Мик. И я чертовски рад, что все вышло по-иному.

— Не знаю, верить вам или нет, мистер Кайзер. Вы слишком ловко притворяетесь. Я-то думал, вы хорошо ко мне относитесь просто потому, что вы славный старикан.

— Так оно и есть, Мик. Он действительно славный старикан. И очень ловкий притвора. Для человека, присматривающего за тобой, нужны были оба эти качества.

— Но теперь-то все кончено?

— Что кончено?

— Вы больше не собираетесь меня убивать?

— Все зависит от тебя, Мик. Если ты когда-нибудь нач-

нешь злиться на нас или убивать людей, которые не имеют к этой войне никакого отношения...

— Не начну!

— Но помни, Мик: если это случится, убить тебя никогда не поздно.

— Я могу ее увидеть?

— Кого?

— Ту леди из Роанока! И скажете вы мне, наконец, как ее зовут?!

— Ладно, сейчас идем. Она сама тебе скажет.

Перевод с английского
АЛЕКСАНДРА КОРЖЕНЕВСКОГО.

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ

...Чем не завидная судьба у Дмитрия Маликова? Его родители молоды, работают в «смежных» жанрах и, естественно, разделяют художественные и житейские интересы сына. Отец — руководитель популярнейшего в свое время ВИА, а ныне поп-группы «Самоцветы». Мама — танцовщица.

Вы скажете: чего ж не стать известным певцом в 19 лет при такой «поддержке» в семье! И все-таки придется признать: климат артистических династий стимулирует рождение новых звезд. По крайней мере в случае с Маликовыми.

Дима окончил музыкальную школу, училище при консерватории и поступил на фортепианное отделение Московской государственной консерватории. Многие ли поп-звезды могут похвастаться подобной профессиональной подготовкой?

Кстати, Дмитрий считает себя в первую очередь классическим пианистом. Пробует писать серьезную инструментальную музыку. «Рояль,— рассуждает он,— певучий инструмент, мелодический центр произведения. А «разукрасить», придать симфоническое звучание мелодии возможно и электронными средствами». Так возникает синтез классики и современности.

Эстрадные песенки, которые сочиняет Дима Маликов, убедительны с точки зрения музыкальной культуры. На первый взгляд они не далеко ушли от незамысловатой, несколько слащавой поп-традиции нашей сцены. Мотив может быть даже менее запоминающимся, чем у его сегодняшних коллег. Но Дима утверждает, что для него главное — качество произведения, особое внимание он уделяет аранжировке. Поэтому все фоно-

граммы готовит сам с помощью клавишного компьютера.

Приобрести концертную аппаратуру ему пока не по средствам. Да и «прокормить» собственный ансамбль не смог бы — на интенсивные гастроли нет времени. Он выступает всегда по формуле «минус один» — поет под фонограмму. Так что все без обмана...

Автор текста шлягера «Ты моей не будешь» — Давид Самойлов, а тексты песен «До завтра», «Студент» и «Брачный кортеж» написаны Сашей Шагановым, который сотрудничал с «Черным кофе». «Лунный сон» сочинила Лилия Виноградова...

И все. Это весь репертуар Маликова-младшего. Не рано ли с пятью песнями «раскручиваться» на большой эстраде?

«А кто вам сказал, что я сочинил только эти песни? — возражает Дима.— Я серьезно занялся эстрадой только полтора года назад. Однако, поверьте, с первой попавшейся песенкой на то же ТВ не пустят, даже если ты сын музыканта. Известность получили только удачные работы, но были и другие. Приходилось дорабатывать, переписывать композиции. Ждать перед кабинетами, ловить момент... «Пробивать» репертуар мне не легче, чем любому другому музыканту. Пять состоявшихся песен за полтора года, поверьте, немало».

Недавно Маликов-младший с успехом выступил в Сопоте в качестве гостя фестиваля. В тот же день, когда там выступал Питер Габриель — любимый певец Димы. И еще один шаг к выходу Маликова на международную арену: нынешним летом он заключил десятилетний контракт с Музыкальным центром Стаса Намина. Центр помог Диме вступить в творческое партнерство с английской музыкальной фирмой PWA в Англии. Через год там должна быть подготовлена пластинка. Что ж, еще один артист запоет по-английски и «уплывет» с отечественной сцены? В этой связи кажутся модным позерством трепетные рассуждения Маликова-младшего о русском фольклоре. Однако Дима настаивает: «Фольклор не обязательно должен быть в музыкальной фактуре. Фольклор должен жить в душе. И это для меня очень важно. Это интереснее всего в песнях, думаю, и для западных слушателей тоже. Скучно, когда песни в стиле диско абсолютно стереотипны. Кстати, в мажоре сочинять труднее, чтобы не получилась дешевка. Дискотечные песни — почти все в миноре, хотя на слух развеселые. А у меня мажорные композиции. И еще — хочу даже в сценических костюмах возродить черты культуры XIX века. Не скопировать, а поучиться у нее».

Действительно, Дима Маликов, приятной внешности, с изящными манерами, выглядит на советской сцене по меньшей мере юным лордом, но без тени высокомерия. Певец прост, общителен, доброжелателен.

Такой он и в жизни.

«Мне случается выступать на стадионах, но в быту люблю общаться с глазу на глаз. Считаю, что в житейском разговоре три человека — это уже толпа. Очень ценю дружбу. А зачем поклонницы караулят меня каждый день у подъезда — не понимаю. У меня есть любимая девушка, и, думаю, я в родителей — однолюб».

НИНА ТИХОНОВА
Фото ДМИТРИЯ ЛОВКОВСКОГО

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ



Рисунок ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВА

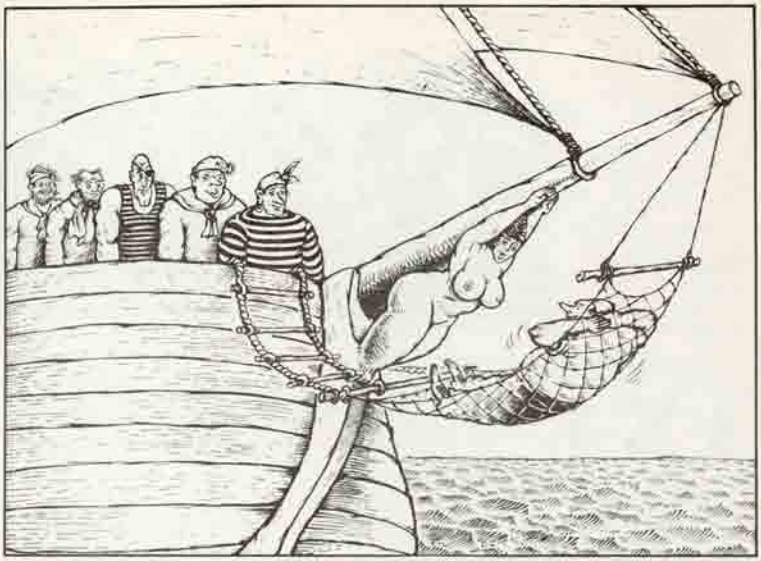


Рисунок ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВА

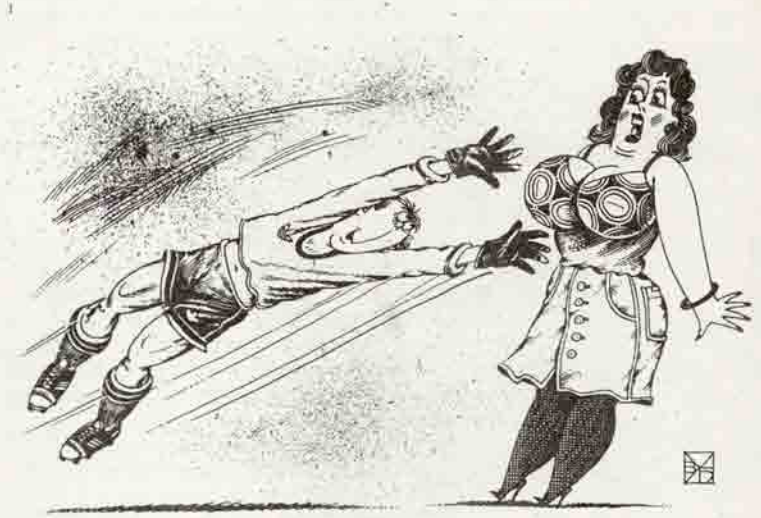
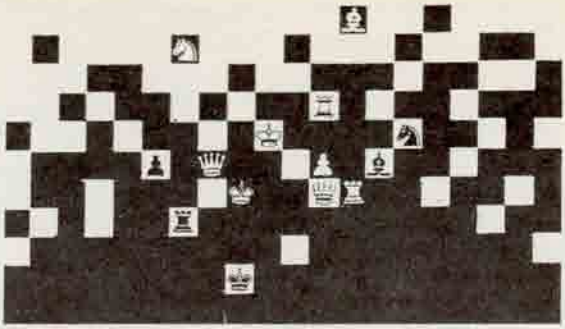


Рисунок ВЛАДИМИРА УБОРЕВИЧА-БОРОВСКОГО



32-Я ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

Под редакцией гроссмейстера ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

В очередном туре нашей шахматной олимпиады читателям «Смены» предстоит решить четыре задачи и два этюда. Ответ на каждое задание следует посылать на отдельной открытке. Решение нужно приводить полностью. За правильно выполненное задание решателям начисляется соответствующее количество баллов (оно указывается после каждого задания). Сумма набранных баллов определит, какие разрядные нормативы покорились участникам нашего заочного соревнования (независимо от того, на каком его этапе участники включились в соревнование). Читатели, набравшие максимальное количество баллов, будут претендовать на победу в шахматной олимпиаде. При равных показателях будут учитываться обнаруженные читателями дефекты в конкурсных заданиях: побочные решения, нерешаемость, дуали и т. п.

Ответы на задания олимпиады следует присылать только на открытках (без конвертов!) с пометкой «32-я шахматная олимпиада. Четвертый тур». Последний срок отправки открыток (по почтовому штемпелю) — 1 августа. Ответы, посланные позднее указанного срока, не будут рассматриваться.

ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР

I



Белые: Крa3, Фg3, п. h7 (3)
Черные: Крh1, Сh3, п. g4 (3)
Мат в 3 хода (2 балла)

II



Белые: Крa4, Фc8, Сb1, Кd7 (4)
Черные: Крe6, п. b2 (2)
Мат в 3 хода (3 балла)

III



Белые: Крg6, Сa7, пп. e2, g2, h2 (5)
Черные: Крh4, п. g5 (2)
Мат в 4 хода (3 балла)

IV



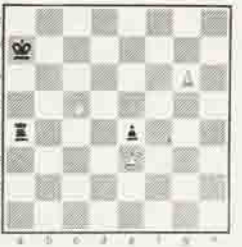
Белые: Крe3, Лh1, Сf6, Кf4, п. g4 (5)
Черные: Крg3, п. f3 (2)
Мат в 4 хода (3 балла)

V

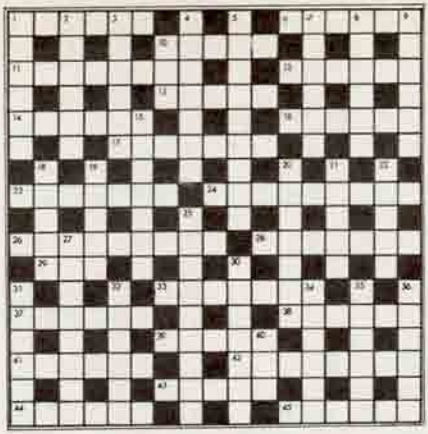


Белые: Крh1, Сa3, п. h5 (3)
Черные: Крe1, Сa5, п. b5 (3)
Выигрыш (3 балла)

VI



Белые: Крe3, п. g6 (2)
Черные: Крa7, Лa4, п. e4 (3)
Выигрыш (4 балла)



Составил М. РОЖКОВ, Москва

По горизонтали:

1. Американский актер, мировой рекордсмен по сумме оплаты за одну роль в фильме — 10 миллионов долларов. 6. Русский шахматист. Отплывая в 1927 году в Аргентину, сказал одному из друзей, что не представляет, как можно выиграть шесть партий у Капабланки. «Однако,— усмехнувшись, добавил он,— еще меньше представляю я, как Капабланка сумеет выиграть шесть партий у м е н я». 10. Предшественница боевой шашки в России. 11. Плод, лучший новогодний подарок в Сингапуре. 12. Сын Савелия (хотя однажды он назван Тихонычем) по отношению к Матрене Тимофеевне в поэме Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 13. «Самый ясный или единственный идеал» у М. Лермонтова, по мнению Н. Огарева. 14. Немецкий юрист, автор если не самой достоверной, то самой интересной биографии Гете. 16. Небесный прообраз Змея Горыныча. 17. Вид селения, куда архимандрит Феодосий и дворянин Болтин приехали к Дмитрию Пожарскому просить его принять начальство над ополчением. 21. Римская монета с изображением Януса на лицевой стороне. 23. Английский поэт и драматург, участник литературной полемики «война театров». 24. Мария Шимановская как музыкант. Ее мировая слава началась с выступления в Петербурге 2 мая 1822 года. 26. Декабрист. 20 лет просидел в одиночной камере Алексеевского равелина и не сошел с ума. Он сказал: «В челе человеческом есть свет, равный свету. Мысль». 28. Настолько смешной одесский праздник, что он с трудом «вышел в люди». 29. Обычная мера длины в корабельном деле России при Петре I. 33. Инструмент, сопровождающий танец феи Драже в балете П. Чайковского «Щелкунчик». 37. Своевольник. 38. Советский летчик-истребитель, на 25-й минуте Великой Отечественной войны совершивший первый таран. 39. Острый одноразовый дефицит. 41. Не чуждый первым лицеистам зимний инвентарь. 42. Самоцвет, первоначально найденный на единственном действующем на материковой Европе вулкане. 43. Самая буйная хищ-

ная рыба рек Европы. 44. Обманка не для воробья. 45. «Лишние хвалы», по басне И. Крылова «Муравей».

По вертикали:

1. Знак альтерации. 2. Каждая из обитавших на Геликоне муз. 3. Представитель древнейшего, доарийского населения Индии, чьи потомки живут в основном в штатах Андхра-Прадеш, Карнатака, Керала и Тамилнад. 4. Князь Меттерних (должность). 5. Итальянский город, у купцов которого, по Н. Бердяеву, зародился капитализм. 7. Цветок, который надо обрезать в горячей воде, чтобы он дольше стоял в вазе. 8. «Настоящий мужчина» в спорте. 9. Животное, за гигантскую особь которого сначала принимали «Наутилус» в романе Ж. Верна. 10. Приток реки Белой, в межень текущий 40 километров под землей. 15. На Руси — вестник, в Западной Европе — .... 18. Героиня греческой мифологии, попавшая под золотой дождь. 19. Ястреб, украшающий гнездо зелеными ветками и листьями. 20. Город, откуда начали строить мост между островами Хонсю и Сикоку. 21. Популярный цветок в русской поэзии начала XX века. 22. Филигрань по-русски. 25. Французский революционер, которому, по замечанию Луи Блана, не хватало слабостей, заставляющих себя любить (даже говоря о милосердии, он наводил страх). 27. Одно из растений, в зарослях которых летом держатся мелкие и средние окуни. 30. Американский зверь, всю жизнь висящий на сучьях спиной вниз. 31. Сама неповторимость. 32. Русский поэт, сказавший: «Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу...». 34. Месяц падающих яблок. 35. Великая поэма римлянина, которого Данте взял в проводники по Чистилищу и Аду. 36. Новгородское имение Г. Державина, где он жил летом последние 12 лет. 40. «Вписавшись в ...зоилов строгих, будь и к себе ты судия» (П. Вяземский Эпиграммы).

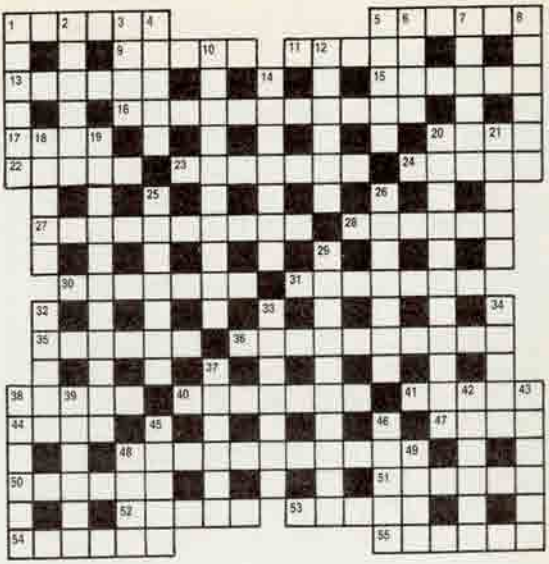
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 3

По горизонтали:

5. Жудец. 6. Басня. 7. Кобальт. 9. Фартинг. 13. Ясень. 14. Голландцы. 15. Хлябь. 18. Витебск. 19. Шмыга. 20. Портрет. 23. Тренер. 24. Набросок. 26. Сказание. 27. Гепард. 32. Куранты. 33. Алмаз. 34. Шиллинг. 37. Марат. 38. Симметрия. 39. Афины. 42. Диамант. 43. Никитин. 44. Вальс. 45. Щипцы.

По вертикали:

1. Румба. 2. Берлиоз. 3. Лакрица. 4. Унция. 7. Конверт. 8. Тальма. 9. Фонограф. 10. Галстук. 11. Осмий. 12. Ибсен. 16. Эсперанто. 17. Восстание. 21. Непал. 22. «Орфей». 25. Дипломат. 26. Смарагд. 28. Дельфин. 29. Чудак. 30. Кафтан. 31. Юнона. 35. Пиранья. 36. Бисквит. 40. Загар. 41. Чтица.



Составила победительница конкурса кроссвордистов-89 О. КОШКЕР, г. Торез Донецкой области

По горизонтали:

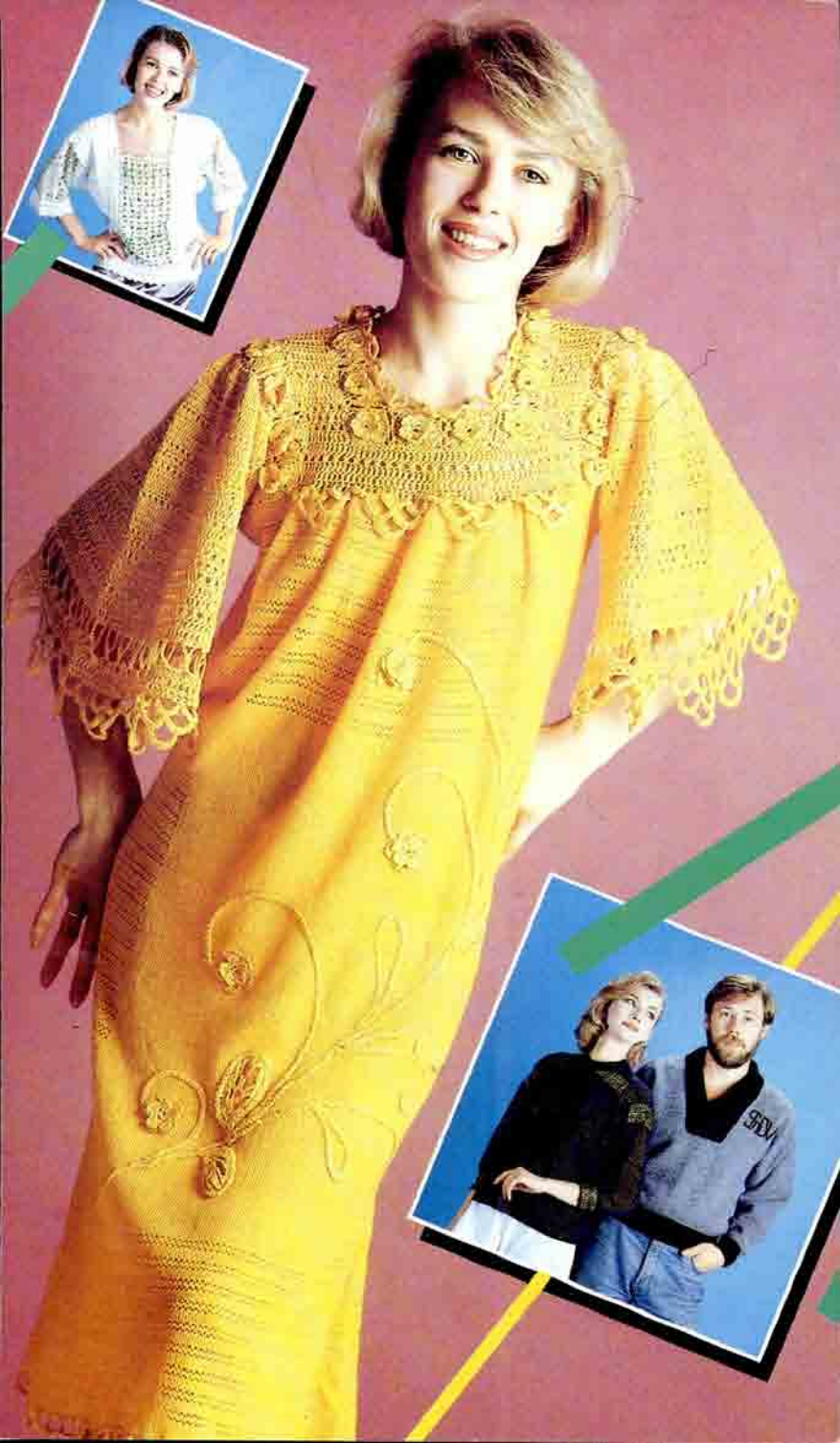
1. Русский писатель, близкий приятель А. Чехова. 5. «...смерти» — одно из произведений Ф. Листа, обращенное в будущее. 9. Черепаха. Из ее панцирей была сделана ванна Нерона. 11. Название мертвой долины, сухого русла в Средней Азии. 13. Положение в спортивной борьбе. 15. Столкновение двух противоположных импульсов, идущих из коры головного мозга (по И. Павлову). 16. Средство массовой информации. 17. Древнегреческий поэт. Его убийцу, по легенде, помогли найти журавли. 20. Самый популярный в Арагоне (Испания) танец. 22. Обычай, привычки. 23. Лечение в старину. 24. Эквилибристический снаряд в цирке. 27. Азиатская страна, где появились первые ветряные мельницы. 28. Легкое американское дерево, спелые плоды которого похожи на заячьи лапки. 30. Овощ. Первыми его начали выращивать ацтеки. 31. Синдбад из «Тысячи и одной ночи» как путешественник. 35. Курорт в Чехословакии, центр туризма и зимнего спорта. 36. Нижняя палата датского парламента. 38. Ископаемая смола, сырье для изготовления лаков. 40. Гидротехническое сооружение. «Отцы города» в Древнем Риме ждали от проектировщиков обоснованный прогноз, что оно в ближайшие двести лет не навредит природе. 41. Призрак пустыни. 44. Сорняк, чьи многочисленные семена легко разносит ветер. 47. Группа островов в Эгейском море, на которых добывают пемзу. 48. Химический элемент. Его пока нигде не применяют. 50. Верный спутник Шерлока Холмса. 51. Позирующий художнику натурщик. 52. Хмель как растение. 53. Декоративно обработанная нижняя поверхность арки, потолочной балки. 54. Колючий, как еж, зверек, желанный охотничий трофей мадагаскарца. 55. Распорядитель застолья.

По вертикали:

1. Русский актер. На основе рассказа о его встрече с артисткой Кузьминой Герцен написал повесть «Сорока-воровка». 2. Во времена А. Болотова — соус, сейчас — ... 3. Зарок, клятва. 4. Финский бегун, сказавший в интервью: «Я бегаю только для Олимпийских игр». 5. Фамилия двух сербских писателей. 6. Красавица в новелле Мериме «Таманго». 7. Два или четыре эскудо. 8. Фигура в акробатике и гимнастике. 10. Оптический прибор. 12. Внешнее чувство, у которого есть точка и угол. 14. Вольнодумец, свободно мыслящий человек. 18. Дед М. Горького В. Каширин как главный в ватаге бурлаков. 19. Беспорядочная смесь. 20. Самый распространенный медный минерал. 21. Народный оркестр в Молдавии. У кишиневского боярина Варфоломея игрой такого оркестра восхищался А. Пушкин. 25. Богатый витаминами родственник цикория. 26. Уффици как тип музея. 29. Город во Владимирской области, где получили сплав для первых советских металлических самолетов. 32. Полноправное население Древней Греции. 33. Народная игра у славян. 34. Южноамериканская кошка. Охотится на мелких крокодилов, а крупные охотятся на нее. 37. Полуостров с горами Майя. Древние жители держали на пасеках пчел без жала. 38. Военный корабль. 39. Мост на лодках. Первыми применили голландцы. 42. Мексиканский художник-модернист. В 1916 году проиллюстрировал две книги И. Эренбурга. 43. Русское народное название грусти, скорби, сострадания. 45. Плут, мошенник. 46. Предельная норма. 48. Жизнь прожить — не... перейти (пословица). 49. Греческая буква, синоним малости.

ХОТИТЕ СТАТЬ КРАСИВЫМИ?

Любая женщина будет выглядеть красивой и современной в вязаных кофтах, платьях и костюмах, выполненных по эскизам и чертежам кооператива «Рукодельница». 25 супероригинальных, недорогих в исполнении моделей из доступной отечественной пряжи вы сможете связать сами, если приобретете ежеквартальные выпуски материалов по вязанию, включающие цветные фото, чертежи, описания и расчеты. Подписку на эти выпуски вам предлагает кооператив «Библиоинформ». Всего 3 рубля, переведенные до 30 июня 1990 года по адресу: 117036, Москва, до востребования, «Библиоинформ» с указанием своего обратного адреса,— и вы становитесь счастливой обладательницей подписки на первый выпуск!



«МУЗЫКАЛЬНАЯ АНТЕННА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ



ИНДЕКС 70820. 70 коп.